

*Эдгар Алан По*  
РАССКАЗЫ  
И СТИХОТВОРЕНИЯ



# РАССКАЗЫ

## ХОП-ФРОГ\*

Никогда я не видал никого, кто мог бы сравниться с королем в зажигательной веселости и любви к шуткам. Он, по-видимому, жил только для шуток. Рассказать добрую шутливую историю, и рассказать ее хорошо, — это был вернейший путь к его благосклонности. Таким образом произошло, что семь его министров все были отменными шутниками. Кроме того, по примеру короля они все были плотными, коренастыми и жирными, в этом они были так же несравненны, как и в искусстве шутить. Толстеют ли люди от шуток или в самой тучности есть что-то предрасполагающее к шутливости, этого я никогда в точности не мог определить, но во всяком случае достоверно, что худощавый шутник *rara acis in terris*\*\*.

Об утонченностях или, как он называл их, о «призраках» остроумия король беспокоился очень мало. Он в особенности любил, чтобы шутка была, так сказать, *на широкую ногу*, и ради этого нередко заботился об ее *длиннотах*. Излишние деликатесы претили ему. Он предпочел бы «Гаргантюа» Рабле<sup>1</sup> «Задигу» Вольтера<sup>2</sup>; и, в заключение всего, шутки, сопровождавшиеся действием, соответствовали его вкусу гораздо более, чем шутки словесные.

В те времена, к которым относится мое повествование, профессиональные шуты еще не совсем вышли из моды при

---

\* Хоп (от *англ.* hop) — подпрыгивать, фрог (от *англ.* frog) — лягушка. — *Примеч. пер.*

\*\* Птица редкостная (*лат.*). — *Примеч. пер.*

дворах. Некоторые из великих властителей континента еще держали при себе дураков, они были одеты в пестрые костюмы, украшены колпаками с бубенчиками, и от них всегда ожидали метких острот на тот или иной случай в обмен на крохи, падавшие с королевского стола.

*Наш* возлюбленный король, конечно, держал при себе дурака. Дело в том, что он *положительно нуждался* в чем-нибудь этаким, сумасбродном — хотя бы для того, чтобы уравновесить тяжеловесную мудрость семи мудрецов, бывших его министрами, уже не говоря о нем самом.

Его дурак, или профессиональный шут, был, однако, не *только* дураком. Его достоинство было утроено в глазах короля тем обстоятельством, что он был карлик и увечный. Карлики были в *те* дни такими же обычными явлениями при дворах, как и шуты; и многим монархам было бы трудно прожить свой век (дни при дворе, пожалуй, длиннее, чем где-либо), если бы у них не было шута, *вместе с которым* можно было бы смеяться, и карлика, *надо которым* можно бы было насмеяться. Но, как я уже заметил, все эти шуты в девяносто девяти случаях из ста толсты, жирны и неповоротливы, так что у нашего короля было с чем поздравить себя, ибо Хоп-Фрог (так звали шута) представлял из себя тройное сокровище в одной персоне.

Я думаю, что лица, крестившие карлика, назвали его при крещении *не* Хоп-Фрогом, это имя ему было милостиво пожаловано по общему согласию семью министрами, благодаря тому, что он не мог ходить, как все другие. Действительно, Хоп-Фрог мог двигаться только таким образом, что его походка как бы напоминала знаки междометия: он не то прыгал, не то ползал, извиваясь, — движения, бесконечным образом услаждавшие короля и, конечно, доставлявшие ему немалое утешение, потому что (несмотря на выпуклость его живота и прирожденную припухлость головы) весь двор считал его красавцем-мужчиной. Но хотя Хоп-Фрог, благодаря искривлению ног, мог двигаться по земле или по полу с большими трудностями и усилиями, громадная мускульная сила, которой природа наградила его, как бы в виде возмещения за несовершенство нижних конечностей, давала ему возможность учинять с необыкновенным проворством всякие проделки, везде, где дело шло о деревьях, канатах, или вооб-

ще, где нужно было на что-нибудь вскарабкаться. При таких упражнениях он, конечно, более походил на белку или на маленькую обезьяну, нежели на лягушку.

Не могу сказать с точностью, из какой страны был родом Хоп-Фрог, — из какой-то дикой области, о которой никто не слыхал и которая находилась очень далеко от двора нашего короля. Хоп-Фрог вместе с одной молодой девушкой, почти такой же карлицей, как он (хотя необыкновенно пропорциональной и преискусной танцовщицей), был насильственно отторгнут от родного очага, и оба они из своих собственных домов, находившихся в смежных провинциях, были посланы в качестве подарка королю одним из тех генералов, которые всегда побеждают.

При таких обстоятельствах нет ничего удивительного, что между двумя маленькими пленниками возникла самая тесная близость. Действительно, они скоро сделались закадычными друзьями. Хоп-Фрог, хотя и был большим искусником во всяких шутках, не пользовался, однако, популярностью и не мог оказывать никаких услуг Триппетте, но она, благодаря изяществу и изысканной красоте (хоть и карлица), была общей любимицей, пользовалась большим влиянием и никогда не упускала случая применить его на пользу Хоп-Фрога.

По случаю какого-то крупного государственного события, какого именно не помню, король решил устроить маскарад; а когда при нашем дворе случался маскарад или что-нибудь в этом роде, тогда таланты и Хоп-Фрога и Триппетты, конечно, выступали на сцену. Хоп-Фрог в особенности был изобретателен в искусстве устраивать пышные зрелища, выдумывать новые характерные типы и подбирать костюмы для маскированных балов, во всем этом он был таким искусником, что, казалось, ничего бы не вышло без его помощи.

Ночь, назначенная для *празднества*, наступила. Пышный зал причудливо был разукрашен под надзором Триппетты, чтобы придать маскараду возможный *блеск*. Весь двор с лихорадочным нетерпением ожидал торжества. Что до костюмов и масок, как легко догадаться, каждый вовремя пришел к тому или другому решению. Многие приготовились к своим *ролям* за неделю или даже за месяц; и ни у кого на самом деле не было ни малейших колебаний, ни у кого, кроме короля и

его семи министров. Почему колебались *они*, я никак бы не мог сказать, разве что они делали это ради шутки. Более вероятно, впрочем, что им было трудно приготовиться по причине их основательной тучности. Как бы то ни было, время уходило; и, прибегая к последнему средству, они послали за Триппеттой и Хоп-Фрогом.

Когда два маленьких друга пришли на зов короля, он сидел за столом и пил вино вместе с семью членами своего совещательного кабинета; но владыка, по-видимому, был решительно не в своей тарелке. Он знал, что Хоп-Фрог не выносил вина; действительно, оно возбуждало бедного калеку настолько, что он делался почти безумным, а безумие — чувство не особенно приятное. Но король любил свои активные шутки, и ему показалось очень приятным заставить Хоп-Фрога выпить (как король изволил определить это) и «развеселиться».

— Ну-ка, поди-ка сюда, Хоп-Фрог, — сказал он, когда шут вместе со своей подругой вошел в комнату, — вот выпей-ка, — он показал ему на кубок, налитый до краев, — за здоровье твоих отсутствующих друзей (*Тут Хоп-Фрог вздохнул.*), а потом покажи нам, братец, свою изобретательность. Нам нужно что-нибудь характерное, что-нибудь *характерное*, любезнейший, новенькое. Надоело нам это вечное одно и то же. Ну, пей же, вино подогреет твое остроумие.

Хоп-Фрог попытался было ответить на предупредительность короля обычною шуткой, но усилие не увенчалось успехом. Случилось так, что это был как раз день рождения бедного карлика, и приказание выпить за «отсутствующих друзей» вызвало слезы на его глаза. Не одна крупная горькая капля упала в кубок, который он взял из рук тирана.

— А! Ха-ха-ха! — загремел тот, когда карлик с отворачиванием выпил кубок. — Стакан доброго вина — вещь великая! Да что это, братец, у тебя и глаза засветились!

Бедняга! Его большие глаза не светились, а скорее *сверкали*, вино оказывало на его впечатлительный мозг не только сильное, но и мгновенное действие. Он порывисто поставил кубок на стол и осмотрел всю компанию пристальным полубезумным взглядом. Все эти господа, по-видимому, в высшей степени забавлялись успешною «шуткой» короля.

— Ну-с, а теперь к делу, — сказал первый министр, *очень толстый человек*.

— Да, — сказал король, — помоги-ка нам, братец, что-нибудь выдумать, что-нибудь характерное, Хоп-Фрог! Всем нам не достает характера — всем — ха-ха-ха! — И так как это положительно было сказано в виде шутки, смех короля был подхвачен семикратным эхом.

Хоп-Фрог также смеялся, хотя слабо и несколько рассеянно.

— Ну, ну, — нетерпеливо проговорил король, — что же, ничего еще тебе не приходит в голову?

— Мне хочется выдумать что-нибудь *новое*, — отвечал карлик рассеянно. Он был совершенно ошеломлен вином.

— Хочется! — бешено закричал тиран. — Что ты хочешь сказать этим *хочется*? А! Понимаю. Ты надул губы, и тебе еще хочется вина, ну, выпей, выпей! — И, налив другой кубок, он предложил его увечному.

Тот уставился на вино пристальным взглядом и еле дышал.

— Пей, говорят тебе, — разразилось чудовище, — или, черт побери...

Карлик колебался. Король был красен от гнева. Придворные сладко улыбались. Триппетта, мертвенно бледная, приблизилась к креслу короля и, упав перед ним на колени, умоляла пощадить ее друга.

Несколько мгновений тиран смотрел на нее, очевидно пораженный ее дерзостью. Он, по-видимому, совершенно не знал, что ему делать или говорить, как наиболее прилично выразить свое негодование. Наконец, не говоря ни слова, он с яростью толкнул ее от себя и выплеснул ей в лицо полный стакан вина.

Несчастливая девушка встала через силу и, не смея даже вздохнуть, заняла свое прежнее место у конца стола.

На полминуты воцарилась такая мертвая тишина, что можно было бы услышать падение листа или пера. Тишина была прервана глухим, но резким и продолженным *царапающим* звуком, который одновременно исходил как бы из всех углов комнаты.

— Что? *Что?*! Спрашиваю я тебя, хочешь ты этим сказать? — спросил король, бешено поворачиваясь к карлику.

Последний, как кажется, в значительной степени успел отрезвиться и, смотря пристально, но спокойно прямо в лицо тирану, воскликнул.

— Я, я? Почему непременно я?

— Это, кажется, оттуда, — заметил один из придворных, — я думаю, это попугай на окне точил клюв о проволоку клетки.

— Верно, — ответил король, как будто весьма облегченный этой догадкой, — но я бы мог поклясться рыцарской честью, что это вон тот бродяга скрипел зубами.

Тут карлик захохотал (а король был слишком расположен к шуткам, чтобы быть недовольным чьим бы то ни было смехом), причем обнаружил два ряда широких, сильных и безобразных зубов. При этом он выразил решительную готовность выпить сколько угодно вина. Государь был умиротворен, и Хоп-Фрог, осушив новый кубок без видимых дурных последствий, тотчас же и с большим воодушевлением начал обсуждать маскарадные планы.

— Не могу объяснить, в силу какого сплетения мыслей, — заметил он очень спокойно и с таким видом, как будто бы он никогда сроду не пил вина, — не могу объяснить, но *именно после того, как* Ваше Величество изволили ударить эту девушку и выплеснули ей в лицо вино — *именно после того, как* Ваше Величество изволили это сделать, и в то время, как попугай произвел такой странный шум около окна, мне припомнилась прекрасная забава — одна из обычных в моей стране игр, — у нас в маскарадах она исполняется очень часто, здесь же будет совершенною новинкой. К несчастью, однако, для этого требуется компания в восемь человек и...

— Да нас *как раз* восемь! — воскликнул король, смеясь на свою тонкую наблюдательность. — Я и семь министров, как раз восемь. Ну, в чем же дело?

— Мы называем это, — ответил хромец, — Восемь Скованных Орангутангов, и, действительно, это чудесная штука, если хорошо разыграть.

— Мы-то уже ее разыграем, — заметил король, приосаниваясь и опуская веки.

— Вся прелесть игры, — продолжал Хоп-Фрог, — заключается в чувстве страха, который можно нагнать на женщин.

— Превосходно! — заревели хором король и его министры.

— Я вас наряжу орангутангами, — продолжал карлик, — предоставьте все мне. Сходство будет такое поразительное, что все примут вас за настоящих зверей и, конечно, страх гостей будет равняться их изумлению.

— О, да это действительно превосходно, — воскликнул король, — Хоп-Фрог, я тебя, братец, озолочу.

— Цепи будут греметь, потому они и необходимы, они увеличат смятение. Можно будет подумать, что вы убежали *целой толпой* от своих вожатых. Вы не можете себе представить, Ваше Величество, какой *эффект* произведут на маскарадную публику восемь скованных орангутангов, которые большинству покажутся настоящими; и каково это будет, когда они бросятся с дикими криками в толпу изящных и разряженных мужчин и женщин. *Контраст* неподражаемый.

— Надо думать, — сказал король, и весь совет быстро поднялся (уже становилось поздно), чтобы немедленно привести в исполнение план Хоп-Фрога.

Те приемы, с помощью которых он хотел изготовить партию орангутангов, были очень несложны, но в достаточной степени действительны для намеченной цели. Упомянутые животные в ту эпоху, к которой относится мое повествование, были весьма редкостными везде в цивилизованном мире, и, так как черты сходства, созданные карликом, приводили к достаточной звероподобности и к более чем достаточной отвратительности, соответствие с природой было, по-видимому, обеспечено. Король и его министры прежде всего были облачены в узкие ажурные рубахи и панталоны. Затем они были густо намазаны жидкой смолой. Тут кто-то из участников предложил применить перья; но это предложение было немедленно отвергнуто карликом, который, как дважды два четыре, доказал, что шерсть такого животного, как орангутанг, гораздо лучше можно изобразить с помощью льна. Согласно с этим, слой смолы был покрыт густым слоем льна. Затем достали длинную цепь. Прежде всего она прошла вокруг талии короля *и была закреплена*; затем она обошла вокруг талии одного из министров и тоже закреплена; затем вокруг талии каждого из остальных, тем же порядком. Когда этот процесс закрепления цепи был окончен и участ-

ники игры стояли друг от друга так далеко, как только было можно, они образовывали из себя круг; и, чтобы придать всему естественный вид, Хоп-Фрог протянул остаток цепи в виде двух диаметров, сходящихся под прямыми углами, поперек круга, совершенно так же, как в наши дни сковывают шимпанзе и других крупных обезьян с острова Борнео.

Большой зал, в котором должен был праздноваться маскарад, представлял собой круглую комнату, очень высокую, причем солнечный свет проникал сюда через единственное окно, находившееся в вышине. По ночам (время, для которого преимущественно предназначался этот чертог) зал освещался главным образом громадным канделябром, который свешивался на цепи из самого центра косою окна, находившегося на потолке, и который поднимался и опускался с помощью обыкновенного противовеса; но (в виду изящества) этот последний шел по ту сторону купола и тянулся над сводом.

Внешнее убранство комнаты было предоставлено надзору Триннетты, но кое в чем, по-видимому, ею руководил рассудительный ее друг, карлик. Так по его внушению канделябр был убран прочь. Капли воска (а при такой теплоте атмосферы разве можно было от них уберечься) могли бы причинить серьезный ущерб богатому одеянию гостей, которые, по причине большого многолюдства, не *все* были бы в состоянии избегать центрального пункта комнаты, то есть того пункта, который находился под канделябром. В различных местах чертога, там и сям, были поставлены добавочные светильники, и по одному ароматичному факелу было помещено в правой руке каждой из кариатид<sup>3</sup>, которые стояли против стен, числом всего-навсего пятьдесят или шестьдесят.

Следуя советам Гоп-Фрога, восемь орангутангов терпеливо дожидались полночи, чтобы явиться в полном блеске, когда зал будет битком набит нарядными масками. Но как только часы возвестили полночь, они тотчас же ринулись все вместе или, вернее, вкатились — ибо, благодаря цепи, большинство из участников этой компании по необходимости падало и все они спотыкались.

В толпе масок последовало необыкновенное возбуждение, от которого исполнилось восторгом сердце короля. Как

и было предположено, многие из гостей решили, что эти твари с такой свирепой наружностью действительно *какие-то* животные, хотя, быть может, и не подлинные орангутанги. Многие из женщин от ужаса попадали в обморок. И если бы король не позаботился заранее о том, чтобы в зале не было никакого оружия, его компания быстро искупила бы свою забаву кровью. Теперь же поднялась страшная давка по направлению к дверям, но они по приказанию короля были заперты тотчас же, как он вошел, и ключи, согласно внушениям карлика, были переданы ему.

В то время как суматоха достигала своих высших пределов и каждый из веселящихся заботился только о своей собственной безопасности (благодаря давке было действительно много опасности самой *настоящей*), можно было видеть, как цепь, на которой обыкновенно висел канделябр и которая была удалена вместе с ним, теперь мало-помалу, еле заметно начала опускаться вниз, пока ее крючковатый конец не очутился на расстоянии приблизительно трех футов от пола.

Вскоре после этого король и его семь товарищей, вдоволь напрыгавшись в зале по всем направлениям, очутились наконец в ее центре и, естественно, в непосредственной близости от цепи. Карлик, следуя за ними по пятам и понуждая их поддерживать суматоху, схватил их цепь в точке пересечения двух частей, проходивших по кругу диаметрально, под прямыми углами, затем с быстротою молнии он зацепил за это место крюком, на котором обыкновенно висел канделябр, и в одно мгновение действием какой-то невидимой силы висячая цепь была подтянута вверх настолько, что за крюк уже нельзя было взяться; орангутанги с логической неизбежностью были стянуты вместе и столкнулись лицом к лицу.

Маски тем временем несколько оправились от своей тревоги и, начиная смотреть на все, как на искусно выдуманную шутку, разразилась громким хохотом по поводу смешного положения обезьян.

— Предоставьте их *мне!* — вдруг закричал Хоп-Фрог, и его резкий пронзительный голос отчетливо вырезался из этого смутного гула.— Предоставьте *их мне!* Кажется, *я-то* их знаю. Если только я взгляну на них хорошенько, *я* тотчас же скажу, кто они!

Затем, карабкаясь над головами столпившихся зевак, он пробрался к стене, выхватил у одной из кариатид факел и, вернувшись тем же порядком к центру комнаты, вскочил с ловкостью обезьяны на голову к королю, вскарабкался еще на несколько футов по цепи и опустил вниз факел, как бы рассматривая группу орангутангов и все продолжая кричать: «Уж я-то разуюзнаю, кто они!»

И в то время как вся нарядная толпа (и обезьяны включительно) была объята судорожным смехом, шут внезапно издал резкий свист, цепь быстро взлетела вверх футов на тридцать, увлекая за собою испуганных и бьющихся орангутангов и заставляя их висеть в пространстве между косым окном и полом. Что касается Хоп-Фрога, он, карабкаясь по цепи, пока она поднималась, все еще сохранял свое прежнее положение относительно восьми замаскированных (как будто ничего не произошло) и продолжал приближать к ним факел, словно пытаясь рассмотреть, кто они.

Все присутствующие были так изумлены этим внезапным поднятием вверх, что на минуту в чертоге воцарилось мертвое молчание. Оно было нарушено совершенно таким же глухим резким *царапающим* звуком, какой раньше привлек внимание короля и его советников, когда в лицо Триппетты было выплеснуто вино, но теперь уже не могло быть вопроса, *откуда* исходил этот звук — это карлик скрипел и скрежетал своими клыкообразными зубами, между тем как рот его покрылся пеной, а глаза блистали сумасшедшей яростью, устремляясь к приподнятым лицам короля и его семи товарищей.

— Ага, — выговорил, наконец, расвирепеший шут. — Ага! Я начинаю узнавать, *что это* за публика! — И, делая вид, что он желает посмотреть на короля хорошенько, он поднес факел к его льняному покрову, и мгновенно брызнули струи яркого огня. Менее чем в полминуты все восемь орангутангов пылали ослепительным пламенем среди криков толпы, которая, будучи поражена глубоким ужасом, смотрела на них снизу и не имела возможности оказать им хотя бы малейшую помощь.

Наконец огни, быстро увеличиваясь в силе, принудили шута вскарабкаться выше по цепи. И когда он сделал это движение, толпа опять на краткое мгновение погрузилась в

безмолвие. Карлик воспользовался удобным случаем и снова заговорил:

— Теперь я *отлично* вижу, что это за публика. Это великий король и его семь советников — король, которому ничего не стоит ударить беззащитную девушку, и его семь советников, которые подстрекают его на оскорбление. А что до меня, я просто шут Хоп-Фрог, и *это моя последняя шутка*.

Благодаря сильной воспламеняемости льна и смолы, деяние мести было окончено, едва только карлик договорил свои последние слова. Восемь трупов висели на своих цепях — почерневшая масса, вонючая, гнусная, неузнаваемая. Калека швырнул в них свой факел, проворно вскарабкался к потолку, и скрылся в косом окне.

Думают, что Триппетта, находясь над сводом зала, была соучастницей своего друга в его жестокой мести и что оба они бежали на родину, ибо никто их больше не видел.

## ОВАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ

Egli e vivo e parlerebbe se non  
osser-vasse la rigola del silentio\*.

*Надпись под одним итальянским  
портретом св. Бруно*

Лихорадка моя была упорна и продолжительна. Все средства, какие только можно было достать в этой дикой местности близ Апеннин, были исчерпаны, но без каких-либо результатов. Мой слуга и единственный мой товарищ в уединенном замке был слишком взволнован и слишком неискусен, чтобы решиться пустить мне кровь, которой, правда, я уже достаточно потерял в схватке с бандитами. Я не мог также со спокойным сердцем отпустить его поискать где-нибудь помощь. Наконец, неожиданно я вспомнил о маленьком свертке опиума, который лежал вместе с табаком в деревянном ящичке: в Константинополе я приобрел привычку курить табак вместе с такой лекарственной примесью. Педро

---

\* Он *жив*, и он заговорил бы, если бы не соблюдал правило молчания (*ит.*). — *Примеч. пер.*

подал мне ящичек. Порывшись, я нашел желанное наркотическое средство. Но когда дело дошло до необходимости отделить должную часть, мной овладело раздумье. При курении было почти безразлично, *какое количество* употреблялось. Обыкновенно я наполнял трубку до половины опиумом и табаком и перемешивал то и другое — половина на половину. Иногда, выкурив всю эту смесь, я не испытывал никакого особенного действия; иногда же, еле выкурив две трети, я замечал симптомы мозгового расстройства, которые бывали даже угрожающими и предостерегали меня, дабы я воздержался. Правда, эффект, производимый опиумом при легком изменении в количестве, совершенно был чужд какой-либо опасности. Тут, однако, дело обстояло совершенно иначе. Никогда раньше я *не принимал* опиума *внутри*. У меня бывали случаи, когда мне приходилось принимать лауданум и морфий, и относительно *этих* наркотиков я не имел бы оснований колебаться. Но опиум в чистом виде был мне неизвестен. Педро знал об этом не больше меня, и таким образом, находясь в подобных критических обстоятельствах, я пребывал в полной нерешительности. Тем не менее я не был особенно огорчен этим и, рассудив, решил принимать опиум *постепенно*. Первая доза должна быть *очень* ограниченной. Если она окажется недействительной, размышляя я, можно будет ее повторить; и так можно будет продолжать, пока лихорадка не утихнет или пока ко мне не придет благодетельный сон, не посещавший меня почти уже целую неделю. Сон был необходимостью, чувства мои находились в состоянии какого-то опьянения. Именно это смутное состояние души, это тупое опьянение, несомненно, помешало мне заметить бессвязность моих мыслей, которые были так велики, что я стал рассуждать о больших и малых дозах, не имея предварительно какого-либо определенного масштаба для сравнения. В ту минуту я совершенно не представлял себе, что доза опиума, казавшаяся мне необычайно малой, на самом деле могла быть необычайно большой. Напротив, я хорошо помню, что с самой невозмутимой самоуверенностью я определил количество, необходимое для приема, по его отношению к целому куску, находившемуся в моем распоряжении. Порция, которую я наконец проглотил, и проглотил бесстрашно,

была, несомненно, весьма малой частью *всего количества, находившегося в моих руках.*

Замок, куда мой слуга решился скорее проникнуть силой, нежели допустить, чтобы я, измученный и раненый, провел всю ночь на открытом воздухе, был одним из тех мрачных и величественных зданий-громзд, которые так давно хмурятся среди Апеннин, не только в фантазии мистрис Радклиф<sup>1</sup>, но и в действительности. По всей видимости, он был покинут на время и совсем еще недавно. Мы устроились в одной из самых небольших и наименее роскошно обставленных комнат. Она находилась в уединенной башенке. Обстановка в ней была богатая, но износившаяся и старинная. Стены были покрыты обивкой и увешаны разного рода военными доспехами, а также целым множеством очень стильных современных картин в богатых золотых рамах с арабесками. Они висели не только на главных частях стены, но и в многочисленных уголках, которые странная архитектура здания делала необходимыми, — и я стал смотреть на эти картины с чувством глубокого интереса, быть может обусловленного моим начинавшимся бредом; так я приказал Педро закрыть тяжелые ставни — ибо была уже ночь, — зажечь свечи в высоком канделябре, стоявшем у кровати близ подушек, и совершенно отдернуть черные бархатные занавеси с бахромой, окутывавшей самую постель. Я решил, что, если уже мне не уснуть, так я, по крайней мере, буду поочередно смотреть на эти картины и читать маленький томик, который лежал на подушке и содержал в себе критическое их описание. Долго-долго я читал и глядел на создания искусства с преклонением, с благоговением. Быстро убежали чудесные мгновения, и подкрался глубокий час полночи. Положение канделябра показалось мне неудобным, и, с трудом протянувши руку, я избежал нежелательной для меня необходимости будить моего слугу, и сам переставил его таким образом, чтобы сноп лучей полнее падал на книгу.

Но движение мое произвело эффект совершенно неожиданный. Лучи многочисленных свечей (ибо их действительно было много) упали теперь в нишу, которая была до этого окутана глубокой тенью, падавшей от одного из столбов кровати. Я увидел таким образом при самом ярком освещении картину, которой раньше совершенно не замечал. Это был

портрет молодой девушки, только что развившейся до полной женственности. Я стремительно взглянул на картину и закрыл глаза. Почему я так сделал, это в первую минуту было непонятно мне самому. Но пока ресницы мои оставались закрытыми, я стал лихорадочно думать, почему я закрыл их. Это было инстинктивным движением с целью выиграть время — удостовериться, что зрение не обмануло меня, успокоить и подчинить свою фантазию более трезвому и точному наблюдению. Через несколько мгновений я опять устремил на картину пристальный взгляд.

Теперь не было ни малейшего сомнения, что я вижу ясно и правильно, ибо первая яркая вспышка свечей, озарившая это полотно, по-видимому, развеяла то дремотное оцепенение, которое завладело всеми моими чувствами, и сразу вернула меня к реальной жизни.

Как я уже сказал, это был портрет молодой девушки. Только голова и плечи в стиле *виньетки*, говоря языком техническим. Многие штрихи напоминали манеру Салли<sup>2</sup> в его излюбленных головках. Руки, грудь и даже концы лучезарных волос незаметно сливались с неопределенной глубокой тенью, составлявшей задний фон всей картины. Рама была овальная, роскошно позолоченная и филигранная, в *мавританском вкусе*<sup>3</sup>. Рассматривая картину как создание искусства, я находил, что ничего не могло быть прекраснее ее. Но не самим исполнением и не бессмертной красотой лица я был поражен так внезапно и так сильно. Конечно, я никак не мог думать, что фантазия моя, вызванная из состояния полудремоты, была слишком живо настроена и что я принял портрет за голову живого человека. Я сразу увидел, что особенности рисунка, его *виньеточный* характер, и качество рамы, должны были с первого взгляда уничтожить подобную мысль — должны были предохранить меня даже от мгновенной иллюзии. Упорно размышляя об этом, я оставался, быть может, целый час полусидя, полулежа, устремив на портрет пристальный взгляд. Наконец, насытившись скрытой тайной художественного эффекта, я откинулся на постель. Я понял, что очарование картины заключалось в необычайной *жизненности* выражения, которая, сперва поразив меня, потом смутила, покорила и ужаснула. С чувством глубокого и почтительного страха я передвинул канделябр на его прежнее

место. Устранив таким образом от взоров причину моего глубокого волнения, я с нетерпением отыскал томик, где обсуждались картины и описывалась история их возникновения. Открыв его на странице, где описывался овальный портрет, я прочел смутный и причудливый рассказ:

«Она была девушкой самой редкостной красоты, и была столько же прекрасна, сколько весела. И злополучен был тот час, когда она увидела и полюбила художника и сделалась его женой. Страстный, весь отдавшийся занятиям и строгий, он уже почти имел невесту — свое искусство; она же была девушкой самой редкостной красоты и была столько же прекрасна, сколько весела: вся — смех, вся — лучезарная улыбка, она была резва и шаловлива, как молодая лань; она любила и лелеяла все, к чему ни прикасалась; ненавидела только Искусство, которое соперничало с ней; пугалась только палитры, кисти и других несносных инструментов, отнимавших у нее ее возлюбленного. Ужасной вестью было для этой женщины услышать, что художник хочет написать портрет и самой новобрачной. Но она была смиренна и послушна, и безропотно сидела она целые недели в высокой и темной комнате, помещавшейся в башне, где свет, скользя, струился только сверху на полотно. Но он, художник, вложил весь свой гений в работу, которая росла и создавалась с часу на час, со дня на день. И он был страстный и причудливый, безумный человек, терявший душу в своих мечтаниях; и не хотел он видеть, что бледный свет, струившийся так мрачно и угрюмо в эту башню, снесдал веселость и здоровье новобрачной, и все видели, что она угасает, только не он. А она все улыбалась и улыбалась и не проронила ни слова жалобы, ибо видела, что художник (слава которого была велика) находил пламенное и жгучее наслаждение в своей работе и дни и ночи старался воссоздать на полотне лицо той, которая его так любила, которая изо дня в день все более томилась и бледнела. И правда, те, что видели портрет, говорили тихим голосом о сходстве как о могущественном чуде и как о доказательстве не только творческой силы художника, но и его глубокой любви к той, которую он воссоздавал так чудесно. Но наконец, когда работа стала близиться к концу, никто не находил более доступа в башню, потому что художник, с самозабвением безумия отдавшийся работе, почти не открывал

своих глаз от полотна, почти не глядел даже на лицо жены. И не *хотел* он видеть, что краски, которые он раскинул по полотну, были взяты с лица той, что сидела ближе него. И когда минули долгие недели и лишь небольшое осталось довершить — один штрих около рта, одну блестку на глаз, — душа этой женщины вновь вспыхнула, как угасающий светильник, догоравший до конца. И вот положен штрих, и вот положена блестка; и на мгновение художник остановился, охваченный восторгом, перед работой, которую он создал сам; но тотчас же, еще не отрывая глаз, он задрожал и побледнел, и, полный ужаса, воскликнув громко: „Да ведь это сама *Жизнь!*“, он быстро обернулся, чтобы взглянуть на возлюбленную — *она была мертва!*»

## ЛИГЕЙЯ

И если кто не умирает, это от могущества воли. Кто познает сокровенные тайны воли и ее могущества? Сам Бог есть великая воля, проникающая все своею напряженностью. И не уступил бы человек ангелам, даже и перед смертью не склонился бы, если б не была у него слабая воля.

*Джозеф Гленвилл<sup>1</sup>*

Клянусь, я не могу припомнить, как, когда или даже в точности где я узнал впервые леди Лигейю. Много лет прошло с тех пор, и память моя ослабела от множества страданий. Или, быть может, я не в силах припомнить этого *теперь*, потому что на самом деле необыкновенные качества моей возлюбленной, ее исключительные знания, особенный и такой мирный оттенок ее красоты, и полное чар захватывающее красноречие ее мелодичного грудного голоса прокрадывались в мое сердце так незаметно, с таким постепенным упорством, что я и не заметил этого, не узнал. Да, но все же мне чудится, что я встретил ее впервые и встречал много раз потом в каком-то обширном, старинном городе, умирающем

на берегах Рейна. Она, конечно, говорила мне о своем происхождении. Что ее род был очень древним, в этом не могло быть ни малейшего сомнения. Лигейя! Лигейя! Погруженный в такие занятия, которые, более чем что-либо иное, могут по своей природе убить впечатления внешнего мира, я чувствую, как одного этого нежного слова, Лигейя, достаточно, чтобы предо мною явственно предстал образ той, кого уже больше нет. И теперь, пока я пишу, во мне вспыхивает воспоминание, что я *никогда не знал* фамильного имени той, которая была моим другом и невестой, и сделалась потом товарищем моих занятий и, наконец, супругой моего сердца. Было ли это прихотливым желанием моей Лигейи? Или то было доказательством силы моего чувства, что я никогда не предпринимал никаких исследований по этому поводу? Или, скорее, не было ли это моим собственным капризом, моим романтическим жертвоприношением на алтаре самого страстного преклонения? Я только неясно помню самый факт, — не удивительно ли, что я совершенно забыл об обстоятельствах, обусловивших или сопровождавших его? И если действительно тот дух, который назван *Романом*, если эта бледная туманнокрылая *Аштофег*<sup>2</sup> языческого Египта председательствовала, как говорят, на свадьбах, сопровождавшихся мрачными предзнаменованиями, нет сомнения, что она председательствовала на моей.

Есть, однако, нечто дорогое, относительно чего память моя не ошибается. Это *внешность* Лигейи. Высокого роста, Лигейя была тонкой, в последние дни даже исхудалой. Тщетно было бы пытаться описать величественность, спокойную непринужденность всех ее движений, непостижимую легкость и эластичность ее поступи. Она приходила и уходила точно тень. Никогда я не слышал, что она входит в мой рабочий кабинет, я только узнавал об этом, когда она касалась моего плеча своею словно выточенной из мрамора рукой — я с наслаждением узнавал об этом, слыша нежный звук ее грудного голоса. Ни одна девушка в мире не могла сравниться с нею красотой лица. Это был какой-то лучистый сон, навеянный опиумом, воздушное и душу возвышающее видение, в котором было больше безумной красоты, больше божественного очарования, чем в тех фантастических снах, что парили над спящими душами делосских дочерей<sup>3</sup>. Однако

черты ее лица не отличались той правильностью, почитать которую в классических созданиях язычников мы научены издавна и напрасно. «Нет изысканной красоты, — говорит Бэкон, лорд Веруламский, справедливо рассуждая о всех разнородных формах и *видах* красоты, — без некоторой *странности* в соразмерности частей»<sup>4</sup>. Я видел, что у Лигеи не было классической правильности в чертах, я понимал, что ее красота действительно «изысканная», и чувствовал, что много было «странности», проникавшей ее, и все же я тщетно пытался открыть какую-либо неправильность и подробно проследить мое собственное представление «странного». Я всматривался в очертания высокого и бледного лба — он был безукоризнен; но как бездушно это слово в применении к величавости такой божественной белизны кожи, не уступающей чистейшей слоновой кости, пышная широта и безмятежность, легкий выступ над висками; и потом эти роскошные локоны, цвета воронова крыла, с природными завитками, с отливом вполне оправдывающим силу гомеровского эпитета, «гиацинтовый!». Я смотрел на тонкие очертания носа, и нигде, за исключением изящных еврейских медальонов, не видел я такого совершенства. Та же чудесная гладкая поверхность, тот же еле заметный выступ, приближающейся к типу орлиного, те же гармонично изогнутые брови, говорящие о свободной душе. Я смотрел на нежный рот. Он был поистине торжеством всего неземного: очаровательная верхняя губа, короткая и приподнятая, сладострастная дремота нижней, ямочки, которые всегда играли, и цвет, который говорил, зубы, отражавшие с блеском удивительным каждый луч благословенного света, падавшего на них и разгоравшегося мирной и ясной улыбкой. Я размышлял о форме подбородка и здесь также находил грацию широты, нежность и пышность, полноту и духовность эллинскую, дивное очертание, которое бог Аполлон лишь во сне открыл Клеомену, гражданину двинскому. И потом я пристально смотрел в самую глубь больших глаз Лигеи.

Для глаз мы не находим моделей в отдаленной древности. Быть может, именно в глазах моей возлюбленной скрывалась тайна, на которую намекает лорд Веруламский. Мне кажется, они были гораздо больше, чем глаза обыкновенного смертного. Продолговатые, они были длиннее, чем газели

глаза, отличающие племя, что живет в долине Нурджахаде<sup>5</sup>. Но только временами — в моменты высшего возбуждения — эта особенность становилась резко заметной в Лигейе. И в подобные моменты ее красота, — быть может, это только так казалось моей взволнованной фантазии — была красотой существ, живущих в небесах или, по крайней мере, вне Земли — красотой легендарных гурий Турции<sup>6</sup>. Цвет зрачков был лучезарно-черным, и прекрасны были эти длинные агатовые ресницы. Брови, несколько изогнутые, были такого же цвета. Однако «странность», которую я находил в глазах, заключалась не в форме, не в цвете, не в блистательности черт, она крылась в *выражении*. О, как это слово лишено значения! За этим звуком, как бы теряющимся в пространстве, скрывается наше непонимание целой бездны одухотворенности. Выражение глаз Лигейи! Как долго, целыми часами, я размышлял об этом! В продолжение летних ночей, от зари до зари, я старался измерить их глубину! Что скрывалось в зрачках моей возлюбленной? Что-то более глубокое, чем колодец Демокрита<sup>7</sup>! Что это *было*? Я сгорал страстным желанием найти разгадку. О, эти глаза! Эти большие, эти блестящие, эти божественные сферы! Они стали для меня двумя звездными близнецами Леды<sup>8</sup>, а я для них — самым набожным из астрологов.

Среди многих непостижимых аномалий, указываемых наукой о духе, нет ни одной настолько поразительной, как тот факт — никогда, кажется, никем не отмеченный, — что при условиях воссоздать в памяти что-нибудь давно забытое мы часто находимся *на самом краю* воспоминания, не будучи, однако, в состоянии припомнить. И подобно этому, как часто, отдаваясь упорным размышлениям о глазах Лигейи, я чувствовал, что я близок к полному познанию их выражения, я чувствовал, что вот сейчас я его достигну, но оно приближалось и однако же не было всецело моим — и в конце концов совершенно исчезало! И (как странно, страннее всех странностей!) я находил в самых обыкновенных предметах, меня окружавших, нить аналогии, соединявшую их с этим выражением. Я хочу сказать, что, после того как красота Лигейи вошла в мою душу и осталось там на своем алтаре, я не раз получал от предметов материального мира такое же ощущение, каким всегда наполняли и окружали меня ее большие

лучезарные глаза. И однако же, я не мог определить это чувство, или точно проследить его, или даже всегда иметь о нем ясное представление. Повторяю, я иногда вновь испытывал его, видя быстро растущую виноградную лозу, смотря на ночную бабочку, на мотылька, на куколку, на поспешные струи проточных вод. Я чувствовал его в океане, в падении метеора. Я чувствовал его во взглядах некоторых людей, находившихся в глубокой старости. И есть одна или две звезды на небе — в особенности одна, звезда шестой величины, двойная и изменчивая, находящаяся ближе большой звезды в созвездии Лиры<sup>9</sup>, — при созерцании ее через телескоп я испытывал это ощущение. Оно охватывало меня, когда я слышал известное сочетание звуков, исходящих от струнных инструментов, и нередко, когда я прочитывал в книгах ту или иную страницу. Среди других бесчисленных примеров я хорошо помню один отрывок из Джозефа Гленвилля, который (быть может, по своей причудливости — кто скажет?) каждый раз при чтении давал мне это ощущение: «И если кто не умирает, это от могущества воли. Кто познает сокровенные тайны воли и ее могущества? Сам Бог есть великая воля, проникающая все своею напряженностью. И не уступил бы человек ангелам, даже и перед смертью не склонился бы, если б не была у него слабая воля».

Долгие годы и последовательные размышления дали мне возможность установить некоторую отдаленную связь между этим отрывком из английского моралиста и известной чертой в характере Лигейи. Своеобразная *напряженность* в мыслях, в поступках, в словах являлась у нее, быть может, результатом или во всяком случае показателем той гигантской воли, которая, за время наших долгих и тесных отношений, могла бы дать и другое, более непосредственное указание на себя. Из всех женщин, которых я когда-либо знал, Лигейя, на вид всегда невозмутимая и ясная, была терзаема самыми дикими коршунами неудержимой страсти. И эту страсть я мог измерить только благодаря чрезмерной расширенности ее глаз, которые пугали меня и приводили в восторг, благодаря магической мелодичности, ясности и звучности ее грудного голоса, отличавшегося чудесными модуляциями, и благодаря дикой энергии ее зачарованных слов, которая удваивалась контрастом ее манеры говорить.

Я упоминал о познаниях Лигейи: действительно они были громадны — такой учености я никогда не видал в женщине. Она глубоко проникла в классические языки, и, насколько мои собственные знания простирались на языки современной Европы, я никогда не видал у нее пробелов. Да и вообще видел ли я *когда-нибудь*, чтоб у Лигейи был пробел в той или иной отрасли академической учености, наиболее уважаемой за свою наибольшую запутанность?

Как глубоко, как странно поразила меня эта единственная черта в натуре моей жены, как приковала она мое внимание именно за этот последний период! Я сказал, что никогда не видел такой учености ни у одной женщины, но существует ли вообще где-нибудь человек, который последовательно и успешно охватил бы всю широкую сферу морального, физического и математического знания. Я не видал раньше того, что теперь вижу ясно, не замечал, что Лигейя обладала познаниями гигантскими, изумительными, все же я слишком хорошо чувствовал ее бесконечное превосходство сравнительно со мной, и с доверчивостью ребенка отдался ее руководству, и шел за ней через хаос метафизических исследований, которыми я с жаром занимался в первые годы нашего супружества. С каким великим торжеством, с каким живым восторгом, с какой идеальной воздушностью надежды я *чувствовал*, что моя Лигейя склонялась надо мною в то время, как я был погружен в области знания столь мало отыскиваемого — еще менее известного, — предо мною постепенно раскрывались чудесные перспективы, пышные и совершенно непочатые, и, идя по этому девственному пути, я должен был наконец достичь своей цели, прийти к мудрости, которая слишком божественна и слишком драгоценна, чтобы не быть запретной!

Сколько же было скорби в моем сердце, когда по истечении нескольких лет я увидел, что мои глубоко обоснованные надежды вспорхнули как птицы и улетели прочь! Без Лигейи я был беспомощным ребенком, который в ночном мраке ощупью отыскивает свою дорогу и не находит. Лишь ее присутствие, движения ее ума могли осветить для меня живым светом тайны трансцендентальности, в которые мы были погружены; не озаренная лучистым сиянием ее глаз, вся эта книжная мудрость, только что бывшая воздушно-золотой,

делалась тяжелее, чем мрачный свинец. Эти чудесные глаза блистали все реже и реже над страницами, наполнявшими меня напряженными размышлениями. Лигейя заболела. Ее безумные глаза горели сияньем слишком лучезарным; бледные пальцы, окрасившись краскою смерти, сделались прозрачно-восковыми; и голубые жилки обрисовывались на белизне ее высокого лба, то возвышаясь, то опускаясь при каждой самой слабой перемене ее чувств. Я видел, что ей суждено умереть, и в мыслях отчаянно боролся со свирепым Азраилом. К моему изумлению, жена моя, объятая страстью, боролась с еще большей энергией. В ее суровой натуре было много такого, что заставляло меня думать, что к ней смерть должна была прийти без обычной свиты своих ужасов, но в действительности было не так. Слова бессильны дать хотя бы приблизительное представление о том страстном упорстве, которое она выказала в своей борьбе с Тенью. Я стонал в тоске при виде этого плачевного зрелища. Мне хотелось бы ее утешить, мне хотелось бы ее уговорить, но при напряженности ее безумного желания жить — жить, *только бы жить* — веские утешения и рассуждения одинаково были верхом безумия. Однако же до самого последнего мгновения, среди судорожных пыток, терзавших ее гордый дух, ясность всех ее ощущений и мыслей внешне оставалась неизменной. Ее голос делался все глубже, все нежнее и как будто отдаленнее, но я не смел пытаться проникнуть в загадочный смысл ее слов, которые она произносила так спокойно. Зачарованный каким-то исступленным восторгом, я слушал эту сверхчеловеческую мелодию, и мой ум жадно устремлялся к надеждам и представлениям, которых ни один из смертных доныне не знал никогда.

Что она меня любила, в этом я не мог сомневаться; и мне легко было понять, что в ее сердце любовь должна была царить не так, как царит заурядная страсть. Но только в смерти она показала вполне всю силу своего чувства. Долгие часы, держа мою руку в своей, она изливала предо мною полноту своего сердца, и эта преданность, более чем страстная, возрастала до обожания. Чем заслужил я блаженство слышать такие признания? Чем заслужил я проклятие, отнимавшее у меня мою возлюбленную в тот самый миг, когда она делала мне такие признания? Но я не в силах останавливаться на

этом подробно. Я скажу только, что в этой любви, которой Лигейя отдалась больше, чем может отдаться женщина, в любви, которая, увы, была незаслуженной, дарованной совершенно недостойному, я увидел наконец источник ее пламенного и безумного сожаления о жизни, убегавшей теперь с такую быстротой. Именно это безумное желание, эту неутолимую жажду жить — *только бы* жить — я не в силах изобразить, не в силах найти для этого ни одного слова, способного быть красноречивым.

В глубокую полночь, в ту ночь, когда она умерла, властным голосом подозвав меня к себе, она велела мне повторить стихи, которые сложились у нее в уме за несколько дней перед этим. Я повиновался ей. Вот они:

Во тьме безутешной — блистающий праздник,  
Огнями волшебный театр озарен!  
Сидят серафимы в покровах и плачут,  
И каждый печалью глубокой смущен,  
Трепещут крылами и смотрят на сцену,  
Надежда и ужас проходят как сон,  
И звуки оркестра в тревоге вздыхают,  
Заоблачной музыки слышится стон.  
Имея подобие Господа Бога,  
Снуют скоморохи туда и сюда;  
Ничтожные куклы приходят, уходят,  
О чем-то бормочут, ворчат иногда.  
Над ними нависли огромные тени,  
Со сцены они не уйдут никуда,  
И крыльями кондоры веют бесшумно,  
С тех крыльев незримо слетает Беда!

Мишурные лица! Но знаешь, ты знаешь,  
Причудливой пьесы забвения нет!  
Безумцы за Призраком гонятся жадно,  
Но Призрак скользит, как блуждающий свет,  
Бежит он по кругу, чтоб снова вернуться  
В исходную точку, в святилище бед;  
И много Безумия в драме ужасной,  
И Грех — в ней завязка, и счастья в ней нет!

Но что это там? Между газров пестрых  
Какая-то красная форма ползет

Оттуда, где сцена окутана мраком!  
То червь, — скоморохам он гибель несет.  
Он корчится! — корчится! — гнусною пастью  
Испуганных газров алчно грызет.  
И ангелы стонут, и червь искаженный  
Багряную кровь ненасытно сосет.

Потухло, потухло, померкло сиянье!  
Над каждой фигурой, дрожащей, немой,  
Как саван злоеший, крутится завеса  
И падает вниз, как порыв грозовой.  
И ангелы, с мест поднимаясь, бледнеют,  
Они утверждают, объятые тьмой,  
Что эта трагедия «Жизнью» зовется,  
Что Червь-победитель — той драмы герой!

— О, Боже мой, — почти вскрикнула Лигейя, быстро вставая и судорожно простирая руки вверх, — О, Боже мой, о, Небесный Отец мой! Неужели все это неизбежно? Неужели этот победитель не будет когда-нибудь побежден? Неужели мы не часть и не частица существа Твоего? Кто? Кто знает тайны воли и ее могущества? Человек не уступил бы и ангелам, *даже и перед смертью не склонился бы*, если б не была у него слабая воля.

И потом, как бы истощенная этой вспышкой, она бесильно опустила свои бледные руки и торжественно вернулась на свое смертное ложе. И когда замирали ее последние вздохи, на губах ее затрепетал неясный шепот. Я приник к ней и опять услышал заключительные слова отрывка из Гленвилля: *«И не уступил бы человек ангелам, даже и перед смертью не склонился бы, если б не была у него слабая воля!»*

Она умерла, и, пригнетенный до самого праха тяжестью скорби, я не мог больше выносить пустынного уединения моего дома в этом туманном городе, умирающем на берегах Рейна. У меня не было недостатка в том, что люди называют богатством. Лигейя принесла мне больше, гораздо больше, чем это выпадает на долю обыкновенных смертных. И вот после нескольких месяцев утомительного и бесцельного скитания я купил и частью привел в порядок полуразрушенное аббатство — не буду его называть — в одной из самых диких и наименее людных местностей живописной Англии. Мрач-

ная и угрюмая величественность здания, почти дикий характер поместья, грустные и освященные временем воспоминания, связанные с тем и с другим, имели в себе много чего-то, что гармонировало с чувством крайней бесприютности, забросившей меня в эту отдаленную и безлюдную местность. Оставив почти неизменным внешний вид аббатства, эти руины, поросшие зеленью, которые свешивались гирляндами, — внутри здания я дал простор более чем царственной роскоши, руководясь какой-то ребяческой извращенностью, а быть может, и слабой надеждой рассеять мои печали. Еще в детстве у меня была большая склонность к таким фантазиям, и теперь они снова вернулись ко мне, как бы внушенные безумием тоски. Увы, я чувствую, как много начинающегося безумия можно было открыть в этих пышных и фантастических драпировках, в египетской резьбе, исполненной торжественности, в этих странных карнизах и мебели, в сумасшедших узорах ковров, затканых золотом! Я сделался рабом опиума, и все мои занятия и планы приобрели окраску моих снов. Но я не буду останавливаться подробно на всем этом безумии. Я буду говорить только об одной комнате — да будет она проклята навеки! — о комнате, куда в момент затемнения моих мыслей я привел от алтаря свою новобрачную — преемницу незабвенной Лигейи — белокурую голубоглазую леди Ровену Тревенион из Тримейна.

Нет ни одной архитектурной подробности, ни одного украшения в этой свадебной комнате, которых я не видел бы теперь совершенно явственно. Каким образом надменная семья моей новобрачной в своей жажде золота решилась допустить, чтобы эта девушка, дочь так горячо любимая, перешагнула через порог комнаты, украшенной *таким* убранством? Я сказал, что хорошо помню все подробности обстановки, хотя память моя самым печальным образом теряет воспоминания высокой важности; а в этой фантастической роскоши не было никакой системы, никакой гармонии, на которую воспоминание могло бы опереться. Являясь частью высокой башни аббатства, укрепленного как замок, комната эта представляла из себя пятиугольник и была очень обширна. Всю южную сторону пятиугольника занимало единственное окно — громадное и цельное венецианское стекло с окраской свинцового цвета, так что лучи солнца или

месяца, проходя через него, мертвенно озаряли предметы внутри. Над верхней частью этого окна распространялась сеть многолетних виноградных ветвей, которые цеплялись за массивные стены башни. Дубовый потолок, смотревший мрачно, был необычайно высок, простирался сводом и тщательно был украшен инкрустациями самыми странными и вычурными, в стиле наполовину готическом, наполовину друидическом<sup>10</sup>. В глубине этого угрюмого свода, в самом центре, висела на единственной цепи, сдавленной из продолговатых золотых колец, громадная лампа из того же металла, в форме кадилницы, украшенная сарацинскими узорами, и снабженная прихотливыми отверстиями таким образом, что через них как бы живые скользили и извивались змеиные отливывы разноцветных огней.

В разных местах кругом стояли там и сям оттоманки и золотые канделябры в восточном вкусе и, кроме того, здесь была постель, брачное ложе в индийском стиле, низкое, украшенное изваяниями из сплошного эбенового дерева, с балдахином, имевшим вид похоронного покрывала. В каждом из углов комнаты возвышался гигантский саркофаг из черного гранита, с царских могил Луксора<sup>11</sup>; их древние крышки были украшены незабвенными изображениями. Но главная фантазия, царившая надо всем, крылась, увы, в обивке этого покоя. Высокие стены, гигантские и даже непропорциональные, сверху донизу были обтянуты массивной тяжелой материей, падавшей широкими складками, — эта материя виднелась и на полу как ковер и на оттоманках как покрывалка, и на эбеновой кровати как балдахин, и на окне как пышные извивы занавесей, частью закрывавших окно. Материя была богато заткана золотом. На неровных промежутках она вся была испещрена арабескными изображениями, которые имели приблизительно около фута в диаметре и узорно выделялись агатово-черным цветом. Но эти изображениям являлись настоящими арабесками лишь тогда, когда на них смотрели с одного известного пункта. Посредством приема, который теперь очень распространен и следы которого можно найти в самой отдаленной древности, они были сделаны таким образом, что меняли свой вид. Для того, кто входил в комнату, они просто представлялись чем-то уродливым, по мере приближения к ним этот характер постепенно исчезал,

и мало-помалу посетитель, меняя свое место в комнате, видел себя окруженным бесконечной процессией чудовищных образов, подобных тем, которые рождались в суеверных представлениях Севера, или тем, что возникали в преступных сновидениях монахов. Фантасмагорический эффект в значительной степени увеличивался искусственным введением непрерывного сильного течения воздуха из-за драпировок, дававшего всему отвратительное и беспокойное оживление.

В таких-то чертогах, в таком брачном покое, провел я с леди Ровеной из Тримейна нечестивые часы первого месяца нашего брака, и провел без особенного беспокойства. Что жена моя боялась дикой переменчивости моего характера, что она избегала меня, что она любила меня далеко не пламенной любовью, этого я не мог не видеть, но все это доставляло мне скорее удовольствие, нежели что-либо иное. Я ненавидел ее ненавистью отвращения, более напоминающей демона, чем человека. Мои воспоминания убегали назад (о, с какой силой раскаяния!) — к Лигейе, к возлюбленной, к священной, к прекрасной, к погребенной. Я упивался воспоминаниями об ее чистоте, об ее мудрости, о благородной воздушности ее ума, о ее страстной, ее полной обожания любви. И вот мой дух вспыхнул и весь возгорелся пламенем сильнее, чем огонь ее собственной души. Объятый экстазом снов, навеянных опиумом (ибо я обыкновенно находился во власти этого зелья), я испытывал желание громко восклицать, произносить ее имя в молчании ночи или днем наполнять звуками дорогого имени тенистые уголки долин, как будто этой дикой энергией, этой торжественной страстью, неутолимой жадой моей тоски об усопшей я мог вернуть ее к путям, которые она покинула, — о, *могло ли* это быть, что она навеки их покинула, — на земле?

В начале второго месяца нашего брака леди Ровена была застигнута внезапной болезнью, и выздоровление шло очень медленно. Лихорадка, снедавшая ее по ночам, была беспокойной; и, находясь в возмущенном состоянии полудремоты, она говорила о звуках и о движениях, которые возникали то здесь, то там в этой комнате, составлявшей часть башни, что я, конечно, мог приписать только расстройству ее фантазий или, быть может, фантасмагорическому влиянию самой комнаты. Но с течением времени она стала выздоравливать, на-

конец совсем поправилась. Однако через самый короткий промежуток времени вторичный припадок, еще более сильный, снова уложил ее в постель, и после него ее здоровье, всегда слабое, никак не могло восстановиться. С этого времени болезнь приняла тревожный характер, и припадки, возобновляясь, становились все более угрожающими, как бы насмехаясь и над знаниями, и над тщательными усилиями врачей. По мере того как увеличивался этот хронический недуг, который, по-видимому, настолько овладел всем ее существом, что, конечно, его невозможно было устранить обычными человеческими средствами, я не мог не заметить подобного же возрастания ее нервной раздражительности и возбужденности до такой степени, что самые обыкновенные вещи стали внушать ей страх. Она опять начала говорить, и на этот раз более часто и с большим упорством, о звуках — о легких звуках — и о необычайных движениях среди занавесей, о чем она уже говорила раньше.

Однажды ночью в конце сентября она с большой настойчивостью и с большим, нежели обыкновенно, волнением старалась обратить мое внимание на то, что вызывало в ней тревогу. Она только что очнулась от своего беспокойного сна, и я, будучи исполнен наполовину беспокойства, наполовину смутного страха, следил за выражением ее исхудалого лица. Я сидел близ эбеновой кровати на одной из индийских оттоманок. Больная слегка приподнялась и говорила настойчивым тихим шепотом о звуках, которые она *только что* слышала, но которых я не мог услышать, о движениях, которые она *только что* видела, но которых я не мог заметить. Ветер бешено бился за обивкой, я хотел объяснить ей (признаюсь, я сам не мог *вполне* этому верить), что это едва различимое дыхание и эти легкие изменения фигур на стенах являлись самым естественным действием обычного течения ветра. Но смертельная бледность, распространившаяся по ее лицу, доказывала мне, что все мои усилия успокоить ее были бесплодны. Она, по-видимому, теряла сознание, а между тем вблизи не было ни одного из слуг, кого бы я мог позвать. Вспомнив, где находился графин с легким вином, которое было прописано ей врачами, я поспешно устремился через комнату, чтобы принести его. Но когда я вступил в полосу света, струившегося от камина, два обстоятельства по-

разили и приковали к себе мое внимание. Я почувствовал, как что-то осязательное, хотя и невидимое, прошло, слегка коснувшись всего моего существа, и я увидел, что на золотом ковре, в самой середине пышного сияния, струившегося от камины, находилась тень, слабая, неопределенная тень ангельского вида, такая, что она как бы являлась тенью тени. Но я был сильно опьянен неумеренной дозой опиума и не обратил особенного внимания на эти явления, и не сказал о них ни слова Ровене. Отыскав вино, я вернулся на прежнее место, налил полный бокал и поднес его к губам изнемогавшей леди. Ей, однако, сделалось немного лучше, она сама взяла бокал, а я опустил на оттоманку близ нее, не отрывая от нее глаз. И тогда совершенно явственно я услышал легкий шум шагов, ступавших по ковру и близ постели, и в следующее мгновение, когда Ровена подняла бокал к своим губам, я увидел или, быть может, мне пригрезилось, что я увидел, как в бокал, точно из какого-то незримого источника, находившегося в воздухе этой комнаты, упало три-четыре крупные капли блестящей рубиново-красной жидкости. Если я это видел, Ровена не видела. Без колебаний она выпила вино, и я ни слова не сказал ей об обстоятельстве, которое в конце концов должно было являться не чем иным, как внушением возбужденного воображения, сделавшегося болезненно-действенным благодаря страху, который испытывала леди, а также благодаря опиуму и позднему часу.

Не могу, однако, скрыть, что тотчас после падения рубиновых капель в болезни моей жены произошла быстрая перемена к худшему; так что на третью ночь ее слуги были заняты приготовлением к ее похоронам, а на четвертую я сидел один около ее окутанного в саван тела в этой фантастической комнате, которая приняла ее как мою новобрачную. Безумные видения, порожденные опиумом, витали предо мной, подобно теням. Я устремлял беспокойные взоры на саркофаги, находившиеся в углах комнаты, на изменчивые фигуры, украшавшие обивку, и на сплетающиеся переливы разноцветных огней камины. Повинуясь воспоминаниям о подробностях той минувшей ночи, я взглянул на освещенное место пола, которое находилось под сиянием камины, на ту часть ковра, где я видел слабые следы тени. Однако их больше не было; и, вздохнув с облегчением, я обратил свои

взоры к бледному и строгому лицу, видневшемуся на постели. И вдруг воспоминания о Лигейе целым роем охватили меня, и сердце мое снова забилося неудержимо и безумно, опять почувствовав всю несказанную муку, с которой я смотрел тогда на *нее*, вот так же окутанную саваном. Ночь убывала, а сердце мое все было исполнено горьких мыслей о моей единственной бесконечно любимой возлюбленной, и я продолжал смотреть на тело Ровены.

Было, вероятно, около полуночи, быть может, несколько раньше, быть может, несколько позже — я не следил за временем, — как вдруг тихое рыданье, еле слышное, но совершенно явственное, внезапно вывело меня из полудремотного состояния. Я *чувствовал*, что оно исходило от эбенового ложа — от ложа смерти. Я прислушался, охваченный точно агонией суеверного страха, но звук не повторился. Я устремил пристальный взгляд, стараясь открыть какое-нибудь движение в теле, но не мог заметить ни малейшего его следа. Но не может быть, что я ошибся. Я *слышал* этот звук, хотя и слабый, и душа моя пробудилась во мне. Весь охваченный одним желанием, я упорно смотрел на недвижимое тело. Долгие минуты прошли, прежде чем случилось что-нибудь, что могло бы разъяснить эту тайну. Наконец стало очевидно, что слабая, очень слабая, еле заметная краска румянца вспыхнула на щеках Ровены и наполнила маленькие жилки на ее опущенных веках. Я почувствовал, что сердце мое перестало биться и члены мои как бы окаменели, повинувшись чувству неизреченного страха и ужаса, для которого на языке человеческого нет достаточно энергического выражения. Однако сознание долга в конце концов возвратило мне самообладание. Я не мог более сомневаться, что мы слишком поторопились — что Ровена была еще жива. Нужно было немедленно принять какие-нибудь меры, но башня была изолирована от той части здания, где жила прислуга, у меня не было никаких средств обратиться за помощью, не оставляя комнаты. Оставить же комнату, хотя бы на несколько мгновений, я не мог решиться. Я начал один, собственными усилиями делать попытки вернуть назад еще трепетавший, еще колебавшийся дух. Между тем через самое непродолжительное время стало очевидно, что произошел возврат видимой смерти: краска угасла на щеках и веках, сменившись бледностью более мер-

твой, чем белизна мрамора; губы вдвойне исказились ужасной судорогой смерти; вся поверхность тела быстро сделалась холодной и отвратительно-скользкой, и тотчас снова появилась обычная полная окоченелость. Весь дрожа, я кинулся к ложу, откуда был так внезапно исторгнут, и снова отдался пламенным снам и мечтаниям о Лигейе.

Таким образом прошел час, и — могло ли это быть? — я снова услышал какой-то смутный звук, исходивший из того места, где стояло эбеновое ложе. Я стал прислушиваться в состоянии крайнего ужаса. Звук повторился, это был вздох. Бросившись к телу, я увидел — явственно увидел — трепет на губах. Минуту спустя они слегка раздвинулись, открывая блестящую линию жемчужных зубов. Крайнее изумление боролось теперь в моей груди с глубоким ужасом, который царствовал в ней раньше безраздельно. Я чувствовал, что в глазах у меня темнеет, что разум мой колеблется; лишь с помощью крайнего усилия мне удалось наконец принудить себя к мерам, на которые чувство долга еще раз указало мне. Румянец пятнами выступил теперь на лбу, на щеках и на шее, заметная теплота распространилась по всему телу; было слышно слабое биение сердца: леди была *жива*. И с удвоенным жаром я снова принялся за дело воскрешения. Я растирал и согревал виски и руки, принимал все меры, которые были мне внушены опытом, а также и моей немалой начитанностью в медицине. Все тщетно. Краска внезапно исчезла, пульс прекратился, губы приняли мертвенное выражение, и мгновение спустя к телу снова вернулась его ледяная холодность, синеватый оттенок, напряженная окоченелость, омертвелые очертания, и все те чудовищные особенности, которые показывают, что труп много дней пролежал в гробу.

И снова я отдался видениям и мечтам о Лигейе, и снова (удивительно ли, что я дрожу, когда пишу это?), *снова* до слуха моего донеслось тихое рыдание с того места, где стояло эбеновое ложе. Но зачем я буду подробно описывать неопишуемый ужас этой ночи? Зачем я буду рассказывать, как опять и опять, почти вплоть до серого рассвета, повторялась эта чудовищная драма оживания; как всякий раз она кончалась страшным возвратом к еще более мрачной и, по-видимому, еще более непобедимой смерти; как всякий раз агония имела вид борьбы с каким-то незримым врагом; и как за каж-

дой новой борьбой следовало какое-то странное изменение в выражении трупа? Я хочу скорей закончить.

Страшная ночь почти уже прошла, и та, которая была мертвой, еще раз зашевелилась, и теперь более сильно, чем прежде, хотя она пробуждалась от смерти более страшной и безнадежной, чем каждое из первых умираний. Я уже давно перестал сходить со своего места и предпринимать какие-либо усилия, я неподвижно сидел на оттоманке, беспомощно отдавшись вихрю бешеных ощущений, среди которых крайний ужас являлся, может быть, наименее страшным, наименее уничтожающим. Тело, повторяю, зашевелилось, и теперь более сильно, чем прежде. Жизненные краски возникали на лице с необычайной энергией, члены делались мягкими, и, если бы не веки, которые были плотно сомкнуты, если бы не повязки и не покров, придававший погребальный характер лицу, я мог бы подумать, что Ровена действительно совершенно стряхнула с себя оковы смерти. Но если даже тогда эта мысль не вполне овладела мной, я наконец не мог более в этом сомневаться, когда, поднявшись с ложа, спотыкаясь, слабыми шагами, с закрытыми глазами, имея вид спящего лунатика, существо, окутанное саваном, вышло на середину комнаты.

Я не дрогнул — не двинулся, ибо целое множество несказанных фантазий, связанных с видом, с походкой, с движениями призрака, бешено промчавшись в моем уме, парализовали меня, заставили меня окаменеть. Я не двигался — я только смотрел на привидение. В мыслях моих был безумный беспорядок, неукротимое смятение. Возможно ли, чтобы передо мной стояла *живая* Ровена? Возможно ли, чтобы *это* была Ровена — белокурая голубоглазая леди Ровена из Тримейна? Почему, *почему* стал бы я в этом сомневаться? Повязка тяжело висела вокруг рта — но неужели же это не рот леди Тримен? И щеки — на них был румянец, как в расцвете ее жизни — да, конечно, это прекрасные щеки живой леди Тримен. И подбородок с ямочками, как в те дни, когда она была здорова, неужели это не ее подбородок? Но что это? *Она выросла за свою болезнь?* Что за невыразимое безумие охватило меня при этой мысли? Один прыжок — и я был рядом с ней! Отшатнувшись от моего прикосновения, она уронила со своей головы развязавшийся погребальный пок-

ров, и тогда в волнующейся атмосфере комнаты обрисовались ее длинные разметавшиеся волосы: *они были чернее, чем вороновы крылья полночи!* И тогда на этом лице медленно открылись *глаза*. «Так вот они, наконец, — воскликнул я громким голосом, — могу ли я, могу ли я ошибаться? Вот они, громадные, и черные, и зачарованные глаза моей утраченной любви — леди... леди Лигейи!»

## ДЕМОН ИЗВРАЩЕННОСТИ

При рассмотрении человеческих способностей и побуждений, — при обсуждении *prima mobilia*\* человеческой души, френологи<sup>1</sup> упустили из виду одну наклонность, которая, несмотря на то, что она существует, как чувство коренное, первичное, непревратимое, была, однако, в равной мере просмотрена и всеми моралистами, им предшествовавшими. Повинуясь заносчивости рассудка, они все одинаково просмотрели ее. Ее существование ускользнуло от наших чувств благодаря нам самим, мы сами не хотели допустить ее существования — у нас не было веры: будь то вера в откровение или в каббалу. Мысль об этой наклонности никогда не возникала в нашем уме, исключительно в силу того, что она была бы сверхдолжной. Мы не видим *нужды* в таком побуждении, в такой наклонности. Мы были бы не в состоянии постичь ее необходимости. Мы не могли бы понять, т. е., вернее, мы не поняли идеи этого *primum mobile*, хотя она сама всегда навязывалась нам; мы были бессильны понять, каким образом она могла споспешествовать каким-нибудь целям человеческого общежития, временным или неизменным. Нельзя отрицать, что френология, а также в большой мере и все метафизические знания, были состряпаны *a priori*\*\* . Человек разума или логики более, чем человек понимания и наблюдения, притязает на знание намерений Бога — диктует ему задачи. Измерив таким образом с чувством собственной услады помыслы Иеговы, он вывел из этих помыслов свои бесчисленные системы мышления. В сфере

---

\* *Prima mobilia* — перводвигатель (лат.). — *Примеч. ред.*

\*\* *A priori* — заранее, до опыта (лат.). — *Примеч. ред.*

френологии, например, мы прежде всего установили, и довольно естественно, что, согласно с намерениями Божества, человек должен есть. После этого мы приписали человеку орган чувства питания, орган, являющийся бичом Господним и принуждающий человека есть во что бы то ни стало. Затем, решив, что это была воля Господа, чтобы человек продолжал свой род, мы открыли орган чувства любви; мы продолжали в этом направлении и открыли орган чувства страсти к борьбе, чувства идеальности, чувства причинности, чувства художественности — словом, мы открыли целую систему органов, олицетворяющих известную склонность, известное моральное чувство или какую-нибудь способность чистого разума. И в этом распорядке первичных *побудительных начал* человеческих действий последователи Шпурцгейма<sup>2</sup> справедливо или ошибочно, частью или целиком следовали в принципе лишь по стопам своих предшественников, выводя и устанавливая решительно все из предвзятого представления о судьбе человека и опираясь на субъективно понимаемые намерения его Творца.

Было бы гораздо разумнее и гораздо надежнее создавать классификацию (если уж она необходима) на основании того, что человек делал обыкновенно или случайно, и что он делал всегда случайно, нежели на основании того, что, как мы решили, Божество внушает ему делать. Если мы не можем понять Бога в его видимых делах, как можем мы понять его непостижимые помыслы, вызывающие эти дела к бытию? Если мы не можем уразуметь его в созданиях внешних, как можем мы проникнуть в его существенные замыслы или в фазисы его творчества?

Заключение *a posteriori* \* должно было бы указать френологии, как на одно из прирожденных и первичных начал человеческих действий, на нечто парадоксальное, что мы можем назвать *извращенностью*, за недостатком наименований более определительного. В том смысле, как я его понимаю, это в действительности *mobile*\*\* , лишенное мотива, мотив не *мотивированный*. Повинуясь его подсказываниям, мы поступаем без постижимой цели, или, если это представляется

---

\* *A posteriori* — из опыта (лат.). — Примеч. ред.

\*\* *Mobile* — движение (лат.). — Примеч. ред.

противоречием в терминах, мы можем изменить теорему и сказать следующим образом: повинаясь его подсказываниям, мы поступаем так, а не иначе, именно потому, что рассудок *не* велит нам этого делать. В теории не может быть рассуждения менее рассудительного; но в действительности нет побуждения, которое бы осуществлялось более неуклонно. При известных условиях и в известных умах, оно абсолютно непобедимо. Я не более убежден в своем существовании, чем в том, что сознание греховности или ошибочности какого-нибудь поступка является нередко непобедимой и единственной *силой*, побуждающей нас совершить его. И эта нависающая тяжелым гнетом склонность делать зло ради зла не допускает никакого анализа, никакого разложения на простые элементы. Это коренное первичное побуждение, стихийное. Я знаю, мне скажут, что, если мы упорствуем в известных поступках в силу того, что мы *не* должны бы упорствовать в них, наше поведение есть только видоизменение того, что проистекает обыкновенно из *чувства страсти и борьбы*, как его понимает френология. Но одного беглого взгляда достаточно, чтобы увидеть ложность такой мысли. Френологическое чувство страсти к борьбе необходимо связано по своей сущности с представлением о самозащите. Эхо — наша собственная охрана против несправедливости. Данное чувство имеет в виду наше благополучие, и таким образом одновременно с его развитием в нас возбуждается желание собственного благополучия. Отсюда следует, что желание благополучия неизбежно должно возникать одновременно со всяким побуждением, которое представляет из себя простое видоизменение чувства страсти к борьбе; но при возникновении того неопределенного ощущения, которое я называю *извращенностью*, желание благополучия не только не пробуждается, но возникает чувство, находящееся с ним в резком антагонизме.

После всего сказанного лучший ответ на только что замеченный софизм, это воззвание к собственному сердцу каждого. Ни один человек, если только он пожелает честно и добросовестно спросить свою собственную душу, не будет отрицать коренного характера обсуждаемой склонности. Она столько же непостижима, сколько очевидна. Всякий, например, в тот или иной период, испытывал положительное и се-

рзнейшее желание мучить своего собеседника простран-ными околичностями. Говорящий прекрасно знает, что он возбуждает неприятное чувство; он самым искренним обра-зом желает нравиться; обыкновенно он говорит кратко, точ-но и ясно; самая отчетливая и лаконическая речь вертится у него на уме; он с большим трудом сдерживает себя, чтобы она не вырвалась; он боится вызвать гнев в том, к кому он обращается; он стал бы сожалеть о таком чувстве; но у него быстро возникает мысль, что известными вводными предло-жениями и различными фразами в скобках этот гнев мог бы быть возбужден. Этой одной мысли достаточно. Побуждение вырастает в желание, желание в хотение, хотение в непобе-димое влечение, и это влечение проявляется внешним обра-зом (к глубокому сожалению и прискорбию говорящего и несмотря ни на какие последствия).

Перед нами задача, которую мы должны немедленно раз-решить. Мы знаем, что всякая отсрочка губительна. Важней-ший жизненный кризис трубным звуком призывает нас к немедленной деятельности и к неукоснительной энергии. Мы сгораем от нетерпения, нас снедает желание поскорее начать необходимое, вся наша душа воспламенена предчув-ствием блестящих результатов. Нужно поскорее, поскорее, сегодня же начать работу, и, однако, мы откладываем ее до завтра. Почему? Ответа нет. Разве что мы испытываем нечто *извращенное*, употребляя слово без понимания основного принципа. Приходить *завтра*, и вместе с ним самое беспо-койное нетерпеливое желание приступить к исполнению обязанностей, но наряду с этим увеличением нетерпеливой тревоги приходит также неизъяснимая жажда отсрочки, чувство положительно страшное, ибо оно непостижимо. Мгновенья бегут, и это жадное чувство растет. Вот уже на-стал последний час, нужно действовать. Мы содрогаемся от бешенства противоречия, борющегося в нас, от борьбы меж-ду определенным и туманным, между существенным и те-нью. Но если борьба зашла уже так далеко, бороться напрас-но — побеждает тень. Бьет час, и это погребальный звон, воз-вещающий о гибели нашего блаженства. В то же время это крик петуха для привидения, которое так долго властвовало над нами. Оно бледнеет, исчезает — мы свободны. Прежняя

энергия возвращается. *Теперь* мы будем работать. Увы, *слишком поздно!*

Мы стоим на краю пропасти. Мы глядим в бездну — у нас кружится голова, нам дурно. Наше первое движение — отступить от опасности. Непонятным образом мы остаемся. Мало-помалу наша дремота, и головокружение, и ужас сливаются в одно туманное неопределимое чувство. Посредством изменений, еще более незаметных, это туманное чувство принимает явственные очертания, подобно тому, как в арабских ночах из бутылки изошли испарения, а из них возник дух. Но из этих *наших* туманов, ползущих над краем пропасти, возникает до осязательности форма гораздо более страшная, чем всякий сказочный дух, всякий демон, и, однако, это не более как мысль, но мысль ужасающая, охватывающая нас холодом до глубины души, проникающая нас всецело жестокой усладой своего ужаса. Нами овладевает весьма простая мысль: «А что, если бы броситься вниз с такой высоты? Что испытали бы мы тогда?» И мы страшно хотим этого полета, этого бешеного падения именно потому, что оно связано с представлением о самой ужасной и самой чудовищной смерти, о самых ненавистных пытках, какие когда-либо возникали в нашей фантазии; и, так как наш разум властно отталкивает нас от края бездны, *именно поэтому* мы приближаемся к ней еще более стремительно. Среди страстей нет страсти более дьявольской и более нетерпеливой, чем та, которую испытывает человек, когда, содрогаясь над пропастью, он хочет броситься вниз. Позволить себе, хотя на одно мгновение, *думать* — означает неминуемую гибель, ибо размышление велит нам воздержаться, и *потому-то*, говорю я, мы не можем. Если около нас не случится дружеской руки, которая бы нас схватила, или если мы не успеем внезапным усилием откинуться от пропасти назад, мы уже погибли, мы падаем.

Рассматривая такие явления с различных сторон, мы всегда поймем, что они продиктованы исключительно духом *извращенности*. Совершая такие поступки, мы совершаем их в силу сознания, что мы *не* должны так поступать. Вне этого или за этим не скрывается никакого доступного для понимания побуждения; и мы могли бы на самом деле считать такую извращенность прямым искушением дьявола, если бы не знали, что иногда она приводит к благим результатам.

Я говорил так много, чтобы хотя сколько-нибудь ответить вам на ваш вопрос, чтобы объяснить, почему я здесь, представить вам хоть слабую видимость причины, объясняющей, почему я пошу эти кандалы и нахожусь в камере осужденных. Если бы я не был так пространен, вы или совсем не поняли бы меня, или, как весь этот подлый сброд, сочли бы меня сумасшедшим. Теперь же вы можете легко заметить, что я являюсь одной из несосчитанных жертв Демона Извращенности.

Невозможно, чтобы какой-нибудь поступок мог быть совершен с большей обдуманностью и осмотрительностью. Недели, месяцы я размышлял о средствах убийства. Я отверг тысячу планов, потому что их исполнение включало в себя *возможность* разоблачения. Наконец, читая какие-то французские мемуары, я нашел рассказ о болезни почти смертельной, которая приключилась с мадам Пило, благодаря действию свечи, случайно отравленной. Мысль об этом сразу овладела моей фантазией. Я знал, что старик — моя жертва — имел обыкновение читать в постели. Я знал, кроме того, что его спальня представляла из себя маленькую комнату с плохой вентиляцией. Но зачем я буду обременять вас всеми этими нелепыми подробностями. Мне нет надобности описывать весьма несложные уловки, с помощью которых я заменил в его подсвечнике свечу, бывшую там, восковой свечой своего собственного приготовления. На следующее утро он был найден мертвым в своей постели, и постановление судебного следователя гласило: «Умер, посещенный Богом»\*.

Я получил в наследство состояние старика, и все шло прекрасно в течение нескольких лет. Мысль о разоблачении ни разу не приходила мне на ум. С остатками роковой свечи я сам распорядился тщательнейшим образом. Я не оставил ни малейших следов, с помощью которых возможно было бы обвинить меня в преступлении или хотя бы подвергнуть подозрению. Невозможно представить себе, какое роскошное чувство удовлетворения возникало в моей груди, когда я размышлял о своей полной безопасности. В течение очень долгого периода времени я постепенно приобретал привыч-

---

\* Скоропостижная смерть — формула английского судопроизводства. — *Примеч. пер.*

ку упиваться этим чувством. Оно доставляло мне более действительное наслаждение, чем все чисто мирские выгоды, которыми я был обязан своему греху. Но, в конце концов, настало время, когда это приятное ощущение мало-помалу и совершенно незаметно превратилось в назойливую и мучительную мысль. Она была мучительна, потому что она назойливо преследовала меня. Я едва мог освободиться от нее хотя бы на мгновенье. Очень часто случается, что наш слух или, вернее, нашу память таким образом преследует какой-нибудь надоедливый мотив, какая-нибудь шаблонная песенка или ничтожный обрывок из оперы. Мучительное ощущение не может в нас уменьшиться, если песня сама по себе прекрасна или оперная ария достойна похвалы. Таким образом, я в конце концов стал непрерывно ловить себя на размышлениях о моей безопасности и на повторении тихим, чуть слышным голосом двух слов: «Я спасен!»

Однажды, бродя по улицам, я поймал себя на этом занятии: вполголоса я бормотал свое обычное: «я спасен». В порыве капризной дерзости я повторил эти слова, придав им новую форму: «я спасен — я спасен — лишь бы только я не был настолько глуп, чтобы открыто сознаться!»

Едва я выговорил эти слова, как почувствовал, что холод охватил меня до самого сердца. У меня была некоторая опытность насчет этих порывов извращенности (природу которых я несколько затруднялся объяснить), и я прекрасно помнил, что никогда не мог с успехом сопротивляться таким припадкам; и теперь мое собственное нечаянное самовнушение, что я мог бы иметь глупость открыто сознаться в преступлении, встало лицом к лицу со мной, как будто самый дух того, кто был мной убит, и, кивнув, поманило меня к смерти.

В первое мгновенье я сделал усилие стряхнуть с себя этот кошмар. Я быстро пошел вперед, скорее, еще скорее и, наконец, побежал. Я испытывал бешеное желание кричать. Каждая новая волна мысли последовательно ложилась на меня новым ужасом — увы, я хорошо, слишком хорошо понимал, что *думать* в моем положении означало погибнуть. Я все ускорял свои шаги. Я прыгал, как сумасшедший, в толпе прохожих. Наконец чернь встревожилась и устремилась за мной в погоню. *Тогда* я почувствовал, что судьба моя завершилась.

Если б я мог вырвать свой язык, я бы вырвал его, но чей-то голос грубо прозвучал над моим ухом, чья-то рука еще более грубо схватила меня за плечо. Я обернулся — я чувствовал, что задыхаюсь. В течение мгновенья я испытывал все пытки удушья; я был ошеломлен, я ослеп, я оглох; и затем какой-то невидимый демон, подумал я, ударил меня по спине своей широкой ладонью. Тайна, которую я так давно удерживал, вырвалась из моей души.

Они рассказывают, что я говорил совершенно отчетливо, но с видимой резкостью и неудержимой стремительностью, как бы опасаясь, что кто-нибудь вмешается, прежде чем я закончу этот краткий, но исполненный такой значительности рассказ, отдававший меня во власть палача и ада.

Сообщив все, что было необходимо для того, чтобы вполне убедить правосудие, я упал и без чувств распростерся на земле.

Но что мне еще сказать? Сегодня я *здесь* и в цепях! Завтра я буду на свободе? *Но где?*

## ЧЕРНЫЙ КОТ

Я хочу записать самый странный и в то же время самый обыкновенный рассказ, но не прошу, чтобы мне верили, и не думаю, что мне поверят. Действительно, нужно быть сумасшедшим, чтобы ожидать этого при таких обстоятельствах, когда мои собственные чувства отвергают свои показания. А я не сумасшедший, и во всяком случае мои слова — не бред. Но завтра я умру, и сегодня мне хотелось бы освободить мою душу от тяжести. Я намерен рассказать просто, кратко и без всяких пояснений целый ряд событий чисто личного, семейного характера. В своих последствиях эти события устроили, замучили, погубили меня. Однако я не буду пытаться истолковывать их. Для меня они явились не чем иным, как ужасом, для многих они покажутся не столько страшными, сколько *причудливыми*. Впоследствии, быть может, найдется какой-нибудь ум, который пожелает низвести мой фантом до общего места — какой-нибудь ум более спокойный, более логичный и гораздо менее возбудимый, чем мой, и в обстоятельствах, которые я излагаю с ужасом, он не

увидит ничего, кроме ordinарной последовательности самых естественных причин и следствий.

С раннего детства я отличался кротостью и мягкостью характера. Нежность моего сердца была даже так велика, что я был посмешищем среди своих товарищей. В особенности я любил животных, и родители мои награждали меня целым множеством бессловесных любимцев. С ними я проводил большую часть моего времени, и для меня было самым большим удовольствием кормить и ласкать их. Эта своеобразная черта росла по мере того, как я сам рос, и в зрелом возрасте я нашел в ней один из главных источников наслаждения. Тем, кто испытывал привязанность к верной и умной собаке, я вряд ли должен объяснять особенный характер и своеобразную напряженность удовольствия, отсюда проистекающего. В бескорыстной и самоотверженной любви животного есть что-то, что идет прямо к сердцу того, кто имел неоднократный случай убедиться в жалкой дружбе и в непрочной, как паутина, верности существа, именуемого *Человеком*.

Я женился рано и с удовольствием заметил, что наклонности моей жены не противоречили моим. Видя мое пристрастие к ручным животным, она не упускала случая доставлять мне самые приятные экземпляры таких существ. У нас были птицы, золотая рыбка, славная собака, кролики, маленькая обезьянка и *кот*.

Этот последний был необыкновенно породист и красив, весь черный и понятливости прямо удивительной. Говоря о том, как он умен, жена моя, которая в глубине сердца была порядком суеверна, неоднократно намекала на старинное народное поверье относительно того, что все черные кошки — превращенные колдуньи. Не то чтобы она была всегда *серьезна*, когда касалась данного пункта, нет, и я упоминаю об этом только потому, что сделать такое упоминание можно именно теперь.

Плутон — так назывался кот — был моим излюбленным и неизменным товарищем. Я сам кормил его, и он сопровождал меня всюду в доме, куда бы я ни пошел. Мне даже стоило усилий удерживать его, чтобы он не следовал за мной по улицам.

Такая дружба между нами продолжалась несколько лет, и за это время мой темперамент и мой характер под воздейс-

твием Демона Невоздержности — стыжусь признаться в этом — претерпел резкую перемену к худшему. День ото дня я становился все капризнее, все раздражительнее, все небрежнее по отношению к другим. Я позволял себе говорить самым грубым образом со своей женой. Я дошел даже до того, что позволил себе произвести над ней насилие. Мои любимцы, конечно, также не преминули почувствовать перемену в моем настроении. Я не только совершенно забросил их, но и злоупотреблял их беспомощностью. По отношению к Плутону, однако, я еще был настроен в достаточной степени благосклонно, чтобы удерживаться от всяких злоупотреблений; зато я нимало не стеснялся с кроликами, с обезьяной и даже с собакой, когда случайно или в силу привязанности они приближались ко мне. Но мой недуг все более завладевал мной — ибо какой же недуг можете сравниться с алкоголем! — и наконец даже Плутон, который теперь успел постареть и, естественно, был несколько раздражителен, даже Плутон начал испытывать влияние моего дурного нрава.

Однажды ночью, когда я в состоянии сильного опьянения вернулся домой из одного подгородного притона, бывшего моим обычным убежищем, мне пришло в голову, что кот избегает моего присутствия. Я схватил его, и он, испугавшись моей грубости, слегка укусил меня за руку. Мгновенно мною овладело бешенство дьявола. Я не узнавал самого себя. Первоначальная душа моя как будто сразу вылетела из моего тела, и я затрепетал всеми фибрами моего существа от ощущения более чем дьявольского злорадства, вспоенного джином.

Я вынул из жилета перочинный ножик, раскрыл его, схватил несчастное животное за горло и хладнокровно вырезал у него один глаз из орбиты! Я краснею, я горю, я дрожу, записывая рассказ об этой проклятой жестокости.

Когда же утром вернулся рассудок, когда хмель ночного беспутства развеялся, я был охвачен чувством не то ужаса, не то раскаяния при мысли о совершенном преступлении; но это было лишь слабое и уклончивое чувство, и душа моя оставалась нетронутой. Я опять погрузился в излишества и вскоре утопил в вине всякое воспоминание об этой гнусности.

Между тем кот мало-помалу поправлялся. Пустая глазная впадина, правда, представляла из себя нечто ужасающее,

но он, по-видимому, больше не испытывал никаких страданий. Он по-прежнему бродил в доме, заходя во все углы, но, как можно было ожидать, с непобедимым страхом убегал, как только я приближался к нему. У меня еще сохранилось несколько из моих прежних чувств, что я сначала крайне огорчился, видя явное отвращение со стороны существа, которое когда-то так любило меня. Но это чувство вскоре сменилось чувством раздражения. И тогда, как бы для моей окончательной и непоправимой пагубы, пришел дух извращенности. Философия не занимается рассмотрением этого чувства. Но насколько верно, что я живу, настолько же несомненно для меня, что извращенность является одним из самых первичных побуждений человеческого сердца — одной из основных нераздельных способностей, дающих направление характеру человека. Кто же не чувствовал сотни раз, что он совершает низость или глупость только потому, что, как он знает, он *не* должен был бы этого делать? Разве мы не испытываем постоянной склонности нарушать вопреки нашему здравому смыслу то, что является *законом*, именно потому, что мы понимаем его как таковой? Повторяю, этот дух извращенности пришел ко мне для моей окончательной пагубы. Эта непостижимая жажда души *мучить себя* — именно производить насилие над собственной природой, — делать зло ради самого зла побуждала меня продолжать несправедливость по отношению к беззащитному животному и заставила меня довести злоупотребление до конца. Однажды утром совершенно хладнокровно я набросил коту на шею петлю и повесил его на сучке — повесил его, несмотря на то, что слезы текли ручьем из моих глаз и сердце сжималось чувством самого горького раскаяния; повесил его, *потому что* знал, что он любил меня, *и потому что* я чувствовал, что он не сделал мне ничего дурного; повесил его, *потому что* я знал, что, поступая таким образом, я совершал грех, смертный грех, который безвозвратно осквернял мою неумирающую душу и силой своей гнусности, быть может, выбрасывал меня, если только это возможно, за пределы бесконечного милосердия Господа Бога Милосерднейшего и самого Страшного.

В ночь после того дня, когда было совершено это жестокое деяние, я был пробужден от сна криками «Пожар!». За-

навески на моей постели пылали. Весь дом был объят пламенем. Моя жена, слуга и я сам, мы еле-еле спаслись от опасности сгореть заживо. Разорение было полным. Все мое имущество было поглощено огнем, и отныне я был обречен на отчаяние.

Я, конечно, не настолько слаб духом, чтобы искать причинной связи между несчастьем и жестокостью. Но я разворачиваю цепь фактов и не хочу опускать ни одного звена, как бы оно ни было ничтожно. На другой день я пошел на пожарище. Стены были разрушены, исключая одной. Сохранилась именно не очень толстая перегородка; она находилась приблизительно в середине дома, и в нее упиралось изголовье кровати, на которой я спал. Штукатурка на этой стене во многих местах оказала сильное сопротивление огню — факт, который я приписал тому обстоятельству, что она недавно была отделана заново. Около этой стены собралась густая толпа, и многие, по-видимому, пристально и необыкновенно внимательно осматривали ее в одном месте. Возгласы «Странно!», «Необыкновенно!» и другие подобные замечания возбудили мое любопытство. Я подошел ближе и увидел как бы втиснутым в виде барельефа на белой поверхности стены изображение гигантского *кота*. Очертания были воспроизведены с точностью по истине замечательной. Вокруг шеи животного виднелась веревка.

В первую минуту, когда я заметил это привидение, — чем другим могло оно быть на самом деле? — мое удивление и мой ужас были безграничны. Но, в конце концов, размышление пришло мне на помощь. Я вспомнил, что кот был повешен в саду. Когда началась пожарная суматоха, этот сад немедленно наполнился толпой, кто-нибудь сорвал кота с дерева и бросил его в открытое окно, в мою комнату, вероятно с целью разбудить меня. Другие стены, падая, втиснули жертву моей жестокости в свежую штукатурку; сочетанием извести, огня и аммиака, выделившегося из трупа, было довершено изображение кота, так, как я его увидал.

Хотя я таким образом быстро успокоил свой рассудок, если не совесть, найдя естественное объяснение этому поразительному факту, он тем не менее оказал на мою фантазию самое глубокое впечатление. Несколько месяцев я не мог отделаться от фантома кота, и за это время ко мне вернулось то

половинчатое чувство, которое казалось раскаянием, не будучи им. Я даже начал сожалеть об утрате животного и не раз, когда находился в том или в другом из своих обычных гнусных притонов, осматривался кругом, ища другой экземпляр той же породы, который, будучи хотя сколько-нибудь похож на Плутона, мог бы заменить его.

Однажды ночью, когда я, наполовину отупев, сидел в вертепе, более чем отвратительном, внимание мое было внезапно привлечено каким-то черным предметом, лежавшим на верхушке одной из огромных бочек джина или рома, составлявших главное украшение комнаты. Несколько минут я пристально смотрел на верхушку этой бочки, и что меня теперь удивляло, это тот странный факт, что я не заметил данного предмета раньше. Я приблизился к нему и коснулся его своей рукой. Это был черный кот — очень большой — совершенно таких же размеров, как Плутон, и похожий на него во всех отношениях, кроме одного: у Плутона не было ни одного белого волоска на всем теле, а у этого кота было широкое, хотя и неопределенное, белое пятно, почти во всю грудь.

Когда я прикоснулся к нему, он немедленно приподнялся на лапы, громко замурлыкал, стал тереться об мою руку и, по-видимому, был весьма пленен моим вниманием. «Вот, наконец, — подумал я, — именно то, что я ищу». Я немедленно обратился к хозяину трактира с предложением продать мне кота, но тот не имел на него никаких претензий, ничего о нем не знал и никогда его раньше не видел.

Я продолжал ласкать кота, и, когда я приготовился уходить домой, он выразил желание сопровождать меня. Я, со своей стороны, все манил его, время от времени нагибаясь и поглаживая его по спине. Когда кот достиг моего жилища, он немедленно устроился там как дома и быстро сделался любимцем моей жены.

Что касается меня, я вскоре почувствовал, что во мне возникает отвращение к нему. Это было нечто как раз противоположное тому, что я заранее предвкушал; не знаю, как и почему, но его очевидное расположение ко мне вызывало во мне надоедливое враждебное чувство. Мало-помалу это чувство досады и отвращения возросло до жгучей ненависти. Я избегал этой твари; однако, известное чувство стыда, а так-

же воспоминания о моем прежнем жестоком поступке, не позволяли мне посягать на него. Недели шли за неделями, и я не смел ударить его или позволить себе какое-нибудь другое насилие, но мало-помалу — ощущение, развивавшееся постепенно, — я стал смотреть на него с невыразимым омерзением, я стал безмолвно убегать от его ненавистного присутствия, как от дыхания чумы.

Что, без сомнения, увеличивало мою ненависть к животному, это — открытие, которое я сделал утром на другой день, после того как кот появился в моем доме — именно, что он, подобно Плутону, был лишен одного глаза. Данное обстоятельство, однако, сделало его еще более любезным сердцу моей жены: она, как я уже сказал, в высшей степени обладала тем мягкосердием, которое было когда-то и моей отличительной чертой и послужило для меня источником многих самых простых и самых чистых удовольствий.

Но по мере того как мое отвращение к коту росло, в равной мере, по-видимому, возрастало его пристрастие ко мне. Где бы я ни сидел, он непременно забирался ко мне под стул или вспрыгивал ко мне на колени, обременяя меня своими омерзительными ласками. Когда я вставал, он путался у меня в ногах, и я едва не падал, или, цепляясь своими длинными и острыми когтями за мое платье, вешался таким образом ко мне на грудь. Хотя в такие минуты у меня было искреннее желание убить его одним ударом, я все-таки воздерживался, частью благодаря воспоминанию о моем прежнем преступлении, но главным образом — пусть уже я признаюсь в этом сразу — благодаря несомненному *страху* перед животным.

То не был страх физического зла — и, однако же, я затрудняюсь, как мне иначе определить его. Мне почти стыдно признаться, даже в этой камере осужденных, мне почти стыдно признаться, что страх и ужас, которые мне внушало животное, были усилены одной из нелепейших химер, какие только возможно себе представить. Жена неоднократно обращала мое внимание на характер белого пятна, о котором я говорил и которое являлось единственным отличием этой странной твари от животного, убитого мной. Читатель может припомнить, что это пятно, хотя и широкое, было сперва очень неопределенным, но мало-помалу — посредством из-

менений почти незаметных и долгое время казавшихся моему рассудку призрачными — оно приняло, наконец, отчетливые, строго определенные очертания. Оно теперь представляло из себя изображение страшного предмета, который я боюсь назвать; и благодаря этому-то более всего я гнушался чудовищем, боялся его и хотел бы от него избавиться, *если бы только смог* — пятно; говорю я, являлось теперь изображением предмета гнусного, омерзительно-страшного — виселицы! О, мрачное и грозное орудие ужаса и преступления, агонии и смерти!

И теперь я действительно был беспримерно злосчастливым, за пределами чисто человеческого злосчастия. *Грудь животного* — равного которому я презрительно уничтожил, — *грудь животного* доставляла мне — мне, человеку, сотворенному по образу и подобию Всевышнего — столько невыносимых мук! Увы, ни днем ни ночью я больше не знал благословенного покоя! В продолжение дня отвратительная тварь ни на минуту не оставляла меня одного, а по ночам я чуть не каждый час вскакивал, просыпаясь от неизреченно страшных снов, чувствуя на лице своем горячее дыхание *чего-то*, чувствуя, что огромная тяжесть этого *чего-то* — олицетворенный кошмар, стряхнуть который я был не в силах, — навеки налегла на мое *сердце*.

Под давлением подобных пыток во мне изнемогло все то небольшое доброе, что еще оставалось. Дурные мысли сделались моими единственными незримыми товарищами — мысли самые черные и самые злые. Капризная неровность, обыкновенно отличавшая мой характер, возросла настолько, что превратилась в ненависть решительно ко всему и ко всем; и безропотная жена моя при всех этих внезапных и неукротимых вспышках бешенства, которым я теперь слепо отдавался, была, увы, самой обычной и самой бессловесной жертвой.

Однажды она пошла со мной по какой-то хозяйственной надобности в погреб, примыкавший к тому старому зданию, где мы, благодаря нашей бедности, были вынуждены жить. Кот сопровождал меня по крутой лестнице и, почти сталкивая меня со ступенек, возмущал меня до бешенства. Взмахнув топором и забывая в своей ярости ребяческий страх, до того удерживавший мою руку, я хотел нанести животному

удар, и он, конечно, был бы фатальным, если бы пришелся так, как я метил. Но удар был задержан рукой моей жены. Уязвленный таким вмешательством, я исполнился бешенством, более чем дьявольским, отдернул свою руку и одним взмахом погрузил топор в ее голову. Она упала на месте, не крикнув.

Совершив это чудовищное убийство, я тотчас же с невозмутимым хладнокровием принялся за работу, чтобы скрыть труп. Я знал, что мне нельзя было удалить его из дому ни днем ни ночью без риска быть замеченным соседями. Целое множество планов возникло у меня в голове. Одну минуту мне казалось, что тело нужно разрезать на мелкие кусочки и сжечь. В другую минуту мною овладело решение выкопать заступом могилу в земле, служившей полом для погреба, и зарыть его. И еще новая мысль пришла мне в голову: я подумал, не бросить ли тело в колодец, находившийся во дворе, — а то хорошо было бы запаковать его в ящик, как товар, и, придав этому ящику обычный вид кладки, позвать носильщика и таким образом удалить его из дому. Наконец, я натолкнулся на мысль, показавшуюся мне наилучшей из всех. Я решил замуровать тело в погреб — как, говорят, средневековые монахи замуровывали своих жертв.

Колодец как нельзя лучше был приспособлен для такой задачи. Стены его были выстроены неплотно и недавно были сплошь покрыты грубой штукатуркой, не успевшей благодаря сырости атмосферы затвердеть. Кроме того, в одной из стен был выступ, обусловленный ложным камином или очагом, он был заделан кладкой и имел полное сходство с остальными частями погреба. У меня не было ни малейшего сомнения, что мне легко будет отделить на этом месте кирпичи, втиснуть туда тело, и замуровать все, как прежде, так, чтоб ничей глаз не мог открыть ничего подозрительного.

И в этом расчете я не ошибся. С помощью лома я легко вынул кирпичи, и, тщательно поместив тело против внутренней стены, я подпирал его в этом положении, пока с некоторыми небольшими усилиями не придал всей кладке ее прежнего вида. Соблюдая самые тщательные предосторожности, я достал песок, шерсти и известкового раствора, приготовил штукатурку, которая не отличалась от старой, и с

большим тщанием покрыл ею новую кирпичную кладку. Окончив это, я почувствовал себя удовлетворенным, видя, как все великолепно. На стене не было нигде ни малейшего признака переделки. Мусор на полу я собрал с вниманием самым тщательным. Оглядевшись вокруг торжествующим взглядом, я сказал самому себе: «Да, здесь, по крайней мере, моя работа не пропала даром».

Затем первым моим движением было отыскать животное, явившееся причиной такого злополучия. Я, наконец, твердо решился убить его, и, если бы мне удалось увидеть его в ту минуту, его участь определилась бы несомненным образом. Но лукавый зверь, по-видимому, был испуган моим недавним гневом и остерегался показываться. Невозможно описать или вообразить чувство глубокого благодетельного облегчения, возникшее в груди моей благодаря отсутствию этой ненавистной гадины. Кот не показывался в течение всей ночи, и таким образом, с тех пор как он вошел в мой дом, это была первая ночь, когда я заснул глубоким и спокойным сном. Да, да, *заснул*, хотя бремя убийства лежало на моей душе!

Прошел второй день, прошел третий, а мой мучитель все не приходил. Наконец-то я опять чувствовал себя свободным человеком. Чудовище в страхе бежало из моего дома навсегда! Я больше его не увижу! Блаженство мое не знало пределов. Преступность моего черного злодеяния очень мало беспокоила меня. Произведен был небольшой допрос, но я отвечал твердо. Был устроен даже обыск, но, конечно, ничего не могли найти. Я считал свое будущее благополучие обеспеченным.

На четвертый день после убийства несколько полицейских чиновников совершенно неожиданно пришли ко мне и сказали, что они должны опять произвести строгий обыск. Я, однако, не чувствовал ни малейшего беспокойства, будучи вполне уверен, что мой тайник не может быть открыт. Полицейские чиновники попросили меня сопровождать их во время обыска. Ни одного уголка, ни одной щели не оставили они необследованными. Наконец, в третий или в четвертый раз, они сошли в погреб. У меня не дрогнул ни один мускул. Мое сердце билось ровно, как у человека, спящего сном невинности. Я прогуливался по погребу из конца в конец.

Скрестив руки на груди, я спокойно расхаживал взад и вперед. Полиция была совершенно удовлетворена и собиралась уходить. Сердце мое исполнилось ликования, слишком сильного, чтобы его можно было удержать. Я сгорал желанием сказать хоть одно торжествующее слово и вдвойне усилить уверенность этих людей в моей невинности.

— Джентльмены, — выговорил я наконец, когда полиция уже всходила по лестнице, — я положительно восхищен, что мне удалось развеять ваши подозрения. Желаю вам доброго здоровья, а также немножко побольше любезности. А однако, милостивые государи, вот, скажу я вам, дом, который прекрасно выстроен! — Задыхаясь от бешеного желания сказать что-нибудь спокойно, я едва знал, что говорил. — Могу сказать, *великолепная* архитектура. Вот эти стены — да вы уже, кажется, уходите? — вот эти стены, как они плотно сложены! — И тут, объятый бешенством бравады, я изо всей силы хлопнул палкой, находившейся у меня в руках, в то самое место кирпичной кладки, где стоял труп моей жены.

Но да защитит меня Господь от когтей врага человеческого! Не успел отзвук удара слиться с молчанием, как из гробницы раздался ответный голос! То был крик, сперва заглушенный и прерывистый, как плач ребенка, потом он быстро вырос в долгий, громкий и протяжный визг, нечеловеческий, чудовищный — то был вой, то был рыдающий вопль не то ужаса, не то торжества. Такие вопли могут исходить только из ада, как совокупное слитие криков, исторгнутых из горла осужденных, терзающихся в агонии, и воплей демонов, ликующих в самом осуждении.

Говорить о том, что я тогда подумал, было бы безумием. Теряя сознание, шатаясь, я прислонился к противоположной стене. Одно мгновение кучка людей, стоявших на лестнице, оставалась недвижимой, застывши в чрезмерности страха и ужаса. В следующее мгновение дюжина сильных рук разрушала стену. Она тяжело рухнула. Тело, уже сильно разложившееся и покрытое густой запекшейся кровью, стояло, выпрямившись перед глазами зрителей. А на мертвой голове с красной раскрытой пастью и с одиноко сверкающим огненным глазом сидела гнусная тварь, чье лукавство соблазнило меня совершить убийство и чей избалованный голос выдал меня палачу! Я замуровал чудовище в гробницу!

## МАСКА КРАСНОЙ СМЕРТИ

Красная Смерть давно уже опустошала страну. Никакая чума никогда не была такой роковой и чудовищной. Ее воплощением и печатью была кровь — красный цвет и ужас крови. Болезнь начиналась острыми болями и внезапным головокружением, затем через поры просачивалась торопливыми каплями кровь, и наступала смерть. Ярко-красные пятна, распространявшиеся по телу, и в особенности по лицу жертвы, были проклятьем, которым эта моровая язва мгновенно лишала больного помощи и сострадания его ближних; весь ход болезни с ее развитием, возрастанием и концом был делом получаса.

Но принц Просперо был весел, смел и мудр. После того как его владения были наполовину опустошены, он созвал тысячу веселых и здоровых друзей из числа придворных рыцарей и дам и удалился с ними в строгое уединение, в одно из своих укрепленных аббатств. Обширное и пышное здание было детищем собственной фантазии принца, эксцентричной, но величественной. Вокруг аббатства шла высокая плотная стена. В стене были железные двери. Придворные, войдя сюда, принесли горн и тяжелые молоты и спаяли засовы. Они решились устранить всякую возможность вторжения внезапных порывов отчаяния извне и лишить безумие возможности вырваться изнутри. Аббатство было с избытком снабжено необходимыми жизненными припасами. При таких предосторожностях придворные могли смеяться над заразой. Внешний мир должен был заботиться о себе сам. А пока скорбеть или размышлять — было безумием. Принц не забыл ни об одном из источников наслаждения. Там были шуты, импровизаторы, музыканты, танцовщики и танцовщицы, там были красавицы, было вино. Все эти улады и безопасность были внутри. Вне была Красная Смерть.

Это было к концу пятого или шестого месяца затворнической жизни, и, в то время как чума свирепствовала за стенами самым неукротимым образом, принц Просперо пригласил свою тысячу на маскированный бал, отличавшийся самым необыкновенным великолепием.

Что за пышно-чувственную картину представлял из себя этот маскарад! Но я хочу прежде сказать о комнатах, где про-

исходило празднество. Их было семь — царственная анфилада. Во многих дворцах, однако, такие анфилады образуют длинную и прямую перспективу, причем створчатые двери с той и с другой стороны плотно прилегают к стенам, и таким образом взгляд беспрепятственно может проследить всю перспективу от начала до конца. Здесь же было нечто совершенно иное, как и следовало ожидать от герцога при его любви ко всему *причудливому*. Покои были расположены неправильно, таким образом, что взгляду открывалась сразу только одна комната. Через каждые двадцать — тридцать ярдов следовал резкий поворот, и при каждом повороте — новый эффект. Направо и налево, в середине каждой стены, высилось узкое готическое окно, выходявшее в закрытый коридор, который тянулся, следуя всем изгибам анфилады. В этих окнах были цветные стекла, причем окраска их менялась в соответствии с господствующим цветом той комнаты, в которую открывалось окно. Так, например, крайняя комната с восточной стороны была обита голубым, и окна в ней были ярко-голубые. Во второй комнате и обивка и украшения были пурпурного цвета, и стены здесь были пурпурными. Третья вся была зеленой, зелеными были и окна. Четвертая была украшена и освещена оранжевым цветом, пятая — белым, шестая — фиолетовым. Седьмой зал был весь задрапирован черным бархатом, который покрывал и потолок, и стены, ниспадая тяжелыми складками на ковер такого же цвета. Но только в этой комнате, в единственной, окраска окон не совпадала с окраской обстановки. Стекла здесь были ярко-красного цвета — цвета алой крови. Нужно сказать, что ни в одном из семи чертогов не было ни ламп, ни канделябров среди многочисленных золотых украшений, расположенных там и сям или свисавших со сводов. Во всей анфиладе комнат не было никакого источника света — ни лампы, ни свечи, но в коридорах, примыкавших к покоям, против каждого окна стоял тяжелый треножник с жаровней, он устремлял свои лучи сквозь цветные стекла и ярко освещал внутренность этих чертогов. Таким путем создавалось целое множество пестрых фантастических видений. Но в черной комнате, находившейся на западе, эффект огнистого сияния, струившегося через кровавые стекла на темные завесы, был чудовищен до крайности и придавал такое странное выраже-

ние лицам тех, кто входил сюда, что немногие из общества осмеливались вступать в ее пределы.

Именно в этом покое стояли против западной стены гигантские часы из эбенового дерева. Их маятник покачивался из стороны в сторону с глухим тяжелым монотонным звуком; и, когда минутная стрелка пробегала круг циферблата и приходило мгновение, возвещающее какой-нибудь час, часы выпускали из своих бронзовых легких звон отчетливый, и громкий, и протяжный, и необыкновенно музыкальный, звон такой особенный и выразительный, что по истечении каждого часа музыканты оркестра должны были на мгновение прекращать свою музыку, чтобы слушать этот звон; и фигуры, кружившиеся в вальсе, замедляли свои движения, и в веселье всего этого шумного общества наступало быстрое смятение, и, покуда часы, звеня, говорили, было видно, что самые безумные бледнели, что самые престарелые и степенные проводили по лбу руками, как бы смущенные мечтой или размышлением; но когда отзвуки совершенно замирали, легкий смех мгновенно овладевал собранием, музыканты глядели друг на друга и улыбались, как бы извиняясь за свою нервность и свое неразумие, и тихим шепотом клялись друг другу, что, когда опять раздастся бой часов, он в них не вызовет подобных ощущений, и потом, по истечении шестидесяти минут (которые обнимают три тысячи шестьсот секунд убегающего времени), снова раздавался бой часов, и снова наступало то же смятение, и трепет, и размышления, как прежде.

Но несмотря на все это, пышный праздник продолжался и дикий разгул не уставал. Вкус у герцога был совершенно особенный. Он тонко понимал цвета и эффекты. Он презирал фешенебельную *благопристойность*. В его планах было много дерзкой стремительности, его замыслы были озарены варварским блеском. Некоторые считали его сумасшедшим. Его приближенные знали достоверно, что это не так. Нужно было только его видеть и слышать, нужно было только с ним соприкоснуться, чтобы быть *уверенным*, что это не так.

В значительной части он руководил сам всеми этими живыми украшениями, волновавшимися в семи чертогах в величественной обстановке ночного праздника; и это *его* вкусом был определен характер масок. Конечно, тут было много

причудливого. Много было блеска и ослепительности, и пикантного, и фантастического — много того, что мы видели потом в «Эрнани»<sup>1</sup>. Были фигуры-арабески с непропорциональными членами. Были безумные фантазии, сумасшедшие наряды. Было много красивого, беспутного, странного, были вещи, возбуждающие страх, было немало того, что могло бы возбуждать отвращение. Словом, в этих семи чертогах бродили живые сны. Они искажались — эти сны — то здесь, то там, принимая окраску комнат и как бы производя музыку оркестра звуками своих шагов и их отзвуками. И время от времени опять бьют эбеновые часы, стоящие в бархатном чертоге; и тогда на мгновение все утихает и все молчит, кроме голоса часов. Сны застывают в своих очертаниях и позах. Но бронзовое эхо замирает — оно длится только миг, — и тихий сдержанный смех стремится вослед улетающим звукам. И снова волной разрастается музыка, и сны опять живут и сплетаются, кружатся еще веселее, чем прежде, принимая окраску разноцветных окон, через которые струятся лучи из треножников. Но в комнату, лежащую на крайней точке к западу от всех семи, не осмеливается больше войти ни один из пирующих, ибо ночь проходит, и свет, все более красный, струится через стекла цвета алой крови; и чернота траурных ковров устрашает; и если кто осмелится ступить на траурный ковер, тому близко эбеновые часы посылают заглушенный звон, более торжественный в своей выразительности, чем какие-либо звуки, достигающие слуха *тех*, кто беспечно кружится в других отдаленных чертогах, исполненных кипящего веселья.

А в этих чертогах толпа кишит, и пульс жизни бьется здесь лихорадочно. И бешено проносились мгновения разгульного празднества, пока наконец не начался бой часов, возвещающий полночь. И тогда, как я сказал, музыка умолкла, и фигуры, кружащиеся в вальсе<sup>2</sup>, застыли неподвижно, и все беспокойно замерло, как прежде. Но теперь тяжелый маятник должен был сделать двенадцать ударов; и потому-то, быть может, случилось, что больше мысли с большим временем проскользнуло в душе *тех*, кто размышлял между *тех*, кто веселился. И быть может, также по этой причине некоторые из толпы, прежде чем последний отзвук последнего удара потонул в безмолвии, успели заметить замаскированную

фигуру, которая до тех пор не привлекала ничего внимания. И весть об этом новом госте распространилась кругом вместе со звуками шепота, и наконец все общество было охвачено каким-то гулом или ропотом, выражавшим сперва неодобрение и удивление, а потом страх, ужас и отвращение.

Весьма понятно, что в собрании призраков, подобном тому, которое я описал, нужно было что-нибудь незаурядное, чтобы вызвать такое впечатление. Действительно, карнавальный разгул в этот поздний час ночи был почти безграничен, однако новый гость перещеголял всех и вышел даже за пределы того свободного костюма, который был на принце. В сердцах тех, кто наиболее беспечен, есть струны, которых нельзя касаться, не возбуждая волнения. И даже для тех безвозвратно потерянных, кому жизнь и смерть равно представляются шуткой, есть вещи, которыми шутить нельзя. На самом деле все общество, по-видимому, глубоко чувствовало теперь, что в костюме и в манерах пришельца не было ни остроумия, ни благопристойности. Незнакомец был высок и костляв, и с головы до ног он был закутан в саван. Маска, скрывавшая его физиономию, до такой степени походила на лицо окоченевшего трупа, что самый внимательный взгляд затруднился бы открыть обман. Все это, однако, веселящиеся безумцы могли бы снести, если и не одобрить. Но гость был так дерзок, что принял выражение красной смерти. Его одежда была запачкана *кровью* — его широкий лоб и все черты его лица были обрызганы ярко-красными пятнами, говорящими об ужасе.

Когда взгляд принца Просперо обратился на это видение (которое прогуливалось в толпе между пляшущих медленно и торжественно, как бы желая полнее выдержать роль), все заметили, как в первую минуту лицо его исказилось резкой дрожью страха или отвращения, но в следующее же мгновение лицо его вспыхнуло от гнева.

— Кто посмел? — спросил он хриплым голосом придворных, стоявших около него. — Кто посмел оскорбить нас этой кощунственной насмешкой? Схватите его и снять с него маску! Пусть нам будет известно, кого мы повесим при восходе солнца!

Эти слова принц Просперо произнес в восточной голубой комнате. Они громко и явственно прозвучали во всех семи

комнатах, ибо принц был бравым и могучим человеком, и музыка умолкла по мановению его руки.

В голубой комнате стоял принц, окруженный группой бледных придворных. Сперва, когда он говорил, в этой группе возникло легкое движение по направлению к непрошеному гостю, который в это мгновение был совсем близко и теперь размеренной величественной походкой приближался все ближе и ближе к говорящему. Но какой-то неопределенный страх, внушенный безумной дерзостью замаскированного, охватил всех, и в толпе не нашлось никого, кто осмелился бы наложить на незнакомца свою руку; таким образом он без помехи приблизился к принцу на расстояние какого-нибудь шага; и покуда многолюдное собрание, как бы движимое одним порывом, отступало от центров комнат к стенам, он беспрепятственно, но все тем же торжественным размеренным шагом, отличавшим его сначала, продолжал свой путь из голубой комнаты в пурпурную, из пурпурной в зеленую, из зеленой в оранжевую, и потом в белую, и потом в фиолетовую — и никто не сделал даже движения, чтобы задержать его. Тогда-то принц Просперо, придя в безумную ярость и устыдившись своей минутной трусости, бешено ринулся через все шесть комнат, между тем как ни один из толпы не последовал за ним из-за смертельного страха, сковавшего всех. Он потрясал обнаженным кинжалом и приближался с бурной стремительностью, и между ним и удаляющейся фигурой было не более трех-четырёх шагов, как вдруг незнакомец, достигнув крайней точки бархатного чертога, быстро обернулся и глянул на своего преследователя. Раздался резкий крик — и кинжал, сверкнув, соскользнул на черный ковер, и, мгновенье спустя, на этом ковре, объятый смертью, распростерся принц Просперо. Тогда, собравши все безумное мужество отчаяния, толпа веселящихся мгновенно ринулась в черный покой, и, с дикой свирепостью хватая замаскированного пришельца, высокая фигура которого стояла прямо и неподвижно в тени эбеновых часов, каждый из них задыхался от несказанного ужаса, видя, что под саваном и под мертвенной маской не было никакой осязательной формы.

И тогда для всех стало очевидным присутствие Красной Смерти. Она пришла как вор в ночи; и один за другим весе-

лящиеся пали в этих пиршественных чертогах, обрызганных кровавой росой, и каждый умер, застыв в той позе, как упал; и жизнь эбеновых часов иссякла вместе с жизнью последнего из веселившихся; и огни треножников погасли; и тьма, и разрушение, и Красная Смерть простерли надо всем свое безбрежное владычество.

## ПРОДОЛГОВАТЫЙ ЯЩИК

Несколько лет тому назад я запасся билетом на проезд из Чарльстона в Нью-Йорк на пакетботе Independence<sup>1</sup>, капитаном которого был мистер Харди. Мы должны были отплыть, в случае хорошей погоды, пятнадцатого июня. Четырнадцатого числа я отправился на корабль, чтобы кое-что привести в порядок в моей каюте.

Оказалось, что пассажиров было очень много, а дам более обыкновенного. Я заметил в росписи несколько знакомых имен; особенно я обрадовался, увидев имя мистера Корнелиуса Уайетта, молодого художника, к которому я относился с чувством самой искренней дружбы. Он был со мной в университете, где мы много времени проводили вместе. Уайетт обладал обычным темпераментом гения, т. е. представлял из себя смесь мизантропии, повышенной чувствительности и энтузиазма. С этими качествами он соединял самое пламенное и самое верное сердце, какое когда-либо билось в человеческой груди.

Я заметил, что его имя было помечено против трех кают, и, заглянув снова в роспись пассажиров, увидел, что он взял места на проезд для себя, для жены и для двух своих сестер. Каюты были довольно просторны, и в каждой было по две койки, одна над другой. Правда, эти койки были чрезвычайно узки, так что на них не могло помещаться более как по одному человеку; все же я не мог понять, почему для этих четырех пассажиров было взято три каюты. В это время я как раз был в одном из тех капризных состояний духа, которые делают человека ненормально любопытным по поводу малейших пустяков, и со стыдом признаюсь, что я построил тогда целый ряд неуместных и свидетельствующих о неблаговоспитанности догадок относительно этого излишнего количества

кают. Конечно, это нисколько меня не касалось, но тем не менее я с упорством старался разрешить загадку. Наконец я пришел к заключению, заставившему меня весьма подивиться, как это я не пришел к нему раньше. «Это для прислуги, конечно, — думал я, — какой же я глупец, что мне раньше не пришла в голову такая очевидная разгадка!» Я опять пробежал роспись, но совершенно ясно увидел, что с этой компанией не было прислуги; раньше, правда, предполагалось захватить с собой одного человека, ибо слова «и прислуга» были сначала написаны и потом вычеркнуты. «Ну, так это какой-нибудь лишний багаж, — сказал я себе, — что-нибудь такое, чего он не хочет отдавать в трюм, хочет за чем-нибудь присмотреть сам. А! Это какая-нибудь картина или что-нибудь в этом роде — так вот о чем он торговался с итальянским жидом Николино». Этой мыслью я удовольствовался и преднамеренно подавил свое любопытство.

Сестер Уайетта я знал хорошо, это были очень милые и умные девушки. Женился он только что, и я еще не видал его жены. Он не раз, однако же, говорил о ней в моем присутствии со свойственным ему энтузиазмом. Он изображал ее как совершенство ума и поразительной красоты. И мне таким образом вдвойне хотелось познакомиться с ней.

В тот день, когда я зашел на корабль (четырнадцатого числа), Уайетт вместе с своими спутницами был также там — мне сказал это капитан, — и я прождал на палубе целый лишний час в надежде быть представленным новобрачной, но мне было послано извинение. «Миссис Уайетт нездоровится, она не выйдет на палубу до завтра, когда корабль будет отплывать».

Завтрашний день наступил; я шел из своего отеля к пристани, как вдруг повстречал капитана Харди, который сказал мне, что «в силу обстоятельств» (глупая, но принятая фраза) «он полагает, что Independence отплывет не раньше, как дня через два, и что, когда все будет готово, он даст мне знать». Я нашел это весьма странным, так как дул свежий южный ветер, но раз «обстоятельства» пребывали за сценой, несмотря на упорные старания разузнать о них, мне ничего не оставалось, как возвратиться домой и насладиться вдоволь моим нетерпением.

Я не получал ожидаемого извещения от капитана почти целую неделю. Оно пришло наконец, и я немедленно отправился на палубу; на корабле толпилось множество пассажиров и повсюду шла обычная суматоха, предшествующая отплытию. Уайетт вместе с своими спутницами прибыл минут через десять после меня. Компания состояла из двух его сестер, новобрачной и самого художника — последний находился в одном из своих обычных приступов капризной мизантропии. Я, однако, слишком к ним привык, чтобы обратить на это какое-нибудь внимание. Он даже не познакомил меня со своей женой — этот долг вежливости поневоле должна была выполнить его сестра Мэриэн, очень милая и умная девушка, которая, сказав несколько торопливых слов, познакомила нас.

Мистрис Уайетт была закрыта густой вуалью, и, когда она приподняла ее, отвечая на мой поклон, признаюсь, я был крайне изумлен. Я удивился бы еще больше, если бы давнишний опыт не научил меня не относиться со слишком слепым доверием к энтузиазму моего друга-художника, когда он начинал описывать красоту какой-нибудь женщины. Когда темой разговора была красота, я хорошо знал, с какой легкостью он уносился в область чистейшей идеальности.

Дело в том, что, смотря на миссис Уайетт, я никак не мог не увидеть в ней ничего миловидного. Хотя ее и нельзя было назвать уродом, я думаю, она была не слишком далека от этого. Одетая она была, однако же, с большим вкусом, и для меня не было сомнения, что она пленила сердце моего друга более прочными чарами ума и души. Сказав всего несколько слов, она тотчас же прошла вместе с мистером Уайеттом в свою каюту.

Мое придирическое любопытство снова загорелось во мне. Прислуги не было — это был пункт установленный. Я посмотрел, нет ли лишнего багажа. Через некоторое время на набережную приехала повозка с продолговатым ящиком из соснового дерева, и, казалось, этого ящика только и ждали. Немедленно по его прибытии мы подняли паруса и через некоторое время, благополучно пройдя мелководье, направили наш путь в море.

Упомянутый ящик был, как я сказал, продолговатый. В нем было футов шесть в длину и фута два с половиной в

ширину; я осмотрел его внимательно и постарался заметить все в точности. Форма его была *особенная*, и, едва его увидев, я тотчас же уверовал в справедливость моей догадки. Как вы помните, я пришел к заключению, что лишний багаж моего друга заключался в картинах или, по крайней мере, в картине, ибо я знал, что в течение нескольких недель он вел переговоры с Николино; форма же ящика была такова, что, наверно, в нем *должно было* быть не что иное, как копия с «Тайной вечери» Леонардо; а копия именно с этой «Тайной вечери», сделанная Рубини<sup>2</sup> во Флоренции, как я знал, некоторое время находилась в руках Николино. Таким образом, этот пункт я считал достаточно установленным. Я задыхался от смеха при мысли о моей проницательности. Это был, сколько мне известно, первый случай, что Уайетт держал от меня втайне что-нибудь из своих художнических секретов. И в этом случае, очевидно, он намеревался надуть меня самым решительным образом и контрабандой провезти прекрасную картину в Нью-Йорк под самым моим носом в надежде, что я ровно ничего об этом не узнаю. Я решил потешиться над ним *хорошенько* и теперь, и после.

Одно обстоятельство все-таки причиняло мне немало беспокойство. Ящик не был поставлен в лишнюю каюту. Он был положен в каюту Уайетта и там оставался, занимая почти все пространство пола, что, конечно, должно было причинять большое неудобство и художнику и его жене, в особенности ввиду того, что деготь или краска, которой была сделана надпись на нем размашистыми крупными буквами, издавала резкий, неприятный и, как *мне* представлялось, совсем особенно противный запах. На крышке были написаны слова — «*Миссис Аделаиде Кэртис, Олбани, штат Нью-Йорк*»<sup>3</sup>. *От Корнелиуса Уайетта. Верх. Осторожно*».

Я знал, что миссис Аделаида Кэртис, жившая в Олбани, была матерью жены художника, но тогда я посмотрел на весь этот адрес как на мистификацию, специально предназначенную для меня. Я решил, конечно, что ящик вместе с содержимым отправится не севернее, чем в мастерскую моего друга мизантропа, на Чэмберс-стрит в Нью-Йорке.

Первые три-четыре дня погода была хорошая, хотя попутный ветер притих. Он изменился в направлении к северу тотчас же после того, как мы потеряли берег из виду. Пасса-

жиры, естественно, были возбуждены и склонны к разговорам!.. Я *должен*, однако, исключить из этого числа Уайетта и его сестер, которые держались чопорно и — я не мог этого не найти — невежливо по отношению к остальному обществу. Поведение *Уайетта* меня не удивляло. Он был мрачен выше даже обыкновенного, он был *угрюм*, но относительно его я был подготовлен ко всяким эксцентричностям. Сестер я, однако, не мог извинить. Они уходили в свои каюты в течение большей части переезда и, несмотря на мои неоднократные понуждения, решительно отказывались заводить знакомство с кем бы то ни было из пассажиров.

Сама миссис Уайетт была гораздо более приятна, т. е. я хочу сказать, она была *болтлива*, а быть болтливой — это серьезная рекомендация на море. Она *необыкновенно* коротко сошлась с большинством из дам и, к моему глубокому удивлению, выказала недвусмысленную склонность кокетничать с мужчинами. Нас всех она очень забавляла. Я говорю «*забавляла*» и вряд ли сумею объяснить точнее. Дело в том, что, как я скоро увидал, публика не столько смеялась с *миссис Уайетт*, сколько смеялась *над* ней. Мужчины говорили о ней мало, но дамы весьма скоро произнесли свой приговор, сказав, что она «очень доброе существо, ничего из себя не представляет по внешности, совершенно невоспитанна и решительно вульгарна». Весьма было удивительно, как это Уайетт мог попасть в кабалу такого супружества. Общим мнением была мысль о деньгах, но я знал, что такого объяснения быть не может. Уайетт говорил мне, что у нее не было ни цента и никаких надежд на получение денег впоследствии. Он женился, говорил он сам, по любви, только по любви; и его возлюбленная была более чем достойна его любви. Когда я думал об этих словах моего друга, сознаюсь, я приходил в неопишное замешательство. Уж не утратил ли он рассудок? Что иное я мог подумать? *Он*, такой утонченный, такой умный, такой требовательный, с таким изысканным пониманием всего, что составляет недостаток, и с таким острым восприятием красоты! Правда, эта дама, по-видимому, была необычайно пленена *им* — в особенности в его отсутствие, — когда она положительно была смешна частым повторением того, что сказал ей «возлюбленный супруг мистер Уайетт». Слово «супруг», по-видимому, всегда, пользуясь

одним из ее собственных деликатных выражений, было «на кончике ее языка». Между тем все пассажиры заметили, что он самым решительным образом избегал *ее* и большей частью запирался один в своей каюте, где он, можно сказать, и проживал, предоставляя своей супруге полную свободу забавляться как ей вздумается в обществе, находившемся в главной каюте.

Из того, что я видел и слышал, я заключил, что художник по необъяснимому капризу судьбы, а может быть, повинуюсь какой-нибудь вспышке, полной энтузиазма, причудливой страсти, был вовлечен в союз с женщиной, которая была, безусловно, ниже его, и что как естественный результат последовало быстрое и полное отвращение. Я жалел его искреннейшим образом, но это не могло заставить меня совершенно простить ему скрытность относительно «Тайной вечера». Я решил отомстить за себя.

Однажды он вышел на палубу, и, взяв его, по обыкновению, под руку, я стал ходить с ним взад и вперед. Однако же его угрюмость (которую при данных обстоятельствах я считал вполне натуральной), по-видимому, несколько не уменьшалась. Он говорил мало, с видимым усилием и был мрачен. Я рискнул раза два пошутить, и он сделал болезненную попытку улыбнуться. Бедняга! При мысли о *его жене* я удивлялся, что у него еще хватало мужества хотя бы надевать маску веселости. Наконец я решился выстрелить прямо в цель. Я начал с целого ряда скрытых недомолвок и намеков по поводу продолговатого ящика — как раз таким образом, чтобы дать ему понять, что я *не* вполне был слепой мишенью или жертвой маленького каприза его шуточной мистификации. Я сказал что-то об «особенной форме *этого* ящика», и, произнося эти слова, я многозначительно улыбнулся, подмигнул и слегка коснулся его поясницы своим указательным пальцем.

То, как Уайетт принял эту невинную шутку, убедило меня сразу, что он помешан. Сперва он так уставился на меня, как будто он находил совершенно невозможным постичь остроумие моего замечания, но, по мере того как эта острота, по-видимому, медленно проникала в его мозг, его глаза в точном соответствии с этим стали выкатываться из орбит. Потом он весь залился краской, потом сделался до отврати-

тельности бледен, потом, как будто в высшей степени развеселившийся от моих намеков, он начал громко хохотать, и судорожный смех его, к моему изумлению, постепенно возрастал в силе в течение десяти минут или даже более. Наконец он рухнул плашмя на палубу. Когда я подбежал, чтобы поднять его, по всей видимости, он был мертв.

Я позвал на помощь, и с большими затруднениями мы привели его в чувство. Некоторое время он что-то бессвязно говорил. Потом мы пустили ему кровь и уложили его в постель. На следующее утро он совершенно поправился, насколько дело шло о его чисто физическом здоровье. О состоянии его ума я, конечно, не говорю ничего. Во все остальное время переезда я избегал его по совету капитана, который, по-видимому, думал то же, что и я, относительно его помешательства, но предупредил меня, чтобы я не говорил ничего об этом никому из пассажиров.

Непосредственно вслед за припадком Уайетта случилось нечто еще более усилившее и без того уже значительно возбужденное во мне любопытство. Между прочим я был очень нервно настроен, пил слишком много крепкого зеленого чаю и плохо спал — в точности говоря, в течение двух ночей я не спал вовсе. Теперь моя каюта выходила в главную каюту, иначе столовую, как и вообще все каюты одиноких пассажиров. Три отделения, принадлежавшие Уайетту, были в задней каюте, отделявшейся от главной легкой выдвижной дверью, которая не запиралась даже на ночь. Ввиду того что мы почти все время пользовались попутным ветром, и довольно сильным, корабль очень накренился в подветренную сторону, и каждый раз, когда правая сторона корабля была на подветренной стороне, выдвижная дверь между каютами, соскользнув, открывалась и так оставалась, ибо никто не хотел брать на себя труда закрыть ее. Моя койка была расположена таким образом, что, когда дверь в моей собственной каюте была открыта, равно как и упомянутая выдвижная дверь (по причине жары дверь у меня была открыта *всегда*), я мог совершенно явственно видеть в задней каюте все, и именно в той ее части, где помещались каюты мистера Уайетта. Прекрасно. Две ночи (*не подряд*), когда я не спал, каждый раз часов около одиннадцати, я совершенно ясно видел, как миссис Уайетт осторожно выходила из каюты мистера Уайетта

и входила в лишнее отделение, где и оставалась до рассвета. С рассветом муж призывал ее, и она возвращалась. Не было сомнений, что в действительности они разошлись. У них были отдельные помещения — конечно, ввиду ожидавшего их более продолжительного разрыва; так вот в чем, думал я, в конце концов кроется тайна лишней каюты.

Было, кроме того, еще одно обстоятельство, весьма меня интересовавшее. В течение этих двух бессонных ночей, каждый раз тотчас после исчезновения миссис Уайетт в лишней каюте, внимание мое привлекал какой-то особенный, острый, заглушенный звук, раздававшийся в каюте ее мужа. Затаив дыхание, я в течение некоторого времени прислушивался к нему и, наконец, вполне уразумел его смысл. Звук этот происходил оттого, что художник открывал продолговатый ящик с помощью долота и молотка, причем последний был, очевидно, для смягчения звука, обернут во что-то мягкое, в шерсть или вату.

Таким образом, чудилось мне, я мог различить точный момент, когда он совершенно высвобождал крышку, — момент, когда он отодвигал ее и клал на нижнюю койку в своей каюте; об этом последнем, например, я узнавал по некоторым легким стукам, которые производила крышка, наталкиваясь на деревянные края койки, в то время как он старался *тихонько* положить ее, ибо на полу для нее не было места в каюте. После этого наступала мертвая тишина, и ни в первом, ни во втором случае, вплоть до рассвета, я не слышал ничего; разве, быть может, я могу упомянуть только о тихом рыдающем или ропшущем звуке, таком подавленном, что его было почти не слышно, если на самом деле он не был скорее создан моим собственным воображением. Я говорю, что это *походило* на рыдание или тяжелый вздох, но, конечно, здесь не могло быть ни того ни другого. Я думаю, скорее, что это звенело в моих собственных ушах. Следуя своему обыкновению, мистер Уайетт, без сомнения, просто-напросто давал полный простор одному из своих увлечений — предавался одному из своих припадков художнического энтузиазма. Он открывал продолговатый ящик, чтобы усладить зрение скрывавшимся в нем художественным сокровищем. В этом не было однако ничего, что могло бы заставить его *рыдать*. Я повторяю поэтому, что это была просто причуда моей

собственной фантазии, расстроенной зеленым чаем добрейшего капитана Харди. Как раз перед зарей в каждую из двух упомянутых ночей я совершенно явственно слышал, как мистер Уайетт снова клал крышку на продолговатый ящик и забивал гвозди на их старых местах молотком, закутанным во что-то мягкое. Сделав это, он выходил из своей каюты совершенно одетый и вызывал миссис Уайетт из ее отделения.

Мы были в море уже семь дней и только что миновали мыс Гаттерас<sup>4</sup>, как с юго-запада налетела тяжелая буря. До известной степени мы были, однако, к ней подготовлены, ибо погода в течении некоторого времени предостерегала нас. Все на корабле сверху до низу было приведено в порядок, и, так как ветер упорно свежел, мы легли в дрейф, оставив только контр-бизань и фок-зейл<sup>5</sup>, причем они оба были зарифлены.

При таком распорядке мы плыли довольно благополучно в течение сорока восьми часов — корабль оказался во многих отношениях превосходным судном и не зачерпывал воды в сколько-нибудь значительных размерах. По истечении двух суток, однако же, буря, свежая, превратилась в ураган, наш задний парус был разорван в клочья, и мы настолько погрузились в разверзнувшиеся хляби, что несколько раз подряд зачерпнули огромное количество воды. Благодаря этому обстоятельству, мы потеряли трех человек, упавших за борт вместе с камбузом, и почти всю левую сторону корабельных укреплений. Едва мы успели опомниться, как фок-зейл разлетелся на куски; мы подняли штурм-стаксель и с его помощью довольно хорошо держались несколько часов, причем ход корабля был гораздо правильнее, чем прежде.

Но буря все еще не утихала, и не было никаких признаков того, что она уляжется. Снасти были дурно прилажены и сильно натянуты; на третий день бури, около пяти часов пополудни, бизань-мачта, сильно накренившись к наветренной стороне, рухнула на борт. Целый час или даже больше того при чудовищной качке, мы тщетно пытались освободиться от нее, и, прежде чем нам это удалось, с задней части корабля пришел шкипер и сообщил, что в трюме на четыре фута воды. В довершение оказалось, что насосы засорены и почти не действуют.

Смятение и отчаяние овладели всеми — мы сделали, однако, попытки облегчить корабль, бросив за борт возможно большее количество груза и срезав две оставшиеся мачты. В конце концов это нам удалось, но мы по-прежнему ничего не могли сделать с насосами, а течь тем временем быстро усиливалась.

На закате буря значительно уменьшилась в силе, и, так как море вместе с тем притихло, мы еще продолжали питать слабую надежду спастись в шлюпках. В восемь часов пополудни облака разорвались по направлению к наветренной стороне и, на наше счастье, предстал полный месяц — добрый знак, посланный нам судьбой и удивительным образом ожививший наш изнемогавший дух.

После невероятных усилий нам удалось наконец спустить без существенных повреждений баркас, и в него мы поместили весь экипаж и большую часть пассажиров. Партия эта отплыла тотчас же и после разных злоключений наконец прибыла благополучно в бухту Окракок<sup>6</sup> на третий день после кораблекрушения.

Четырнадцать пассажиров с капитаном остались на палубе, решивши доверить свою участь маленькой шлюпке, находившейся у кормы. Мы опустили ее без затруднений, хотя это было просто чудо, что нам удалось помешать ей опрокинуться, когда она касалось воды. В нее сели капитан, его жена, мистер Уайетт со своей семьей, один мексиканский офицер вместе с женой и четверьмя детьми и я вместе со слугой-негром.

У нас, конечно, не было места ни для чего, кроме нескольких, безусловно, необходимых инструментов, кое-какой провизии и платья, которое было на нас; никому даже и в голову не пришло попытаться что-нибудь спасти. Каково же было всеобщее изумление, когда, после того как мы отплыли от корабля на несколько сажений, мистер Уайетт встал на своем месте и холодно потребовал от капитана Харди направить лодку назад, чтобы взять в нее его продолговатый ящик!

— Сядьте, мистер Уайетт, — ответил капитан несколько сурово. — Вы опрокинете нас, если не будете сидеть спокойно. Шкафут уже почти весь в воде!

— Ящик! — завопил мистер Уайетт, продолжая стоять. — Ящик, говорю я вам! Капитан Харди, вы не можете, вы не за-

*хотите* отказать мне. Он весит самые пустяки — это ничего, совсем ничего. Во имя матери, которая родила вас, во имя Бога, во имя вашей надежды на спасение, *умоляю* вас, вернитесь за ящиком!

Капитан на мгновение, казалось, был тронут этим искренним призывом художника, но он снова принял суровое выражение и только сказал:

— Мистер Уайетт, вы — *сумасшедший*. Я не могу вас слушать, сядьте, говорю я вам, или вы потопите лодку. Постоите, держите его, схватите его! Он сейчас прыгнет за борт! Ну вот — я так и знал — готово!

Пока капитан говорил таким образом, мистер Уайетт действительно выпрыгнул из лодки, и, так как мы были еще на подветренной стороне близ погибшего корабля, ему удалось, с помощью почти сверхчеловеческих усилий, ухватиться за канат, свисавший с передних цепей. В следующее мгновение он был уже на корабле и бешено ринулся в каюту.

Между тем нас отнесло за корму корабля, и, находясь совершенно вне пределов его подветренной стороны, мы были предоставлены произволу грозного моря, все еще бушевавшего. Мы устремились было назад самым решительным образом, но наша маленькая лодка была как перышко в дыхании бури. Нам было ясно, что судьба несчастного художника свершилась.

В то время как расстояние между нами и кораблем быстро увеличивалось, сумасшедший (ибо иначе мы не могли смотреть на него) показался возле капитанской каюты, на трапе, на который с силой, казавшейся гигантской, он втащивал продолговатый ящик. Между тем как мы смотрели на него в крайнем изумлении, он быстро обернул несколько раз трехдюймовый канат сперва вокруг ящика, потом вокруг себя. В следующее мгновение ящик и он были в море — они исчезли внезапно, сразу и безвозвратно.

Со взорами, прикованными к месту гибели, мы некоторое время печально медлили, застывши на веслах. Потом, сильно гребя, мы поплыли прочь. Молчание не прерывалось целый час. Наконец, я осмелился промолвить:

— Заметили ли вы, капитан, как быстро они погрузились в воду? Не представляет ли это из себя что-то совершенно необыкновенное? Признаюсь, я питал слабую надежду, что

он в конце концов спасется, когда увидел, что он привязал себя к ящику и бросился в море.

— Они погрузились, как им и следовало, — отвечал капитан, — как камень. Они вскоре поднимутся опять, но не прежде, чем *соль растает*.

— Соль! — воскликнул я.

— Тсс, — сказал капитан, указывая на жену и сестер усопшего. — Мы поговорим об этом при более удобном случае.

После всяческих бед мы кое-как спаслись, но *нам* судьба благоприятствовала, так же как и нашим товарищам по несчастью. Полуживые, мы пристали наконец после четырех дней напряженной тревоги к бухте против острова Ронк. Мы оставались там неделю, не претерпели никаких неприятностей от местных жителей, подбирающих морские выброски и наконец получили возможность достигнуть Нью-Йорка.

Приблизительно через месяц после крушения Independence, случай столкнул меня с капитаном Харди на Бродвее. Разговор наш, понятно, перешел на это несчастье и в особенности на прискорбную судьбу бедняги Уайетта. Я узнал следующие подробности.

Художник приобрел места для себя, жены, двух сестер и служанки. Жена его, действительно, как он ее описывал, была очаровательнейшей красивой женщиной. Утром четырнадцатого июня (в тот день, как я приходил на корабль) она внезапно захворала и умерла. Юный супруг был вне себя от горя, но обстоятельства безусловным образом требовали его немедленного прибытия в Нью-Йорк. Тело обожаемой им жены было необходимо отвезти к ее матери, с другой же стороны, всеобщий хорошо известный предрассудок мешал ему сделать это открыто. Девять пассажиров из десяти скорее бежали бы с корабля, нежели отправились бы с мертвым телом.

Ввиду такой проблемы капитан Харди распорядился, чтобы тело, предварительно частью набальзамированное и уложенное с большим количеством соли в ящик соответствующих размеров было доставлено на борт как кладь. Ничего не было сказано о кончине леди; и, так как то обстоятельство, что мистер Уайетт прибрел место для своей жены,

было фактом установленным, сделалось необходимым, чтобы кто-нибудь замещал ее во время путешествия. На это легко склонили служанку усопшей. Лишняя каюта, первоначально приобретенная для этой девушки, в то время как ее госпожа была еще жива, теперь была просто удержана. В этой каюте, как само собой разумеется, спала каждую ночь псевдосупруга. Днем по мере сил она играла роль своей госпожи, внешность которой, это было тщательно проверено, никому из пассажиров не была известна. Мои собственные неверные предположения возникли довольно естественным образом благодаря излишней рассеянности, излишней наклонности выспрашивать и излишней нетерпеливости. Но за последнее время мне не часто удается крепко уснуть. Есть лицо, которое мучительно возникает передо мной, как бы я ни поворачивался. Есть истерический смех, который неотступно звучит в моих ушах.

## ПАДЕНИЕ ДОМА АШЕРОВ

Son coeur est un luth suspendu;  
Sitôt qu'on le touche il resonance.

*Béranger\**

В продолжение целого дня, тусклого и беззвучного дня мрачной осени, под небом, обремененным низкими облаками, один я проезжал верхом по странно-печальной равнине, и наконец, когда уже надвинулись вечерние тени, передо мной предстал угрюмый Дом Ашеро́в. Не знаю почему, но лишь только взглянул я на здание, чувство нестерпимой тоски охватило меня. Я говорю нестерпимой, потому что она отнюдь не была смягчена тем поэтическим, почти сладостным, ощущением, которое обыкновенно испытываешь даже перед самыми суровыми, перед самыми пустынными и страшными картинами природы. Я смотрел на сцену, открывшуюся моим взорам: на дом, выделявшийся из самого обыкновенного ландшафта, на зябнущие стены, на окна, подобные глазным

---

\* Его сердце — воздушная лютня, / Прикоснись — и она зазвучит. *Беранже*.<sup>1</sup> — *Примеч. пер.*

впадинам, на кусты густой осоки, на отдельные стволы седых обветшавших деревьев — и душа моя была подавлена унынием, которое я не сравню ни с чем из земных ощущений, разве только с пробуждением от пиршественного сна, наваянного опиумом — с этим горьким внезапным возвратом к будничной жизни, с ненавистным зрелищем, которое вырастает из-за поднимающейся завесы. Сердце замерло, упало, сжалось холодной болью, и фантазия, бессильная осветить мысль, не могла перебросить ни к чему возвышенному непобедимую печаль. Что же это, остановился я в раздумье, что же это неизвестное, что надрывает мою душу при одном только виде Дома Ашеров? Это было тайной неразрешимой, и я не мог бороться против смутных фантастических грез, которые зародились в моем уме, пока я размышлял. Я должен был удовлетвориться тем скудным заключением, что *есть*, несомненно, известные сочетания самых простых естественных предметов, имеющих власть действовать на нас именно таким образом, но что анализ этих сочетаний связан с мыслями, которые теряются в глубине, для нас недоступной. Весьма возможно, размышлял я, что было бы достаточно одного перемещения особенностей этой сцены, отдельных черт картины, для того чтобы изменить или даже совсем уничтожить ее способность производить такое скорбное впечатление. И отвечая на эту мысль, я направил лошадь к обрывистому берегу черного мрачного пруда, недвижно лежавшего перед зданием, и посмотрел вниз — но трепет еще более настойчивый охватил меня, когда я глянул на измененные опрокинутые отражения седой осоки, и призрачных деревьев, и подобных глазным впадинам пустых окон.

Однако в этом-то обителище печали я предполагал теперь пробыть несколько недель. Его владелец, Родерик Ашер, был одним из веселых товарищей моего детства, но много лет прошло с тех пор, как мы виделись в последний раз. Несмотря на это, недавно, находясь в отдаленном уголке страны, я получил письмо — письмо от него — полубезумное и такое тягостное, что оно допускало только одну форму ответа — личный приезд. Каждая строка дышала нервным возбуждением. Ашер писал об острых физических страданиях, о душевном расстройстве, которое угнетало его, и о настойчивом желании видеть меня как его лучшего, более того, его

единственного друга, о надежде, что радостное удовольствие быть вместе со мной может несколько облегчить его болезненные муки. Так писал он, в таком тоне было сказано еще многое другое — это *сердце* открывалось и просило ответа; я не мог ни минуты колебаться и отправился на призыв, который все же казался мне весьма необычным.

Хотя в детские годы мы были закадычными друзьями, я почти ничего не знал о моем друге. Он всегда был очень сдержан. Мне было известно, однако, что его род, весьма древний, с незапамятных времен отличался особенной впечатлительностью темперамента, проявившейся через целые поколения в созданиях высокого искусства и обнаружившейся недавно в деяниях неустанной благотворительности, щедрой и деликатной, равно как в страстной любви к музыке, быть может, более к ее трудностям, чем к ортодоксальным очевидным ее красотам. Я знал, кроме того, один достопримечательный факт, именно, что род Ашеро́в при всей своей древности никогда не имел более или менее живучего отпрыска — другими словами, что происхождение всей фамилии шло по прямой линии, за немногими исключениями, совершенно незначительными и весьма недолговечными. В голове моей промелькнула теперь быстрая мысль о полном соответствии характера местности с установившимся характером ее обитателей; и, рассуждая об их взаимном влиянии, весьма вероятном в течение долгого ряда столетий, я подумал, что, может быть, именно это отсутствие побочной линии, эта последовательная неуклонная передача родового имени от отца к сыну, вместе с именем, обусловила в конце концов тождество между двумя взаимодействующими, настолько полное, что первоначальное название поместья потерялось в причудливом и исполненном двойного смысла наименовании — Дом Ашеро́в, — наименовании, которое в умах крестьян, его употреблявших, сливалось воедино и семью, и фамильный дом.

Я сказал, что единственным результатом моего несколько ребяческого эксперимента — именно того, что я заглянул вниз, в пруд, — было усиление моего первоначального исключительного впечатления. Несомненно, что сознание быстрого возрастания моего суеверия — отчего мне не назвать его так? — значительно ускорило самое возрастание. Таков,

как я уже давно знал, парадоксальный закон всех чувств, имеющих исходной точкой страх; и, быть может, потому-то, когда я опять устремил свой взгляд к дому, от его отражения в пруд, в моем уме возникла странная фантазия — фантазия поистине такая смешная, что я упоминаю о ней лишь с целью указать на силу и живость ощущений, меня угнетавших. Я совершенно явственно увидел — так настроил я свое воображение, — что вокруг всего дома и поместья повисла атмосфера, свойственная только им и всему находившемуся в непосредственной от них близости, — атмосфера, которая не имела сродства с воздухом неба, но медленно исходила от дряхлых деревьев, и от серых стен, и от безмолвного пруда — заражительное и мистическое испарение, ленивое, тяжелое, еле заметное, свинцового цвета.

Страхнув с себя то, что *должно было* быть только сном, я обратил более подробное внимание на действительный вид здания. Его главной особенностью была, по-видимому, глубокая древность. Под влиянием долгого времени оно сильно выцвело. Медные грибки покрывали всю его наружную поверхность, свешиваясь с крыши тонкой перепутанной тканью. Но это отнюдь не было признаком какой-нибудь необычайной обветшалости. Ни одна из частей каменной кладки не обрушилась, и это устойчивое положение их представлялось резким контрастом по отношению к отдельным искрошившимся камням. Во всем было много чего-то такого, что напомнило мне целость старого деревянного изделия, которое долгие годы гнило в каком-нибудь заброшенном подвале, будучи в то же время предохранено от разрушительного действия наружного воздуха. Но, кроме этого указания на внешнее разложение, здание не имело ни малейшего признака непрочности. Быть может, взгляд внимательного наблюдателя открыл бы только еле заметную расщелину, которая, начинаясь от крыши, зигзагом шла по стене фасада и потом терялась в угрюмых водах пруда.

Наблюдая эти особенности, я подъезжал по короткой дорожке к дому. Дежурный слуга взял мою лошадь, и я вошел в прихожую замка с ее готическими сводами. Отсюда безмолвный лакей, неслышно ступая, повел меня через темные и запутанные переходы в *студию* своего хозяина. Многие из того, что я видел проходя, усиливало, не знаю каким образом,

смутное чувство, о котором я уже говорил. Все, что окружало меня: резьба на потолках, темная стенная обивка, эбеновые мрачные полы и бряцанье фантасмагорических боевых трофеев, сотрясавшихся от моих быстрых шагов, — все это или нечто подобное этому было для меня обычным еще с детства, и я без колебаний увидел, что все это знакомо, и все же дивился, чувствуя, какие незнакомые, неведомые грезы возникают во мне при виде этих обыкновенных предметов. На одной из лестниц я встретил домашнего врача. Его лицо, как показалось мне, имело смешанное выражение низкого коварства и смущения. Он первый поспешно подошел ко мне и, поздоровавшись, тотчас же скрылся. Лакей отворил дверь и ввел меня к своему господину.

Комната, в которой я очутился теперь, была очень просторна и высока. Длинные и узкие остроконечные окна находились на таком большом расстоянии от черного дубового пола, что были совершенно недоступны изнутри. Слабые красноватые лучи, проходя через оконные стекла, защищенные решеткой, проливали достаточно света, чтобы сделать явственными наиболее рельефные предметы; но глаз тщетно пытался достичь отдаленных углов комнаты или углублений потолка, украшенного резьбой и раскинувшегося сводами. Тяжелые драпировки висели на стенах. Вся обстановка, старинная и изношенная, отличалась чрезмерностью и отсутствием комфорта. Повсюду кругом были разбросаны книги и музыкальные инструменты, но они не могли хотя сколько-нибудь оживить картину. Я чувствовал, что дышу атмосферой скорби. Все было окутано, надо всем нависло что-то суровое, глубокопечальное и безутешное.

При моем входе Ашер встал с дивана, на котором он лежал во всю длину, и приветствовал меня с живой сердечностью. В первую минуту мне показалось, что в этой живости было много деланой приветливости — вынужденных усилий светского человека. Но одного беглого взгляда на его лицо было для меня достаточно, чтобы убедиться в полной его искренности. Мы сели, и в течение нескольких мгновений, пока он молчал, я глядел на него со смешанным чувством сострадания и страха. О, конечно, никогда ни один человек не изменялся так страшно в такое короткое время! Я не узнавал Родерика Ашера, я не мог поверить, что бледное существо,

находившееся передо мной, и товарищ моего раннего детства — один и тот же человек. Однако лицо его по-прежнему было замечательно. Мертвенная бледность, большие глаза, нежные и необыкновенно блестящие, губы несколько тонкие и очень бледные, но изогнутые удивительно красиво, изящный нос с еврейскими очертаниями, но с шириной ноздрей необычной для подобной формы, очаровательный подбородок, мало выдающийся вперед и этим говорящий о недостатке нравственной энергии, волосы нежней и тоньше, чем паутина, — все эти черты в соединении с необыкновенным развитием лба придавали его лицу выражение, которое нелегко забыть. Теперь же, в самом преувеличении этих отличительных черт и выражении им свойственном, было столько перемен, что я сомневался, кого это я вижу перед собой. Эта новая призрачная бледность кожи и этот новый чудесный блеск глаз больше всего поражали и даже пугали меня. Кроме того, шелковистые волосы росли теперь в полном беспорядке, и, как тысячи тех паутинок, что летают в воздухе, они не падали, а скорее развевались вокруг лица — в них было нечто напоминающее арабески и совершенно чуждое простому представлению о человеческом существе.

Я был сразу поражен бессвязностью, непоследовательностью в манерах моего друга; как я скоро заметил, это происходило от постоянных и бесплодных усилий побороть не покидавший его трепет — крайнее нервное возбуждение, сделавшееся у него обычным. Я ожидал чего-нибудь подобного, я был подготовлен к этому, с одной стороны, письмом, с другой — воспоминанием об известных чертах из детства и заключениями, выведенными из особенностей его физического сложения и темперамента. Все его движения были попеременно то живыми, то ленивыми. Его голос быстро менялся, переходя от трепета нерешительности (когда силы как будто совсем покидали его) к той особенной энергической сжатости — к тем резким, тяжелым, неспешным и глухо звучащим интонациям, к тому гортанному, прекрасно-размеренному и модулированному говору, который можно наблюдать только у неисправимого пьяницы или у закоренелого потребителя опиума в период наиболее сильного возбуждения.

Именно таким голосом говорил Ашер о цели моего приезда, о своем настойчивом желании видеть меня, об облегче-

нии, которого он от меня ожидал. Он подробно и даже несколько длинно распространился относительно того, что он считает истинной природой своей болезни. Это, говорил он, зло фамильное и зависящее от телосложения, он отчаялся найти какое-нибудь средство излечения, это просто нервное возбуждение, прибавил он тотчас же, и, конечно, оно скоро пройдет. Болезнь проявлялась в целом ряде ненормальных ощущений. Некоторые из них заинтересовали меня в его описании и поставили меня в тупик; хотя, быть может, при этом действовали также самые выражения и его манера рассказывать. Он очень страдал от болезненной остроты ощущений: он мог выносить только самую безвкусную пищу, он мог носить платье только из известных тканей, запах каких бы то ни было цветов обременял его, глаза его страдали от самого слабого света, и только некоторые звуки, именно звуки струнных инструментов, не внушали ему ужаса.

Я увидел, что Ашер сделался рабом страха, совершенно ненормального.

— Я погибну, — говорил он, — я *должен* погибнуть от этого жалкого безумия. Так, именно так, а не иначе, суждено мне погибнуть. Я боюсь будущего не из-за его самого, но из-за того, что за ним последует. Я дрожу при мысли о каком-нибудь, даже самом обыкновенном, случае, который может оказать свое действие на это невыносимое душевное возбуждение. Не самой опасности я боюсь, а ее неизбежного спутника — страха. Находясь в этом безнадежном, в этом жалком состоянии, я чувствую, что рано или поздно настанет период, когда я должен буду утратить сразу и жизнь, и рассудок в какой-то борьбе с свирепым призраком, чье имя — *Страх*.

Я познакомился, кроме того, по некоторым отрывыстым и неясным намекам с другими своеобразными чертами душевного состояния, которое переживал Ашер. Он был совершенно поработан какими-то суеверными ощущениями; они были связаны с домом, где он жил и откуда уже много лет не решался выйти, о котором он говорил в выражениях слишком смутных, чтобы их восстанавливать здесь. Он говорил, что своим материальным составом и самой формой, семейный дом точно тяжким бременем налег на его душу, что элементы *физические*, эти седые стены, и домовые башни, и темный

пруд, куда они глядели, — наложили свою властную печать на его *внутреннее* существование.

Он допускал, однако, хотя и с некоторым колебанием, что необыкновенная тоска, угнетавшая его, в значительной степени могла проистекать из причины более естественной и гораздо более ощутительной; он разумел тяжелую и давнишнюю болезнь — больше того, очевидную, уже грядущую, смерть его нежно любимой сестры, его единственного товарища за эти долгие годы, единственного и последнего человека на земле, с которым он был связан кровными узами. После ее смерти, проговорил он с таким горьким выражением, что я не забуду его никогда, он (больной и лишенный каких бы то ни было надежд) останется последним из древнего рода Ашеров. В то время как он говорил это, леди Маделина (так называлась она) бесшумно прошла через отдаленную часть комнаты и, не заметив моего присутствия, исчезла. Я глядел на нее с чувством крайнего изумления, нечуждым ужаса, — ощущение, которое я до сих пор так и не мог объяснить сам себе, — следил за ее удаляющимися шагами в состоянии полного оцепенения. Когда же дверь наконец закрылась, я с инстинктивным и жадным любопытством взглянул на ее брата, но он закрыл лицо руками, и я мог только заметить, что бледность, бледность необыкновенная, распространилась по его исхудавшим пальцам, через которые брызнули горькие слезы.

Врачебное искусство уже давно было бессильно перед болезнью леди Маделины. Упорная апатия, постепенное угасание личности и частые, хотя преходящие, припадки каталептического характера, таковы были диагностические данные ее необычайной болезни. До последнего времени она мужественно переносила тягости своей болезни и не хотела обречь себя на лежание в постели, но в день моего приезда, к концу вечера, она покорилась уничтожающей силе разрушителя (как тогда же сообщил мне ее брат в крайнем возбуждении); таким образом мне стало известно, что я видел леди, вероятно, в последний раз, что живую я не увижу ее больше никогда.

Прошло несколько дней, и мы оба — ни я, ни Ашер — ни разу не упоминали ее имени; в течение этих дней я ревностно пытался рассеять меланхолию моего друга. Мы вместе

читали и рисовали, а иногда я, как бы убаюканный, внимал полубезумным импровизациям его красноречивой гитары. И чем теснее и все теснее становилась наша дружба, чем глубже я мог заглянуть в потаенные уголки его души, тем с большей горечью я видел бесплодность каких-либо попыток озарить ум, который был окутан, как свойственной ему стихией, безутешной тьмой, ум, который был напоен мраком, распространявшим на весь нравственный и физический мир свои непобедимые черные лучи.

Мне будут вечно памятни те незабвенные часы, что я провел наедине с владельцем Дома Ашеров. Но было бы тщетной попыткой стараться обрисовать определенно характер тех замыслов или тех занятий, к которым он меня приучил или к которым указал дорогу. Идеальный экстаз, достигший крайних болезненных пределов, освещал все своим сернистым светом. Протяжные, внезапно рождавшиеся песни, которые пел Ашер, будут вечно звучать в моей душе. Среди других похоронных мелодий в моем уме еще до сей поры дрожит безумная ария, странным образом извращающая и дополняющая один из последних вальсов Вебера. А эти картины, которые создавала его изысканная фантазия, каждым новым штрихом они облекались какой-то смутностью, заставлявшей меня трепетать все сильнее и сильнее именно потому, что я не знал причин этого трепета. Как живые образы они еще стоят передо мной, но напрасно было бы стараться вложить более чем самую ничтожную их часть в написанные слова. Он приковывал и пугал внимание крайней обнаженностью, простотой своих замыслов. Если когда-нибудь кто-нибудь из смертных нарисовал идею, этот смертный был Родерик Ашер. По крайней мере, на меня — при обстоятельствах, тогда меня окружавших, — веяло непобедимым ужасом от этих чистых отвлечений, которые ипохондрик старался положить на полотно; даже и тени таких ощущений я не испытывал при созерцании грез Фюзели<sup>2</sup>, блестящих, но все еще слишком конкретных.

Один из фантастических замыслов моего друга, не так строго проникнутый духом отвлечения, может быть очерчен в словах, хотя лишь очень смутно. Небольшая картина изображала внутренность бесконечно длинного и прямоугольного склепа или туннеля с низкими гладкими белыми стенами

без всяких выступов или украшений. Некоторые подробности рисунка давали возможность думать, что это углубление находится на огромной глубине под земной поверхностью. Ни одного отверстия не было заметно на всем его обширном пространстве, не было также видно ни факела, ни какого-нибудь другого искусственного источника света, но поток ярких лучей проникал весь туннель, заливая его фантастическим неестественным блеском.

Я говорил, что слух моего друга находился в болезненном состоянии, делавшем для него всякую музыку несносной, за исключением известных звуковых сочетаний, получавшихся от струнных инструментов. Быть может, именно то обстоятельство, что он ограничил свой талант узкой сферой игры на гитаре в значительной степени обусловило фантастический характер его музыкальных мелодий. Но что касается лихорадочной *легкости* его мгновенных *импровизаций*, она не может быть истолкована данным обстоятельством. Эти необузданные фантазии с особенным подбором звуков, а также и слов (музыка нередко сопровождалась стихотворными импровизациями), были результатом той напряженной умственной сосредоточенности и самозамкнутости, которая, как я уже говорил, проявляется лишь при условии исключительных моментов крайнего искусственного возбуждения. Я легко запомнил слова одной рапсодии. Быть может, она потому особенно поразила меня, что я, как мне показалось, благодаря ее скрытому или мистическому смыслу впервые понял тогда одно обстоятельство, а именно: как мне почудилось, Ашер вполне сознавал, что его царственный разум колеблется на своем троне. Стихи назывались «Заколдованный замок» и звучали приблизительно или даже в точности так:

## I

В самой зеленой из наших долин,  
Где обиталище духов добра,  
Некогда замок стоял властелин,  
Кажется, высился только вчера.  
Там он вздымался, где Ум молодой  
Был самодержцем своим.  
Нет, никогда над такой красотой  
Не раскрывал своих крыл Серафим!

## II

Бились знамена, горя как огни,  
Как золотое сверкая руно.  
(Все это было в минувшие дни,  
Все это было давно).  
Полный воздушных своих перемен,  
В нижнем сиянии дня  
Ветер душистый вдоль призрачных стен  
Бился, крылатый, чуть слышно звеня.

## III

Путники, странствуя в области той,  
Видели в два огневые окна  
Духов, идущих певучей четой,  
Духов, которым звучала струна,  
Вкруг того трона, где высился он.  
Багрянородный герой  
Славой, достойной его, окружен,  
Царь над волшебною этой страной.

## IV

Вся в жемчугах и рубинах была  
Пышная дверь золотого дворца,  
В дверь все плыла, и плыла, и плыла,  
Искрясь, горя без конца,  
Армия Откликов, долг чей святой  
Был только славить его.  
Петь с поражающей слух красотой  
Мудрость и силу царя своего.

## V

Но злые созданья в одеждах печали  
Напали на дивную область царя.  
(О, плачьте, о, плачьте! Над тем, кто в опале,  
Ни завтра, ни после не вспыхнет заря!)  
И вкруг его дома та слава, что прежде  
Жила и цвела в обаяньи лучей,  
Живет лишь как стон панихиды надежд,  
Как память едва вспоминаемых дней.

И путники видят, в том крае туманном  
 Сквозь окна, залитые красною мглой,  
 Огромные формы в движении странном,  
 Диктуемом дико-звучащей струной,  
 Меж тем как противные, быстрой рекою  
 Сквозь бледную дверь, за которой Беда,  
 Выносятся тени и шумной толпою,  
 Забывши улыбку, хохочут всегда.

Я хорошо помню, что впечатление, получившееся от этой баллады, наваяло на нас целый ряд мыслей, причем выяснилось одно интересное воззрение Ашера, на которое я указываю теперь не столько в силу его новизны (ибо и другие\* высказывали то же), сколько по причине упорства, с каким Ашер настаивал на нем. В общем, это воззрение сводилось к признанию за растительным миром способности чувствовать. Но в расстроенной фантазии больного эта идея приняла более смелый характер и была перенесена с известными оговорками в мир неорганический. У меня нет слов, чтобы выразить полноту его убеждения или силу *самозабвения* его в этом. Оно соединялось (как я уже намекнул) с серыми камнями, из которых был выстроен дом его предков. Способность чувствовать, говорил он, была обусловлена в данном случае известной формой соединения этих камней — порядком их сочетания, а равно и множеством *грибков*, распространившихся по их поверхности, и ветхими деревьями, стоявшими вокруг, — больше всего она сказывалась в продолжительной неприкосновенности всего этого сочетания и в его двойном существовании, созданном недвижными водами пруда. Очевидность этого — очевидность того, что все это чувствует, — проявлялась, как он сказал (и тут я невольно дрогнул), в постепенном и несомненном уплотнении над водами и вокруг стен их собственной атмосферы. Результат всего этого, прибавил он, обнаруживался еще и в том безмолвном, но фатальном влиянии, которое в течении веков определило судьбы его рода и сделало из *него* то, что я видел, то,

\* Уотсон, д-р Персиваль, Спалланцани и в особенности епископ Ландафф<sup>3</sup>. См. «Очерки по химии», том V. — *Примеч. автора.*

чем он был. Такие воззрения не нуждаются в комментариях, и я не буду их делать.

Книги, которые мы читали — книги, являвшиеся в продолжение целых лет постоянными участниками умственной жизни больного, — были, понятно, в строгом соответствии с характером таких видений. Мы вместе размышляли над произведениями вроде «Вер-Вер» и «Монастырь» Грессе; «Бельфагор» Макиавелли; «Небо и ад» Сведенборга; «Подземное путешествие Николаса Климма» Хольберга; «Хиромантия» Роберта Фладда, Жана д'Эндажине и Делашамбра; «Путешествие в голубую даль» Тика; «Город Солнца» Кампанеллы. Одной из излюбленных книг был небольшой томик in-octavo\* *Directorium Inquisitorum* доминиканского монаха Эймерика де Жиронна<sup>4</sup>. По целым часам Ашер грезил также над некоторыми страницами Помпония Мелы<sup>5</sup>, где описываются древние африканские сатиры. Но главной, наиболее заманчивой его услугой было постоянно перечитывать любопытную и необычайно редкую книгу in-quarto\*\* готической печати — молитвенник какой-то позабытой церкви — *Vigiliae Mortuorum secundum Chorum Ecclesiae Maguntinae*.

Я не мог не подумать о странном ритуале, описанном в книге и об его вероятном влиянии на ипохондрика, когда однажды вечером Ашер отрывисто сообщил мне, что леди Маделины уже нет в живых и что он намерен в течение двух недель (до окончательного погребения) сохранять тело в одном из многочисленных склепов, расположенных под тяжелыми ставнями здания. Я не чувствовал себя в праве спорить против чисто мирского соображения, высказанного им. Как брат (сказал он мне) я принял такое решение, благодаря необычайному характеру болезни, сразившей покойницу, благодаря назойливым и усиленным расспросам ее доктора, а также отдаленности и открытости фамильного склепа. Не могу отрицать, что, когда я вспомнил зловещее лицо, которое я встретил на лестнице, в первый день моего проезда, у меня пропала всякая охота спорить против того, что представлялось мне самой невинной и в то же время естественной предосторожностью.

---

\* In-octavo — восьмая доля листа (лат.). — Примеч. ред.

\*\* In-quatro — четвертая доля листа (лат.). — Примеч. ред.

По просьбе Ашера я сам помог ему устроить это временное погребение. Тело было положено в гроб, и мы вдвоем отнесли его в место успокоения. Склеп, куда мы положили тело, не открывался в течение стольких лет, что, когда мы вошли в него, наши факелы наполовину погасли в этой душливой атмосфере, и мы с трудом могли рассмотреть что-нибудь. В эту сырость и тесноту не было доступа дневному свету. Склеп был расположен очень глубоко и как раз под той частью здания, где находилась моя спальня. В отдаленные времена феодализма он, очевидно, служил для иных, худших целей, а позднее превратился из подземной темницы в складочное место пороха или каких-нибудь других легковоспламеняемых веществ, так как часть пола и вся внутренность длинного свода, через который мы пришли сюда, были тщательно обиты медью. Массивная железная дверь была предохранена подобным же образом. Повернувшись на своих петлях, эта тяжелая громада издала какой-то необыкновенно резкий пронзительный скрип.

Сложив на подставки траурную ношу в этом царстве ужаса, мы отодвинули немного в сторону еще незавинченную крышку гроба и взглянули на лицо усопшей. Поразительное сходство между братом и сестрой только теперь впервые бросилось мне в глаза, и Ашер, быть может, угадав мои мысли, пробормотал несколько слов, из которых я узнал, что покойница и он были близнецами и что между ними всегда существовала горячая симпатия, по природе своей едва ли постижимая. Наши взоры, однако недолго, были прикованы к лицу усопшей — мы не могли смотреть на него без чувства трепета. Болезнь, погубившая леди в расцвете юности, как бы в насмешку оставила слабую краску на щеках и на груди покойницы, как это неизменно бывает при всех болезнях каталептического характера, а также эту нерешительную, точно на что-то намекающую, улыбку, которую так ужасно видеть на мертвом лице. Установив и привинтив крышку, мы заперли железную дверь и, измученные, отправились в верхние покои дома, вряд ли менее мрачные.

И вот после нескольких дней горькой печали характер душевного расстройства, которое угнетало моего друга, заметно изменился. Исчезла его обычная манера сдерживать себя. Обычные его занятия были заброшены или забыты.

Бесцельно переходил он из комнаты в комнату быстрыми и неровными шагами. Бледность его лица как будто сделалась еще более призрачной, но лучистый блеск его глаз совершенно потух. Тон его голоса утратил ту резкость, которая иногда слышалась прежде, и ее место занял трепет волнения, точно продиктованный чувством крайнего ужаса. Были минуты, когда мне положительно казалось, что непрерывно возбужденный ум больного был угнетен какой-то мучительной тайной, сообщить которую он никак не решался. Временами же я опять приходил к заключению, что все это необъяснимые причуды безумия, так как по целым часам он смотрел в пространство в позе глубочайшего внимания, как бы стараясь уловить слухом какой-то воображаемый звук. Удивительно ли, что его душевное состояние наполнило меня страхом, заразило меня. Я чувствовал, как на меня медленно ползут, как меня неотступно захватывают его суеверные и властные фантазии.

Полную власть таких ощущений я особенно сильно испытал на седьмой или восьмой день, после того как мы положили труп леди Маделины в склеп. Поздно ночью я лег спать. Бежали мгновенья, уходили часы, а сна все не было. Я старался трезвыми рассуждениями утишить нервное возбуждение, охватившее меня. Я говорил себе, что, вероятно, многое из того, что я чувствовал, если только не все, было навеяно чарами мрачной обстановки: этими темными и оборванными завесами, которые, как бы неохотно повинувшись дыханию зарождающейся бури, порывами вздрагивали на стенах и скорбно шелестели вокруг резного алькова. Но тщетны были мои усилия. Неотступный страх все больше проникал в мою душу, и наконец беспричинная тревога налегла мне на сердце, как инкубус. Я сделал усилие, стряхнул его, приподнял голову от подушки и, устремив пронзительный взгляд в темноту, стал прислушиваться — сам не знаю почему, быть может, инстинктивно — к каким-то глухим и неопределенным звукам, которые долетали неизвестно откуда с большими паузами в промежутки, когда буря затихала. Охваченный острым чувством ужаса, непонятного и невыносимого, я быстро накинул на себя платье (ибо я знал, что мне уже не уснуть) и, принявшись быстро шагать взад и вперед по ком-

нате, старался вывести себя из жалкого состояния, охватившего меня так неожиданно.

Но едва я прошелся таким образом несколько раз, как внимание мое было привлечено мягкими шагами, слышавшимися на ближайшей лестнице. Я тотчас же узнал, что это Ашер. Через мгновение он слегка постучался в мою дверь и вошел с лампой в руке. Лицо его было, по обыкновению, мертвенно-бледно, но, кроме того, в его глазах было какое-то выражение бешеной веселости — все черты носили явную печать сдержанного *истерического* возбуждения. Его вид ужаснул меня, но что бы ни случилось, все было предпочтительнее того одиночества, которое я так долго выносил. И когда он вошел, я почувствовал некоторое облегчение.

— И вы не видели? — резко проговорил он, после того как несколько мгновений безмолвно и пристально смотрел вокруг себя. — Так вы не видели? Но, постойте! сейчас!

Тщательно загородив лампу, он бросился к одному из окон, которые можно было открывать, и распахнул его настежь — в бурю и тьму.

Вихрь, со страшным бешенством ворвавшийся в комнату, чуть не приподнял нас с полу. Бурная мрачно-прекрасная ночь была поистине безумной и необычайной в своем ужасе и в своей красоте. Не было сомнения, что смерч собрал все свои силы где-нибудь неподалеку от нас, потому что в направлении ветра были частые и резкие перемены, и поразительная густота облаков (висевших так низко, что они как бы давили своей тяжестью башенки дома) не мешала нам видеть, как они мчатся с яростной быстротой друг на друга со всех концов, собираясь и не убегая в пространство.

Я говорю, что даже их поразительная густота не мешала нам видеть это — между тем не было проблеска звезд или месяца, не было и ни одной вспышки молнии. Но нижняя поверхность возмущенных паров, вырвавшихся исполинскими клубами, а также и все земные предметы, непосредственно нас окружавшие, блистали неестественным светом газовых испарений, которые окутывали весь дом саваном, слабо мерцавшим и совершенно явственным.

— Вы не должны смотреть на это, не смотрите, не смотрите! — вскричал я, весь дрожа, и, с ласковым насилием отведя своего друга от окна, усадил его в кресло. — Зачем вы так

волнуетесь? Ведь все это не более как электрические явления, не представляющие из себя ничего особенного, а может быть, это мрачное зрелище обусловлено нездоровыми миазмами, выделяющимися из пруда. Давайте закроем окно, холодный воздух вреден для вас. Вот здесь один из ваших излюбленных романов. Я буду читать, а вы слушайте, и мы вместе проведем эту ужасную ночь.

Старинный том, который я взял, назывался «Безрассудное свидание» и принадлежал перу сэра Лонселота Кеннига<sup>5</sup>. Но, назвав эту книгу излюбленной книгой Ашера, я хотел сказать скорее горькую шутку, нежели что-нибудь серьезное, ибо в наивной и неуклюжей болтливости этого романа было весьма мало привлекательного для его высокого и идеального ума. Это была, однако, единственная книга, находившаяся под рукой, и я лелеял смутную надежду, что возбуждение, которое переживал ипохондрик, немного уляжется (история мозговых расстройств полна таких аномалий) именно в силу преувеличенности безумных фантазий, рассказанных в данном произведении. Судя по тому странному и напряженному вниманию, с которым больной слушал чтение или делал вид, что слушал, я мог поздравить себя с успехом.

Я дошел до той известной сцены, где герой повествования, Этельред, после тщетных попыток найти мирный доступ в жилище отшельника, решается проникнуть туда силой. Как читатель может припомнить, слова рассказа в этом месте таковы:

«И Этельред, обладавший от природы сердцем мужественным и бывший тогда весьма силен от могущества выпитого им вина, не стал больше ждать да вести переговоры с отшельником, как видится коварным и упорным, но, чувствуя у себя за плечами дождь и думая, как бы не разыгралась буря, взмахнул он своей палицей и двумя-тремя ударами пробил отверстие в двери и просунул туда руку, одетую в железную перчатку; и изо всей силы дернул он к себе дверь, и треснула она, и расщепилась, и разлетелась в куски, и треск и шум раздался кругом, и глухое эхо прокатилось в лесу».

Окончив этот отрывок, я вздрогнул и на мгновение остановился: мне показалось (хотя я тотчас же заключил, что это обман моего расстроенного воображения) — мне показалось,

что издалека, из очень отдаленной части дома, до слуха моего донесся неясный звук, как бы заглушенное подавленное эхо того самого треска и грохота, которые так подробно описал сэр Лонселот. Внимание мое, несомненно, было привлечено именно этим совпадением, потому что среди треска окон и обычного смутного шума все возрастающей бури, звук сам по себе, конечно, не заключал в себе ничего, что могло бы заинтересовать меня или смутить. Я продолжал чтение:

«Но славный рыцарь Этельред, войдя через дверь, был разгневан и изумлен, видя, что коварного отшельника нет и в помине, а вместо него — дракон, покрытый чешуей, и вида чудовищного, и с огненным языком, сторожит золотой дворец с серебряным полом; и на стене там висел щит из желтой блестящей меди, а на нем круговая надпись:

Кто дверь разбил, победителем был;

Кто дракона убьет, тот щит себе возьмет.

И взмахнул Этельред своей палицей, и ударил дракона в голову, и тот упал перед ним, и испустил свой заразный дух с криком таким страшным и таким пронзительным, что поневоле Этельред закрыл себе уши руками, дабы предохранить себя от страшного шума, подобного которому он никогда не слышал».

Здесь я опять быстро остановился, и на этот раз с чувством крайнего изумления, ибо не было ни малейшего сомнения, что теперь я действительно слышал звук (откуда он доносился, я не мог определить), звук заглушенный и, очевидно, далекий, но резкий, протяжный и необыкновенно скрипучий или пронзительный — совершенный двойник того неестественного крика, с которым умер легендарный дракон и который уже был создан в моей фантазии.

При этом втором и совершенно непостижимом совпадении я был смущен целым множеством противоречивых ощущений, среди которых удивление и ужас были господствующими; все же у меня нашлось еще настолько присутствия духа, что я не сделал никакого замечания, боясь возбудить чуткую нервозность моего товарища. Я отнюдь не был уверен, что он слышал эти звуки, хотя, правда, странная перемена произошла в его внешнем виде за эти немногие минуты. Раньше он сидел против меня, потом мало-помалу повертываясь на кресле, он обратился лицом прямо к двери; таким

образом, теперь я мог только отчасти видеть черты его лица, но мне было видно, что его губы дрожат, как будто он что-то неслышно шептал. Голова его свесилась на грудь, но я знал, что он не спал, по его профилю можно было судить, что глаза его широко раскрыты и смотрят пристальным взглядом. Кроме того, самое движение его тела исключало мысль о сне: он качался из стороны в сторону чуть заметно, но неустанно и однообразно. Быстро подметив все это, я продолжал повествование сэра Ланселота:

«И тут-то мужественный рыцарь, избегнув страшной ярости дракона и вспомнив о медном щите и о разрушенном волшебстве, что было над ним, отодвинул с дороги труп и смело подошел по серебряному полу замка к стене, на которой висел щит; и еще не успел он подойти вплоть, как щит сам упал к его ногам на серебряный пол со страшным дребезжанием и тяжким грохотом».

Едва замерли в воздухе эти слова, как вдруг — точно медный щит действительно упал в это мгновение на серебряный пол — я услышал явственный повторный удар, металлический, гулкий и дребезжащий, но, очевидно, заглушенный. Вне себя я вскочил с места, но Ашер, как ни в чем не бывало, продолжал ритмически покачиваться. Я бросился к креслу, на котором он сидел. Его глаза смотрели неподвижно, все черты застыли в каменном спокойствии. Но лишь только я положил свою руку к нему на плечо, по всему телу его пробежала судорожная дрожь, жалкая улыбка затрепетала на его губах, и я услышал быстрый невнятный шепот; глотая слова, Ашер говорил тихо-тихо и как бы не сознавал моего присутствия. Наклонившись над ним к самому его лицу, я проник наконец в чудовищный смысл его слов.

— Не слышите? Нет, я слышу и *раньше* слышал. Давно-давно-давно — шли минуты, шли часы, шли дни — я слышал, но я не смел — о, сжальтесь, сжальтесь надо мной! — я не смел, я не *смел* говорить! *Мы похоронили ее заживо!* Разве я не говорил, что мои чувства остры? Я говорю вам *теперь*, я слышал, как она в первый раз зашевелилась в своем впалом гробу. Я слышал — много, много дней тому назад — но я не смел, я *не смог* говорить! И вот нынче ночью — Этельред — а! — разломилась дверь отшельника, и дракон закричал, умирая, и щит загремел! Скажите лучше: ее гроб разломился, и

железные петли ее тюрьмы закричали, и она сама стала биться под медными сводами. О, куда мне убежать? Разве она не придет сюда сейчас? Разве она побежит сюда, чтоб упрекать меня за мою поспешность? Вот, вот я слышу ее шаги на лестнице! Вот, вот я слышу, как тяжело и страшно бьется ее сердце! Сумасшедший!

Он бешено вскочил с места и выкрикнул свое бормотание, словно в этом громадном усилии испуская последний дух:

— *Сумасшедший! Я говорю вам, что она стоит теперь за дверью!*

И как будто сверхчеловеческая энергия его слов приобрела силу волшебства — тотчас же ветхая стенная вставка, на которую указывал Ашер, медленно раздвинула свои тяжелые эбеновые челюсти. То было действием порывистого вихря — но из-за этой двери *предстала* высокая, окутанная саваном фигура леди Маделины Ашер. На ее белом одеянии виднелась кровь, и вся ее изможденная фигура носила следы тяжелой борьбы. На мгновение она остановилась на пороге, дрожа и шатаясь, потом с глухим и жалобным криком она тяжело упала впереди на брата и в своей судорожной и на этот раз окончательной смертной агонии увлекла его наземь, труп и жертву предвкушенного страха.

Я в ужасе бежал из этой комнаты и из этого дома. Буря все еще свирепела в своем неистовстве. Я пересекал старое шоссе, как вдруг вдоль дороги блеснул странный свет, и я обернулся, чтобы посмотреть, откуда может исходить такое необыкновенное сияние, потому что за мной не было ничего, кроме обширного дома и его теней. Свет исходил от кроваво-красного полного месяца, который, опускаясь к горизонту, ярко блистал теперь через расщелину, прежде едва заметную и проходившую, как я говорил, в виде зигзага от крыши дома до его основания. Пока я глядел, эта расщелина быстро расширялась; смерч поднялся с новой силой; шар месяца весь целиком предстал перед моими глазами; голова у меня закружилась, я увидел, что мощные стены распадаются, рушатся; послышался долгий бушующий шум, подобный возгласу тысячи источников, и темные воды глубокого пруда угрюмо и безмолвно сомкнулись над обломками *Дома Ашеров*.

## СЕРДЦЕ-ИЗОБЛИЧИТЕЛЬ

Да! я очень, очень нервен, страшно нервен; но почему *хотите* вы утверждать, что я сумасшедший? Болезнь обострила мои чувства, отнюдь не ослабила их, отнюдь не притупила. Прежде всего чувство слуха всегда отличалось у меня особенной остротой. Я слышал все, что делалось на небе и на земле. Я слышал многое из того, что делалось в аду. Какой же я сумасшедший? Слушайте! Вы только слушайте и наблюдайте, как трезво и спокойно я могу все рассказать.

Невозможно определить, каким образом эта мысль первый раз пришла мне в голову; но, раз придя, она преследовала меня и днем и ночью. Цели тут не было никакой. Страсти не было никакой. Я любил старика. Он никогда не делал мне зла. Он никогда меня не оскорблял. Денег его я не хотел. Я думаю, что во всем был виноват его глаз! Да, именно так! Один его глаз был похож на глаз ястреба — бледно-голубого цвета, с бельмом. Каждый раз, когда он смотрел на меня этим глазом, кровь во мне холодела, и вот мало-помалу, постепенно, мной овладела мысль убить старика и этим путем раз и навсегда освободиться от его глаза.

Так вот в чем дело. Вы забрали себе в голову, что я сумасшедший. Сумасшедшие не знают ничего. Но вы бы только посмотрели *на меня*. Вы бы только посмотрели, как умно я все устроил — с какой осторожностью — с какой предусмотрительностью, с каким притворством я принялся за дело! Никогда я не был более предупредителен к старику, нежели в течение целой недели перед *тем*, как я его убил. И каждую ночь, около полуночи, я повертывал защелку его двери и открывал ее — о, как тихо! И потом, когда отверстие было достаточно широко, чтобы пропустить мою голову, я протягивал туда потайной фонарь, совершенно закрытый, закрытый настолько, что ни луча оттуда не просвечивало, и тогда я просовывал в дверь свою голову. Вот бы вы рассмеялись, если бы увидели, с какой ловкостью я ее просовывал! Я подвигал ее медленно, очень-очень медленно, чтобы не потревожить сон старика. Проходил целый час, прежде чем я просовывал голову настолько, чтобы видеть, как он лежит в своей постели. А! Разве сумасшедший мог бы быть так благоразумен? И затем, когда голова моя была в комнате, я осторожно

открывал фонарь — о, так осторожно — так осторожно (потому что пружина скрипела), я открывал его как раз настолько, чтобы один тонкий луч упал на ястребиный глаз. И я делал это целых семь долгих ночей, каждую ночь, ровно в полночь, но глаз всегда был закрыт, и, таким образом, мне было невозможно совершить дело, потому что не старик меня мучил, а его *дурной глаз*. И каждое утро, когда наступал день, я спокойно входил в его комнату и оживленно разговаривал с ним, ласково называл его по имени и спрашивал, как он провел ночь. Вы видите, старик должен был бы обладать очень большой проницательностью, чтобы подозревать, что каждую ночь, ровно в двенадцать часов, я смотрел на него, покуда он спал.

На восьмую ночь я опять пошел, и на этот раз открывал дверь с еще большей осторожностью, чем прежде. Минутная стрелка на часах движется быстрее, чем двигалась тогда моя рука. Никогда до этой ночи не *чувствовал* я размеров моих сил, моей предусмотрительности. Я едва мог сдерживать торжествующий восторг. Подумать только, я тут потихоньку открываю дверь, а ему даже и не снятся мои тайные дела и мысли. Когда пришло мне в голову, я засмеялся чуть внятным, прерывистым смехом, и, быть может, он услышал меня, потому что он внезапно повернулся на постели, как бы вздрогнув. Вы, пожалуй, подумаете, что я удалился — нет. В его комнате ни зги не видно было (ставни были плотно заперты, он боялся воров), и я знал, что он не мог видеть открытой двери, и я все ее открывал, так спокойно, так спокойно.

Я уже просунул голову в комнату и готовился открыть фонарь, как вдруг мой большой палец скользнул по жестяной задвижке, и старик вскочил на постели, вскрикнув: «Кто там?»

Я был неподвижен и не говорил ни слова. В продолжение целого часа я не двинулся ни одним мускулом, и все время слышал, что он не ложился. Он все еще сидел на своей постели и слушал; совершенно так же, как ночь за ночью я слушал здесь тиканье стенного жучка-точильщика.

Но вот я услышал слабый стон, и я знал, что это был стон смертельного страха. То не был стон муки или печали — о, нет! — то был тихий, заглушенный звук, который исходил из

глубины души, когда она подавлена ужасом. Я хорошо знал этот звук. Много ночей, ровно в полночь, когда весь мир спал, он вырывался из моей груди, усиливая своим чудовищным откликом ужасы, терзавшие меня. Я говорю, я знал его хорошо. Я знал, что чувствовал старик, и мне было его жалко, хотя в сердце моем дрожал судорожный смех. Я знал, что он не спал с того самого мгновения, когда легкий шум заставил его повернуться в постели. С этого мгновения страх все больше наползал на него. Он старался убедить себя, что опасения напрасны, но не мог. Он говорил себе: «Это ничего, это только ветер в камине, это только мышь пробежала по полу» или «Это только крикнул сверчок, он только раз крикнул». Да, он старался успокоить себя такими догадками; но видел, что все тщетно. *Все тщетно*, потому что Смерть, приближаясь к нему, прошла перед ним со своей черной тенью и окутала жертву. И именно это зловещее влияние незримой тени заставило его чувствовать, хотя он ничего не видел и не слышал, *чувствовать* присутствие моей головы в комнате.

Я выждал очень терпеливо значительный промежуток времени, но, слыша, что старик не ложится, я решил открыть в фонаре маленькую щелку — очень-очень маленькую. Я стал ее открывать — вы представить себе не можете, до какой степени бесшумно, *бесшумно* — и наконец, отдельный бледный луч, похожий на вытянутую паутинку, выделился из щели и упал на ястребиный глаз.

Он был открыт, широко-широко открыт, и я пришел в ярость, увидев его. Я видел его совершенно явственно — это был тускло-голубой глаз с отвратительным налетом, который заморозил кровь в моих жилах, но я не видал ничего другого, ни черт его лица, ни его тела, потому что как бы по инстинкту я направил луч света как раз на проклятое пятно.

Ну и что же, разве я вам не говорил, что то, что вы считаете сумасшествием, есть лишь утонченность моих чувств? Я услышал тихий, глухой, быстрый звук, подобный тиканью карманных часов, завернутых в вату. *Этот* звук я знал, отлично знал я его. Это билось сердце старика. Быстрый звук усилил мое бешенство, как звук барабанного боя усиливает мужество солдата.

Но и тут я еще сдержался и продолжал стоять неподвижно. Я едва дышал. Фонарь застыл в моих руках. Я пробовал,

как упорно могу я устремлять луч света на глаз. А сердце все билось, эта дьявольская музыка все усиливалась. С каждым мигом звук делался быстрее и быстрее, он делался все громче и громче. *Надо думать*, что старик был испуган до последней степени! Сердце билось все громче, говорю я, все громче с каждым мигом!

Вы хорошо следите за мной? Ведь я вам говорил, что я нервен: да, я нервен. И теперь, в этот смертный час ночи, посреди мертвой тишины старинного дома, этот странный шум исполнил меня непобедимым ужасом. Однако еще несколько минут я сдерживал себя и стоял спокойно. Но сердце билось все громче, все громче! Я думал, что оно разорвется. И тут новая забота охватила меня — этот звук могли слышать соседи! Час старика пришел! С громким воплем я раскрыл фонарь и бросился в комнату. Он крикнул — крикнул только раз. В одно мгновение я сошвырнул его на пол и сдернул на него тяжелую постель. И тут я весело улыбнулся, видя, что дело идет так успешно. Но несколько минут сердце продолжало биться, издавая заглушенный звук. Этот звук, однако, больше не мучил меня; его нельзя было слышать через стены. Наконец он прекратился. Старик был мертв. Я сдвинул постель и осмотрел тело. Да, он был совершенно, совершенно мертв. Я приложил руку к его сердцу и держал ее таким образом несколько минут. Пульса не было. Он был совершенно мертв. Его глаз не будет больше меня тревожить.

Если вы еще продолжаете думать, что я сумасшедший, вы разубедитесь, когда я опишу вам все меры предосторожности, которые я предпринял, чтобы скрыть труп. Ночь уходила, и я работал быстро, но молчаливо.

Я вынул три доски из пола комнаты и положил труп между драницами. Потом я опять укрепил доски так хорошо, так аккуратно, что никакой человеческий глаз — даже и *его* — не мог бы открыть здесь ничего подозрительного. Ничего не нужно было замывать — ни одного пятна — ни одной капли крови. Я был слишком предусмотрителен для этого.

Когда я все закончил, было четыре часа — на дворе было еще темно, как в полночь. В ту самую минуту, когда били часы, с улицы раздался стук в наружную дверь. С легким сердцем я пошел отворить ее — чего мне было бояться *теперь*?

Вошли три человека и с большой учтивостью представились мне, называя себя полицейскими чиновниками. Один из соседей слышал ночью крик; возникло подозрение, не случилось ли какого злого дела; полиция была об этом извещена, и вот они (полицейские чиновники) были отправлены произвести обыск.

Я улыбался — *чего* мне было бояться? Я попросил джентльменов пожаловать в комнаты. Закричал это я сам, сказал я, закричал во сне. А старика, сообщил я, нет дома, он на время уехал из города. Я провел посетителей по всему дому. Я просил их обыскать все — обыскать хорошенько. Я провел их, наконец, в *его* комнату. Я показал им все его драгоценности, они были целы и лежали в своем обычном порядке. Охваченный энтузиазмом своей уверенности, я принес стулья в эту комнату и пожелал, чтобы именно *здесь* они отдохнули от своих поисков, между тем как я сам, в дикой смелости полного торжества, поставил свой собственный стул как раз на том самом месте, под которым покоилось тело жертвы.

Полицейские чиновники были удовлетворены. Мои *манеры* убедили их. Я чувствовал себя необыкновенно хорошо. Они сидели и, между тем как я весело отвечал, болтали о том о сем. Но прошло немного времени, я почувствовал, что бледнею, и искренно пожелал, чтобы они поскорее ушли. У меня заболела голова, и мне показалось, что в ушах моих раздался звон; но они все еще продолжали сидеть, все продолжали болтать. Звон стал делаться явственнее — он продолжался и делался все более явственным: я начал говорить с усиленной развязностью, чтобы отделаться от этого чувства, но звон продолжался с неуклонным упорством — он возрастал, и, наконец, я понял, что шум был не в моих ушах.

Не было сомнения, что я *очень* побледнел; но я говорил все более бегло, я все более повышал голос. Звук возрастал — что мне было делать? Это был *тихий, глухой, быстрый звук* — *очень похожий на тиканье карманных часов, завернутых в вату*. Я задыхался — но полицейские чиновники не слышали его. Я продолжал говорить все быстрее — все более порывисто; но шум упорно возрастал. Я вскочил и стал разглагольствовать о разных пустяках, громко и с резкими жестикациями; но шум упорно возрастал. Почему они *не хотели* ухо-

дить? Тяжелыми, большими шагами я стал расхаживать взад и вперед по комнате, как бы возбужденный до бешенства наблюдениями этих людей — но шум упорно возрастал. О, Боже! *что* мне было делать? Я кипятился — я приходил в неистовство — я клялся! Я дергал стул, на котором сидел, и царапал им по доскам, но шум поднимался надо всем и беспрерывно возрастал. Он становился все громче — громче — *громче!* А они все сидели, и болтали, и улыбались. Неужели они не слышали? Боже всемогущий! — нет, нет! Они слышали! — они подозревали! — они *знали!* — они насмехались над моим ужасом! — я подумал это тогда, я так думаю и теперь. Но что бы ни случилось, все лучше, чем эта агония! Я все мог вынести, только не эту насмешку! Я не мог больше видеть эти лицемерные улыбки, чувствовал, что я должен закричать или умереть! — и вот — *опять!* — слышите! — громче! громче! громче! *громче!*

«Негодяи! — закричал я, — не притворяйтесь больше! Я сознаюсь в убийстве! — сорвите эти доски! Вот здесь! здесь! — вы слышите, это бьется его проклятое сердце!»

## БЕРЕНИКА

Dicebant mihi sodales, si sepulchrum amicae visitarem, curas meas aliquantulum fore levatas.

*Ebn Zaiat\**

Несчастье — многообразно. Злополучие земли — многоформенно. Простираясь над гигантским горизонтом как радуга, оттенки его так же разнородны, как оттенки этой разноцветной арки, и так же отличительны, и так же нераздельно слиты воедино. Простираясь над гигантским горизонтом, как радуга! Каким образом из области красоты я заимствовал образ чего-то отталкивающего? Символ умиротворенья превратил в уподобление печали? Но как в мире нравствен-

---

\* Говорили мне сотоварищи, что, если бы я посетил могилу подруги, я несколько облегчил бы свои печали. *Ибн-Зайат*<sup>1</sup>. — *Примеч. пер.*

ных понятий зло является последствием добра, так в действительности из радости рождаются печали. Или воспоминание о благословенном прошлом наполняет пыткой настоящее, или муки, терзающие *теперь*, коренятся в безумных восторгах, которые *могли быть*.

При крещении мне дано было имя Эгей, своего фамильного имени я не буду упоминать. Но во всей стране нет замка более старинного, чем мои суровые седые родовые чертоги. Наш род был назван расой духовидцев; и такое мнение, более чем явственно, подтверждалось многими поразительными особенностями покоев, резьбой, украшавшей некоторые колонны в фехтовальной зале, но в особенности картинной галереей, состоявшей из произведений старинных мастеров, внешним видом библиотеки и, наконец, совершенно своеобразным подбором книг.

Воспоминания самых ранних лет связаны в моем уме с этой комнатой и с ее томами, о которых я не хочу говорить подробнее. Здесь умерла моя мать. Здесь я родился. Но было бы напрасно говорить, что я не жил *раньше*, что душа моя не имела первичного существования. Вы отрицаете это? Не будем спорить. Будучи убежден сам, я не стараюсь убеждать других. Есть, впрочем, одно воспоминание, которое не может быть устранено, воспоминание о каких-то воздушных формах, о бестелесных глазах, исполненных значительности, о звуках горестных, но музыкальных. Воспоминание, подобное тени, смутное, изменчивое, неустойчивое, неопределенное; но подобное тени еще и в том смысле, что мне невозможно уйти от него, пока будет светить мой разум, распространяя вокруг меня свой яркий солнечный свет.

В этой комнате я родился. Пробудившись таким образом от долгого сна, выйдя с открытыми глазами из пределов ночи, которая казалась небытием, но не была им, я сразу вступил в область сказочной страны, в чертоги фантазии, в необычайный приют отшельнической мысли и уединенного знания. Удивительно ли, что я глядел вокруг себя жадно ищущими, изумленными глазами, и провел свое детство среди книг, и растратил свою юность в мечтаниях. Но *удивительно* одно, — когда годы уходили за годами, когда подкрался знойный полдень моей возмужалости и застал меня все еще сидящим в старинном обиталище моих предков, — *уди-*

*вительно*, как сразу в кипучих ключах моей жизни вода превратилась в стоячую, и в характере моих мыслей, даже самых обыкновенных, настала полная и внезапная перемена. Явления действительной жизни казались мне снами, только снами, а зачарованные мысли, навеянные царством видений, сделались, наоборот, существенным содержанием моей повседневной жизни, — больше того, в них, и только в них, была вся моя жизнь, с ними слилась она в одно целое.

Береника была моей двоюродной сестрой, и мы выросли вместе в моем отцовском замке. Но как различно мы выросли — я, болезненный и погруженный в меланхолию; она, легкая, веселая и вся озаренная жизнерадостным блеском. Она вечно бродила по холмам, я сидел над книгами в своей келье; живя жизнью своего собственного сердца, я душой и телом отдавался самым трудным и напряженным размышлениям, а она беспечно шла по жизненной дороге и не думала, что ей на пути может встретиться тень, не заботилась о том, что часы безмолвно улетали на своих вороновых крыльях. Береника! Я произношу ее имя, Береника! И в памяти моей, на седых руинах, возникают тысячи беспокойных мыслей, как цветы, оживленные силою этого звука! О, как ярки очертания ее образа передо мной, точно в ранние дни ее воздушной легкой радости! Красота роскошная и фантастическая! Сильфида среди кустарников Арнгейма<sup>2</sup>! Наяда среди ее источников! И потом, потом все превращается в тайну, все сменяется ужасом, становится сказкой, которая бы не должна была быть рассказанной. Болезнь, роковая болезнь, как самум<sup>3</sup>, обрушилась на ее существо; и даже пока я смотрел на нее, дух перемены овладевал ею, застилал ее душу, изменял ее привычки, и нрав, и самым незаметным и страшным образом нарушал даже цельность ее личности! Увы! Бич пришел и ушел! А жертва — что с ней случилось? Я больше не узнавал ее, не узнавал ее больше как Беренику!

Среди целого ряда болезней, причиненных первичным роковым недугом, который произвел такую страшную насильственную перемену во внутреннем и внешнем состоянии Береники, нужно прежде всего упомянуть о самой страшной и упорной, я разумею эпилептические припадки, нередко кончавшиеся *летаргией* — летаргией, необыкновен-

но походившей на полную смерть, причем в большинстве случаев после такого обмирания она приходила в себя резко и внезапно. В то же время моя собственная болезнь — употребляю это наименование, потому что мне было сказано, что иного развития не может быть при определении моего состояния, — моя собственная болезнь быстро разрасталась и в конце концов приняла форму мономании, совершенно новую и необычайную — с каждым часом и с каждой минутой она приобретала новую силу и, наконец, овладела мной с непостижимой властью. Эта мономания, если я должен так называть ее, состояла в болезненной раздражительности тех способностей духа, которые на языке философском называются *вниманием*. Более, чем вероятно, что меня не поймут; но я боюсь, что мне, пожалуй, будет совершенно невозможно возбудить в уме обыкновенного читателя верное и точное представление о той нервной *напряженности интереса*, с которой, в моем случае, силы размышления (чтобы избежать языка технического) были поглощены созерцанием даже самых обыкновенных предметов.

По целым часам я размышлял, неутомимо устремивши внимательный взгляд на какое-нибудь ничтожное изречение, помещенное на полях книги, или на символические иероглифы на обложке. В продолжение большей части долгого летнего дня я бывал всецело погружен в созерцание косой тени, падавшей причудливым узором на пол и на стены; целые ночи я наблюдал за колеблющимся пламенем светильника или за углями, догоравшими в камельке; целые дни напролет я грезил о запахе какого-нибудь цветка; монотонным голосом повторял какое-нибудь обыкновенное слово до тех пор, пока звук от частого повторения не переставал наконец давать уму какое бы то ни было представление; я утрачивал всякое чувство движения или физического существования, посредством полного телесного покоя, которого я достигал долгим упорством: таковы были немногие из самых обыкновенных и наименее вредных уклонений моих мыслительных способностей, уклонений, которые, правда, не являются вполне беспримерными, но которые отвергают всякий анализ или объяснение.

Однако, да не буду я ложно понят. Неестественное напряженное болезненное внимание, возбуждаемое таким образом

предметами, по своей сущности ничтожными, не должно быть смешиваемо с задумчивостью, общей всем людям, в особенности тем, кто одарен живым воображением. Это внимание не только не являлось, как можно предположить с первого раза, крайним развитием или преувеличением такой способности, но существенно от нее отличалось и имело свое первичное самостоятельное существование. В одном случае мечтатель, или человек восторженный, будучи заинтересован предметом обыкновенно *не* ничтожным, незаметно теряет из виду этот предмет и погружается в безбрежность выводов, намеков и внушений, из него проистекающих, так что в конце подобного сна наяву, *нередко переполненного чувственным наслаждением, возбудители*, первичная причина, обусловившая мечтательность, исчезает и забывается окончательно. В моем случае первичный предмет *постоянно* был *ничтожным*, хотя, через посредство моего неестественно возбужденного зрительного воображения, он приобретал отраженную и нереальную важность. Выводов было немного, если только были какие-нибудь выводы; и они упорно возвращались к первоначальному предмету, как бы к центру. Размышления *никогда* не были радостными; и, после того как мечты кончались, первопричина не только не терялась из виду, но возбуждала тот сверхъестественный преувеличенный интерес, который являлся господствующим признаком моей болезни. Словом, силы ума, совершенно своеобразно возбуждавшиеся во мне, были, как я сказал, способностью *внимания*, а не способностью *созерцательного размышления*, как у обыкновенного мечтателя.

Книги, в эту пору моей жизни, если и не являлись одной из действительнейших причин, обусловливавших мое нездоровье, принимали во всяком случае, как это легко понять, большое участие в проявлении отличительных признаков моей болезни, будучи исполнены фантазии и нелогичности. Я хорошо помню, среди других, трактат благородного итальянца, Делия Секунда Куриона, «*De Amplitudine Beati Regni Dei*»; великое произведение блаженного Августина «Град Божий», и сочинение Тертуллиана «*De Carne Christi*»<sup>4</sup>, где одна парадоксальная мысль: «*Mortuus est Dei filius: crelibile est, quia ineptum est; et sepultus resurrexit: certum est, quia*

*impossibile est*»\* стоила мне целых недель трудолюбивого и бесплодного исследования.

Таким образом, мой разум, терявший свое равновесие только от соприкосновения с предметами незначительными, как бы имел сходство с той океанической скалой, о которой говорит Птолемей Гефестион<sup>5</sup> и которая, оставаясь незыблемой и нечувствительной к людскому неистовству и к еще более бешеной ярости волн и ветров, содрогалась только от прикосновения цветка, называемого асфоделями<sup>6</sup>. И для наблюдателя невнимательного может показаться несомненным, что, обусловленная злополучной болезнью, перемена во *внутреннем* состоянии Береники должна была доставлять мне много предлогов для проявления того напряженного и неестественного внимания, природу которого я объяснил с некоторым затруднением; однако это совсем не так. В промежутки просветления ее несчастье, действительно, огорчало меня, и я, принимая близко к сердцу это полное разрушение ее нежного прекрасного существа, не мог не размышлять горестно и неоднократно о тех удивительных средствах, с помощью которых так внезапно произошла такая странная насильственная перемена. Но эти размышления отнюдь не соприкасались с основным свойством моего недуга и отличались таким же характером, каким они отличались бы при подобных обстоятельствах у всякого другого. Верный своему собственному характеру, мой недуг упивался менее важными, но более поразительными изменениями, совершавшимися в *физическом* существе Береники — особенным и самым ужасающим искажением ее личного тождества.

В золотые дни ее несравненной красоты я никогда не любил ее, никогда. В странной аномалии моего существования, чувства *никогда не протекали* у меня из сердца, страсти *всегда возникали* в моем уме. В белесоватых сумерках раннего утра — среди переплетенных теней полуденного леса и в ночном безмолвии моей библиотеки — она мелькала пред моими глазами, и я видел ее — не как Беренику, которая живет и дышит, но как Беренику сновидения; не как существо

---

\* Умер Сын Божий; достойно веры есть, ибо неприемлемо; и погребенный воскрес; достоверно есть, ибо невозможно. — *Примеч. пер.*

земли, существо земное, но как отвлечение такого существа; не как предмет преклонения, но как предмет исследования; не как источник любви, но как тему для самых отвлеченных, хотя и бессвязных умозрений. А *теперь* — теперь я содрогался в ее присутствии, я бледнел при ее приближении; но, горько сожалея о ее полуразрушенном безутешном состоянии, я припомнил, что она долго любила меня, и в злую минуту заговорил с ней о браке.

И наконец, приблизился срок нашей свадьбы, когда однажды в послеобеденный зимний час — в один из тех безвременно теплых, тихих и туманных дней, которые ласково нянчат прекрасную Гальциону\*, — я сидел (и, как мне казалось, сидел один) в углублении библиотеки. Но, подняв глаза, я увидел, что предо мною стояла Береника.

Было ли это действием моего возбужденного воображения — или влиянием туманной атмосферы — или это было обусловлено неверным мерцанием сумерек — или это обуславливалось волнистыми складками серых занавесей, упавших вокруг ее фигуры, — я не могу сказать, но ее очертания колебались и были неопределенными. Она не говорила ни слова; и я ни за что в мире не мог бы произнести ни слова. Леденящий холод пробежал по моему телу; чувство нестерпимого беспокойства сковало меня; жадное любопытство овладело моей душой; и, откинувшись в кресле, но дыша и не двигаясь, я смотрел на нее пристальным взглядом. Увы! она страшно исхудала, и ни следа ее прежнего существа нельзя было уловить во всех ее очертаниях. Мои пылающие взгляды упали наконец на ее лицо.

Высокий лоб был очень бледен и озарен чем-то необыкновенно мирным; и волосы, когда-то черные, как смоль, падали отдельными прядями, и затеняли бесчисленными завитками виски, и блистали теперь ярким золотом, резко дисгармонируя с господствующей печальностью всего выражения. Глаза были безжизненны и тусклы и казались лишенными зрачков. Я невольно содрогнулся и перевел свой взгляд от их стеклянной неподвижности к тонким искрив-

---

\* Так как Юпитер в продолжение времени посылает дважды по семь дней тепла, люди дали этой кроткой тихой поре название няни прекрасной Гальционы. *Симонид*<sup>7</sup>. — *Примеч. автора.*

ленным губам. Они раздвинулись; на них отразилась улыбка, исполненная какой-то странной выразительности, и медленно передо мною открылись *зубы* этой измененной Береники. О, если бы Богу угодно было, чтобы я никогда их не видал или, увидев, тотчас умер!

Звук закрываемой двери смутил меня, и, подняв глаза, я увидел, что Береника ушла из комнаты. Но из пределов моего расстроенного мозга не вышел — увы! — и не мог быть удален белый и чудовищный *призрак* зубов. Ни одной точки на их поверхности — ни одной тени на их эмали — ничего не упустила моя память, все заметил я в этот краткий миг ее улыбки. Я видел их *теперь* даже более отчетливо, чем *тогда*. Зубы! Зубы! Они были здесь, и там, и везде, я их видел перед собой, я их осязал; длинные, узкие, и необыкновенно белые, с искривленными вокруг бледными губами, как в тот первый миг, когда они так страшно открылись. И вот неудержимое бешенство моей *мономании* пришло ко мне, и я напрасно боролся против ее загадочного и неотвратимого влияния. Среди многочисленных предметов внешнего мира я не находил ничего, что бы отвлекло меня от моей мысли о зубах. Я томился, я жаждал их необузданно. Все другие предметы, все разнородные интересы погасли в этом единственном созерцании. Они — только они представлялась моим умственным взорам, и в своей единственной индивидуальности они сделались сущностью моей духовной жизни. Я смотрел на них под разными углами. Я придавал им самое разнородное положение. Я наблюдал их отличительные черты. Я останавливался взором на их особенностях. Я подолгу размышлял об их форме. Я думал об изменении в их природе. Я содрогался, когда приписывал им, в воображении, способность чувствовать и ощущать, способность выражать душевное состояние даже независимо от губ. О мадемуазель Салле<sup>8</sup> прекрасно было сказано, что «*tous ses pas etaient des sentiments*»\*; относительно Береники я еще более серьезно был убежден, что *toutes ses dents etaient des idees. Des idees!*\*\* — а, вот она, идиотская мысль, погубившая меня! *Des idees* — так *поэтому-то* я

\* Даже каждый ее шаг полон чувств (фр.). — Примеч. ред.

\*\* Даже ее зубы полны смысла! Смысла! (Фр.). — Примеч. ред.

жаждал их так безумно! Я чувствовал, что только их власть может вернуть мне мир, вернув мне рассудок.

И вечер надвинулся на меня — и потом пришла тьма, и помедлила, и ушла — и новый день забрезжил — и туманы второй ночи собрались вокруг — и я все еще сидел недвижно в этой уединенной комнате — я все еще был погружен в размышления — и все еще *призрак* зубов страшным образом висел надо мной и тяготел и с отвратительной отчетливостью. Он как бы витал везде кругом по комнате среди изменчивой игры света и теней. Наконец, в мой сон ворвался вопль, как бы крик испуга и ужаса, и потом, после перерыва, последовал гул смешанных голосов, прерываемый глухими стонами печали или тревоги. Я поднялся с своего места и, распахнув одну из дверей библиотеки, увидел в прихожей служанку, всю в слезах, которая сказала мне, что Береники больше нет! Ранним утром она была застигнута эпилепсией, и теперь, с наступлением ночи, могила ждала свою гостью, и все приготовления для похорон были уже окончены.

Я увидел себя сидящим в библиотеке, и я опять сидел здесь один. Я знал, что была полночь, и я отлично знал, что после захода солнца Береника была погребена. Но относительно этого мрачного промежуточного периода у меня не было никакого положительного или, по крайней мере, никакого определенного представления. И однако же воспоминание о нем было переполнено ужасом — ужасом тем более ужасным, что он был смутным, и страхом еще более страшным в силу своего уклончивого смысла. В летописи моего существования была чудовищная страница, вся исписанная туманными гнусными и непонятными воспоминаниями. Я старался распутать их — напрасно. И время от времени как будто дух отлетевшего звука в моих ушах, казалось мне, содрогался звенящий пронзительный крик резкого женского голоса. Я что-то сделал — но что? Я спрашивал себя, громко повторяя этот вопрос, и шепчущее эхо комнаты отвечало мне — «*Что?*»

На столе около меня горела лампа: близ нее стоял маленький ящик. Он ничем не был замечателен, и я часто видел его раньше, он принадлежал нашему домашнему врачу; но как он попал *сюда*, на мой стол, и почему я содрогался, разглядывая его? Это было необъяснимо, и взор мой, нако-

нец, случайно упал на страницу открытой книги, и на фразу, подчеркнутую в ней. То были необыкновенные и простые слова поэта Ибн-Зайата: «*Dicebant mihi sodales, si sepulchrum amicae visitarem curas meas aliquantulum fore levatas*». Почему же, когда я прочел их, волосы стали дыбом у меня на голове, и кровь оледенела в моих жилах?

Послышался легкий стук в дверь библиотеки — и, бледный как мертвец, в комнату на цыпочках вошел слуга. Его глаза были дикими от ужаса, и, обращаясь ко мне, он заговорил дрожащим, хриплым и необыкновенно тихим голосом. Что говорил он? — я расслышал обрывки фраз. Он говорил, что безумный крик возмутил безмолвие ночи — что все слуги собрались — что в направлении этого звука стали искать; и тут его голос сделался ужасающе-отчетливым, когда он начал шептать мне об изуродовании тела, закутанного в саван, но еще дышащего — еще трепещущего — *еще живого!*

Он указал на мое платье; оно было обрызгано грязью и запачкано густой запекшейся кровью. Я не говорил ни слова, и он тихонько взял меня за руку; на ней были следы, вдавленные следы человеческих ногтей. Он обратил мое внимание на какой-то предмет, прислоненный к стене. Я смотрел на него несколько минут: это был заступ. С криком я бросился к столу и схватил ящик, стоявший на нем. Но я не мог его открыть; и, охваченный дрожью, я выпустил его из рук, он тяжело упал и разбился на куски; и из него с металлическим звуком покатались различные зубоврачебные инструменты, а среди них там и сям рассыпались по полу тридцать два небольших белых куска цвета слоновой кости.

## МОРЕЛЛА

Auto caf auto mef autou, monoeides a...ei on.

Сам, самим собою, вечно один и единственный.

*Платон, «Пир»<sup>1</sup>*

С чувством глубокой и самой необыкновенной привязанности смотрел я на мою подругу Мореллу. Когда случай столкнул меня с нею много лет тому назад, душа моя с первой нашей встречи зажглась огнем, которого до тех пор она

никогда не знала; но то не был огонь Эроса, и горестно и мучительно было для меня, когда мне постепенно пришлось убедиться, что я никак не могу определить необычайный характер этого чувства или овладеть его смутной напряженностью. Однако мы встретились; и судьба связала нас перед алтарем; и никогда я не говорил о страсти и не думал о любви. Тем не менее она избегала общества и, привязавшись всецело ко мне, сделала меня счастливым. Удивляться — это счастье; мечтать — это счастье.

Морелла обладала глубокой ученостью. Я твердо убежден, что ее таланты были незаурядными — что силы ее ума были гигантскими. Я чувствовал это, и во многих отношениях сделался ее учеником. Однако вскоре я заметил, что она, быть может, в силу своего пресбургского образования<sup>2</sup>, нагромоздила передо мной целый ряд тех мистических произведений, которые обыкновенно рассматривались как накипь первичной немецкой литературы. Они, не могу себе представить почему, были предметом ее излюбленных и постоянных занятий — и если с течением времени они сделались тем же и для меня, это нужно приписать самому простому, но очень действительному влиянию привычки и примера.

Во всем этом, если я не ошибаюсь, для моего разума представлялось малое поле действия. Мои убеждения, если я не утратил верного о себе представления, отнюдь не были основаны на идеале, и, если только я не делаю большой ошибки, ни в моих поступках, ни в моих мыслях нельзя было бы найти какой-либо окраски мистицизма, отличавшего книги, которые я читал. Будучи убежден в этом, я слепо отдался влиянию жены и без колебаний вступил в запутанную сферу ее занятий. И тогда — когда склонившись в раздумье над отверженными страницами, я чувствовал, что отверженный дух загорается во мне, — Морелла клала на мою руку свою холодную руку и собирала в потухшей золе мертвой философии несколько глубоких загадочных слов, которые своим многозначительным смыслом, как огненными буквами, запечатлевались в моей памяти. И часы уходили за часами, я томился рядом с ней и впивал музыку ее голоса, пока, наконец, эта мелодия не окрашивалась чувством страха, и тогда на мою душу падала тень, и я бледнел и внутренне содрогался, внимая таким слишком неземным звукам. И восторг внезапно превращался в ужас, и са-

мое прекрасное делалось самым отвратительным, подобно тому, как Гинном превратился в Геенну<sup>3</sup>.

Было бы бесполезно устанавливать точный характер тех изысканий, которые, будучи навеяны этими старинными томами, являлись в течение такого долгого времени почти единственным предметом моих бесед с Мореллой. Люди, сведущие в том, что может быть названо богословской нравственностью, понимают меня, а люди несведущие все равно поняли бы очень мало. Безумный пантеизм Фихте<sup>4</sup>; видоизмененная *paliggenesis*\* пифагорейцев; и, прежде всего, учение о *Тождестве*, в том виде, как его развивает Шеллинг<sup>5</sup>, — таковы были главные исходные точки рассуждений, представлявшие наибольшую заманчивость для богатой фантазии Мореллы. Как мне кажется, Локк<sup>6</sup> делает верное определение личного тождества, говоря, что оно состоит в самости разумного существа. То обстоятельство, что мы понимаем под личностью мыслящее существо, одаренное разумом, и что мышление постоянно сопровождается сознанием, именно и делает нас *нами самими*, отличая нас этим от других существ, которые мыслят, и давая нам наше личное тождество. Но *principium individuationis*, т. е. представление о том тождестве, которое в самой смерти остается или утрачивается не навсегда, было для меня постоянно вопросом высокого интереса, не столько в силу волнующей и сложной природы его последствий, сколько в силу той особенной возбужденности, с которой Морелла упоминала о нем.

Однако настало время, когда таинственность, отличавшая нрав моей жены, стала угнетать меня, как чары колдовства. Я не мог более выносить прикосновения ее бледных пальцев, не мог слышать грудных звуков ее музыкального голоса, видеть блеск ее печальных глаз. И она знала все это, но не упрекала меня; она как будто сознавала мою слабость или мое безумие, и, улыбаясь, говорила, что это судьба. Она, по-видимому, знала также причину моего постепенного отчуждения от нее, причину, которая для меня самого осталась неизвестной; но она не давала никакого объяснения, никакого намека. И все же она была женщиной, и потому увядала с каждым днем. Наконец, ярко-красные пятна навсегда оставились на ее щеках, и голубые вены выступили на чистой

---

\* Вторичное рождение (*греч.*).

белизне ее лба. И иногда существо мое размягчилось, и вот на мгновение прониклось жалостью, но тотчас же я встречал ее блестящий взгляд, исполненный глубокого значения, и вот уже душа моя смутилась, и меня охватило неопределенное волнение, подобное тому, которое испытывает человек, когда, охваченный головокружением, он смотрит вниз, в какую-нибудь угрюмую и неизмеримую пропасть.

Нужно ли говорить, что я жадно, со страстным нетерпением, ждал того мгновения, когда Морелла умрет? Я ждал; но хрупкий дух цеплялся за свою земную оболочку долгие дни, долгие недели, долгие нестерпимые месяцы, и, наконец, мои истерзанные нервы получили полную власть над моим рассудком, и я приходил в ярость при мысли об отсрочке и, затаив в своем сердце демона, проклинал дни и часы и горькие мгновенья, которые как будто все удлинились и удлинились, по мере того как нежная жизнь Мореллы все тускнела, точно тени умирающего дня.

Но в один из осенних вечеров, когда ветры безмолвно спят в небесах, Морелла подозвала меня к своему изголовью. Над землей лежал густой туман, над водой блистало теплое сиянье, а в лесу среди пышной октябрьской листвы как будто рассыпалась упавшая с небесного свода многоцветная радуга.

— Вот настал день дней, — сказала она, когда я приблизился, — день всех дней — и для жизни и для смерти. Чудесный день для сыновей земли и жизни — и насколько более чудесный для дочерей небес и смерти!

Наклонившись к ее лбу, я поцеловал ее, и она продолжала:

— Я умираю, но я буду жить.

— Морелла!

— Не было дня, когда бы ты мог любить меня — но ту, кем ты в жизни гнушался, ты в смерти будешь обожать.

— Морелла!

— Я говорю тебе, я умираю. Но во мне таится залог той привязанности — о, как она ничтожна! — которую ты чувствовал по отношению ко мне, Морелле. И когда мой дух отойдет, начнет дышать ребенок — твой ребенок и мой, Мореллы. Но дни твои будут днями скорби, которая среди ощущений длится более всех, как среди деревьев дольше, чем

все, живет кипарис. Ибо часы твоего блаженства миновали. И нельзя дважды собирать в жизни радость, как розы Пестума<sup>7</sup> дважды в году. Ты не будешь больше наслаждаться временем, как игрой, но, позабыв о миртах и виноградниках, ты всюду на земле будешь влачить свой саван, как это делают мусульмане в Мекке.

— Морелла! — вскричал я, — Морелла! откуда знаешь ты это? — но она отвернулась от меня, и легкий трепет прошел по ее членам, и так она умерла, и я не слышал ее голоса больше никогда.

Но как она и предсказала, начал жить ее ребенок, ее дочь, которой она дала рождение, умирая, и которая стала дышать лишь тогда, когда мать перестала дышать. И странно росла она, как внешним образом, так и в качествах своего ума, и велико было сходство ее с усопшей, и я любил ее любовью более пламенной, чем та любовь, которую, как думал я, возможно, чувствовал к кому-либо из обитателей земли.

Но лазурное небо этой чистой привязанности быстро омрачилось, и печаль, и ужас, и тоска окутали его как туча. Я сказал, что ребенок странно вырастал как внешним образом, так и в качествах своего ума. О, поистине, странным было быстрое развитие тела, но страшными, — о, страшными! — были взволнованные мысли, которые овладевали мной, когда я наблюдал за ее духовным расцветом. Могло ли это быть иначе, когда я каждый день открывал в представлениях ребенка зрелые силы и способности женщины? Когда слова, исполненные опыта, нисходили с младенческих уст? И когда каждый час я видел, как в ее больших глазах блистала мудрость, и горели страсти, достигшие срока? Когда, говорю я, все это сделалось очевидным для моих уstraшенных чувств, когда я не мог более утаивать этого от собственной души, когда я не мог отбросить от себя представлений, приводивших меня в трепет, нужно ли удивляться, что в мой ум прокрались страшные и беспокойные подозрения, что мысли мои вновь обратились с ужасом к зачарованным сказкам и волнующим помыслам моей погребенной Мореллы? Я утаил от людского любопытства существо, которое судьба мне велела обожать, и в строгом уединении моего жилища со смертельной тоскою следил за всем, что касалось возлюбленной.

И по мере того, как уходили годы, и я глядел день за днем на это святое, и кроткое, и исполненное красноречия лицо, смотрел на эти созревающие формы, день за днем я открывал новые черты сходства между ребенком и матерью, между печальной и умершей. И с каждым часом эти тени сходства все темнели, становились все полнее и определеннее, все более смущали и ужасали своим видом. Если улыбка дочери была похожа на улыбку матери, это я еще мог выносить, но я трепетал, видя, что это сходство было слишком полным *тождеством*. Я не в силах был видеть, что ее глаза были глазами Мореллы, и, кроме того, они нередко смотрели в глубину моей души с той же странной напряженностью мысли, которой были зачарованы глаза Мореллы. И в очертаниях высокого лба, и в локонах ее шелковистых волос, и в бледных пальцах, которые она в них прятала, и в печальной напевности ее речей, и более всего, — о, более всего, — в словах и в выражениях умершей, возрожденных на устах любимой и живущей, я видел много того, что наполняло меня снедающей мыслью и ужасом, — давало пищу для червя, который *не хотел* умереть.

Так минули два пятилетия ее жизни, и дочь моя еще оставалась безымянной на земле. «Дитя мое» и «любовь моя» — таковы были обычные наименования, внушенные чувством отеческой привязанности, а строгая уединенность ее дней устраняла все другие отношения. Имя Мореллы умерло вместе с ней. Я никогда не говорил с дочерью о ее матери, невозможно было говорить. И действительно, в продолжение короткого периода своего существования она не получила никаких впечатлений от внешнего мира, исключая тех немногих, которые были обусловлены тесными границами ее уединенности. Но наконец при моем нервном и возбужденном состоянии обряд крещения представился мне как счастливое освобождение от ужасов моей судьбы. И у купели я колебался, какое выбрать ей имя. И целое множество имен, обозначающих мудрость и красоту, имен древних и новых эпох, моей родной страны и стран чужих, пришло мне на память вместе с многими-многими прекрасными именами, указывающими на благородство, и на счастье, и на благо. Что же подтолкнуло меня тогда возмущать память погребенной покойницы? Какой демон заставил меня произнести тот звук,

который в самом воспоминании всегда отгонял пурпурную кровь от висков к сердцу? Какой злой дух заговорил из потаенных глубин моей души, когда под этими мрачными сводами, среди молчания ночи я прошептал святому человеку это слово — *Морелла*? Кто, как не демон, искажил черты лица моей дочери и покрыл их красками смерти, когда, дрогнув при этом едва уловимом звуке, она обратила свои блестящие глаза от земли к небу, и, упав распростерлась на черных плитах нашего фамильного склепа, ответив «я здесь!».

Явственно, холодно, со спокойной отчетливостью, упали в мою душу эти звуки и, словно расплавленный свинец, понеслись со свистом в пределах моего мозга. Уйдут года — года! — но память об этой эпохе останется навеки! И не был я лишен цветов и виноградных лоз — но цикута<sup>8</sup> и кипарис затемняли меня своею тенью в часы ночи и дня. И я не помнил ни времени, ни места, и звезды моей судьбы поблекли на небесах, и потому земля потемнела, и все земные образы проходили близ меня как улетающие тени, и среди них я видел лишь одну — Мореллу. Ветры, прилетая с небесного свода, наполняли мой слух одним звуком, и рокочущие волны подернутого рябью моря неизменно шептали мне — Морелла. Но она умерла; и собственными руками я снес ее в могилу, и засмеялся долгим и горестным смехом, когда увидел, что не осталось ни малейших следов от первой в том склепе, где я схоронил вторую — Мореллу.

## БОЧКА АМОНТИЛЬЯДО

Тысячу несправедливостей вынес я от Фортунато, как только он умел, но, когда он осмелился дойти до оскорбления, я поклялся отомстить. Однако вы, знакомые с качествами моей души, не предположите, конечно, что я стал *грозить*. *Наконец-то* я должен быть отомщен; этот пункт был установлен положительно — но самая положительность, с которой он был решен, исключала мысль о риске. Я должен был не только наказать, но наказать безнаказанно. Зло не отомщено, если возмездие простирается и на мстителя. Равным образом оно не отомщено, если мститель не дает почувствовать тому, кто сделал зло, что мстит именно он.

Поймите же, что ни единым словом, ни каким-либо поступком я не дал Фортунато возможности сомневаться в моем доброжелательстве. Я продолжал по обыкновению улыбаться ему прямо в лицо, и он не чувствовал, что *теперь* я улыбался при мысли об его уничтожении.

У него была одна слабость, у этого Фортунато, хотя в других отношениях его следовало уважать и даже бояться. Он кичился своим тонким пониманием вин. Не многие из итальянцев обладают способностью быть в чем-нибудь знатоками. По большей части их энтузиазм приспособлен к удобному случаю и к известному моменту, чтобы надуть какого-нибудь британского или австрийского *миллионера*. Что касается картин и драгоценных камней, Фортунато, подобно своим соотечественникам, был шарлатаном, но раз дело шло о старых винах, искренность его была неподдельна. В этом отношении и я не отличался от него существенным образом; я очень наострил в распознавании местных итальянских вин, и всегда при первой возможности делал большие закупки.

Случилось, что в сумерки, под вечер, в самом разгаре карнавальных безумств, я встретился со своим другом. Он приветствовал меня сердечнейшим образом, так как, по-видимому, выпил изрядно. Он был одет шутом. На нем был плотно облегавший его, частью полосатый, костюм, а на голове высился конический колпак с бубенчиками. Как я рад был его видеть! Мне казалось, что я никогда не перестану трясти его руку.

Я сказал ему:

— Ах, дорогой мой Фортунато, что за счастливая встреча! Как отлично выглядите вы сегодня! Но я получил бочку вина, будто бы амонтильядо, и у меня на этот счет сомнения.

— Как? — проговорил он. — Амонтильядо? Целую бочку? Быть не может! В разгар карнавала!

— У меня на этот счет сомнения, — ответил я, — и я был настолько глуп, что заплатил сполна за вино, как за амонтильядо, не посоветовавшись на этот счет с вами. Вас нигде нельзя было найти, а я боялся упустить случай.

— Амонтильядо!

— Да, но я не уверен.

— Амонтильядо!

— Я должен разрешить сомнения.

— Амонтильядо!

— Так как вы куда-то приглашены, я пойду отыщу Лукрези. Если кто-нибудь обладает тонким вкусом — это именно он. Он скажет мне...

— Лукрези не может отличить амонтильядо от хереса.

— Представьте, а есть глупцы, которые говорят, что его вкус равняется вашему.

— Ну, идем!

— Куда?

— К вам, в подвалы.

— Нет, друг мой, я не хочу злоупотреблять вашей добротой. Я вижу, вы куда-то приглашены. Лукрези...

— Никуда я не приглашен, пойдём!

— Нет, друг мой. Вы никуда не приглашены, но я вижу, что вы страшно прозябли. В подвалах ужаснейшая сырость. Они выложены селитрой.

— А, пустяки! Пойдем! Стоит ли обращать внимание на холод... Амонтильядо! Вас надули. А насчет Лукрези могу сказать — он и хереса не отличит от амонтильядо.

Говоря таким образом, Фортунато завладел моей рукой. Я надел черную шелковую маску и, плотно закутавшись в *roquelauré\**, позволил ему увлечь себя к моему палаццо.

Никого из прислуги дома не было, все куда-то скрылись, чтобы хорошенько отпраздновать карнавал. Я сказал им, что вернусь домой не ранее утра, и строго-настрого приказал не отлучаться из дому. Этих приказаний, как я прекрасно знал, было совершенно достаточно, чтобы тотчас же по моем уходе все скрылись.

Я вынул из канделябров два факела, и, давши один Фортунато, направил его через анфиладу комнат ко входу, который вел в подвалы. Я пошел вперед по длинной витой лестнице, и, оборачиваясь назад, просил его быть осторожнее. Наконец, мы достигли последних ступеней и стояли теперь на сырой почве в катакомбах фамилии Монтрезор.

Приятель мой шел нетвердой походкой, и от каждого неверного шага звенели бубенчики на его колпаке.

— Ну, где же бочка? — спросил он.

---

\* Старинный плащ (лат.). — Примеч. пер.

— Дальше, — отвечал я, — но смотрите, вон какие белые узоры на стенах.

Он обернулся и посмотрел мне в глаза своими тусклыми глазами, подернутыми влагой опьянения.

— Селитра? — спросил он наконец.

— Селитра, — ответил я. — Давно ли вы стали так кашлять?

— Кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе!

Бедняжка несколько минут не мог ответить.

— Ничего, — проговорил он наконец.

— Нет, — сказал я решительно, — пойдете назад: ваше здоровье драгоценно. Вы богаты, пред вами преклоняются, вас уважают, вас любят; вы счастливы, как я был когда-то. Вас потерять — это была бы большая потеря. Вот я — дело другое. Пойдете назад; вы захвораете, и я не хочу принимать на себя такую ответственность. Да кроме того, ведь Лукрези...

— Довольно, — сказал он, — кашель это пустяки; я от него не умру. Кашель меня не убьет.

— Верно — вот это верно! — отвечал я, — и правда, я не имел намерения беспокоить вас понапрасну — но вы должны были бы принять меры предосторожности. Вот медок<sup>1</sup>, достаточно будет глотка, чтобы предохранить себя против сырости.

Я отбил горлышко у одной из бутылок, лежавших длинным рядом на земле.

— Выпейте-ка, — сказал я, предлагая ему вино. Он устремил на меня косой взгляд и поднес вино к губам. Затем, помедлив, он дружески кивнул мне головой, и его бубенчики зазвенели.

— Пью, — проговорил он, — за усопших, которые покоятся вокруг нас.

— А я за вашу долгую жизнь.

Он снова взял меня под руку, и мы пошли дальше.

— Обширные подвалы, — проговорил он.

— Монтрезоры, — отвечал я, — представляли из себя семью обширную и многочисленную.

— Я забыл ваш герб...

— Громадная человеческая нога из золота на лазурном фоне. Нога давит извивающуюся змею, которая своими зубами вцепилась ей в пятку.

— И девиз?..

— *Nemo me impune lacessit*\*.

— Отлично, — проговорил он.

Вино искрилось в его глазах, и бубенчики звенели. Мысли мои тоже оживились; медок оказывал свое действие. Проходя мимо стен, состоящих из нагромождений костей вперемежку с бочками и бочонками, мы достигли крайних пределов катакомб. Я остановился снова и на этот раз осмелился взять Фортунато за руку повыше локтя.

— Смотрите, — проговорил я, — селитра все увеличивает. Вон она висит, точно мох. Мы теперь под руслом реки. Капли сырости просачиваются среди костей. Уйдемте, вернемтесь, пока еще не поздно. Ваш кашель...

— Это все пустяки, — сказал он, — пойдете вперед. Но сперва еще один глоток вина. Где тут ваш медок?

Я взял бутылку *Vin de Grave*<sup>3</sup> и, отбив горлышко, подал ему. Он осушил ее всю сразу. Глаза его загорелись диким огнем. Он начал хохотать и бросил бутылку вверх с жестом, значения которого я не понял.

Я посмотрел на него с удивлением. Он повторил движение — очень забавное.

— Вы не понимаете? — спросил он.

— Нет, — отвечал я.

— Так вы, значит, не принадлежите к братству.

— Как?!..

— Вы не масон<sup>4</sup>?

— Да... нет... — проговорил я.

— Вы? Не может быть! Вы — масон?

— Масон, — отвечал я.

— Знак! — проговорил он.

— Вот! — отвечал я, высовывая небольшую лопату из-под складок своего плаща.

— Вы шутите! — проговорил он, отступая на несколько шагов. — Но давайте же ваше амонтильядо.

— Да будет так! — сказал я, пряча лопату под плащ и снова предлагая ему свою руку. Он тяжело оперся на нее. Мы продолжали наш путь в поисках амонтильядо. Мы прошли целый ряд низких сводов, спустились, сделали еще несколь-

---

\* Никто не оскорбит меня безнаказанно<sup>2</sup> (лат.). — *Примеч. пер.*

ко шагов, опять спустились и достигли глубокого склепа, в нечистом воздухе которого наши факелы скорее тлели, нежели светили.

В самом отдаленном конце склепа виднелся другой склеп, менее обширный. Стены его были окаймлены человеческими останками, нагроможденными до самого свода наподобие великих катакомб Парижа<sup>5</sup>. Три стороны этого второго склепа были еще украшены таким образом. С четвертой же кости были сброшены, они в беспорядке лежали на земле, образуя в одном месте таким образом насыпь. В стене, освобожденной от костей, мы заметили еще новую впадину, четыре фута в глубину, три в ширину и шесть или семь в высоту. По-видимому она не была предназначена для какого-нибудь особого употребления, но представлялась промежутком между двумя огромными подпорами, поддерживавшими своды катакомб, и примыкала к одной из главных стен, выстроенных из плотного гранита.

Напрасно Фортунато, поднявши свой оцепенелый факел, пытался проникнуть взглядом в глубину этой впадины. Слабый свет не позволял нам различить ее крайние пределы.

— Идите, — сказал я, — вот здесь амонтильядо! А что касается Лукрези...

— Он невежда, — прервал меня мой друг, неверными шагами устремляясь вперед, между тем как я шел за ним по пятнам. Вдруг он достиг конца ниши и, натолкнувшись на стену, остановился в тупом изумлении. Еще мгновение, и я приковал его к граниту. На поверхности стены были две железные скобки, на расстоянии двух футов одна от другой, в горизонтальном направлении. С одной из них свешивалась короткая цепь, с другой висячий замок. Обвить Фортунато железными звеньями за талию и запереть цепь — было делом нескольких секунд. Он был слишком изумлен, чтобы сопротивляться. Вынув ключ, я отступил на несколько шагов из углубления.

— Проведите рукой по стене, — проговорил я, — вы не можете не чувствовать селитры. Действительно, здесь *очень* сыро. Позвольте мне еще раз *умолять* вас вернуться. Нет? Ну, так я положительно должен оставить вас. Однако предварительно я должен выказать вам все внимание, каким только могу располагать.

— Амонтильядо! — выкрикнул мой друг, еще не успевши оправиться от изумления.

— Точно, — ответил я, — амонтильядо.

Произнеся эти слова, я приступил в груде костей, о которых говорил раньше. Отбросив их в сторону, я вскоре открыл некоторое количество песчанику и известкового раствора и с помощью этих материалов, а также с помощью моей лопаты я живо принялся замуровывать вход в нишу.

Едва я окончил первый ряд каменной кладки, как увидел, что опьянение Фортунато в значительной степени рассеялось. Первым указанием на это был глухой жалобный крик, раздавшийся из глубины впадины. То не был крик пьяного человека. Затем последовало долгое и упорное молчание. Я положил второй ряд камней, и третий, и четвертый: и тогда я услышал бешеное потрясение цепью. Этот шум продолжался несколько минут, и чтобы слушать его с бóльшим удовлетворением, я на время прекратил свою работу и уселся на костях. Когда, наконец, резкое звяканье умолкло, я снова взялся за лопату и без помех окончил пятый, шестой и седьмой ряд. Стена теперь почти восходила в уровень с моей грудью. Я сделал новую остановку и, подняв факелы над каменным сооружением, устремил несколько слабых лучей на фигуру, заключенную внутри.

Целый ряд громких и резких криков, внезапно вырвавшихся из горла прикованного призрака, со страшной силой отшвырнул меня назад. На миг меня охватило колебание — мною овладел трепет. Выхватив шпагу, я начал ощупывать ей углубление: но минута размышленья успокоила меня. Я положил свою руку на плотную стену катакомб и почувствовал полное удовлетворение. Я снова приблизился к своему сооружению. Я отвечал на вопли кричавшего. Я был ему как эхо — я вторил ему — я превзошел его в силе и продолжительности воплей. Да, я сделал так, и крикун умолк.

Была уже полночь, и работа моя близилась к концу. Я довершил восьмой ряд, девятый и десятый. Я окончил часть одиннадцатого и последнего. Оставалось только укрепить один камень и заштукатурить его. Я поднимал его с большим усилием, я уже почти пригнал его к должному положению, но тут из углубления раздался сдержанный смех, от которого дыбом встали волосы на моей голове. Потом послышался пе-

чальный голос, и я с трудом узнал, что он принадлежит благородному Фортунато. Голос говорил:

— Ха-ха-ха! Хе-хе-хе! — вот славная шутка — действительно, это шутка. Посмеемся же мы над ней, когда будем в палатце. Да! да! Славное вино! Да! Да!..

— Амонтильядо! — сказал я.

— Хе! хе! хе! — да, амонтильядо! Но как вы думаете, не поздно теперь? Пожалуй, нас ждут в палатце, синьора Фортунато и все другие? Пойдем!

— Да, — сказал я, — пойдем.

— Во имя Бога, Монтрезор!

— Да, — сказал я, — во имя Бога!

Но на эти слова я тщетно ждал ответа. Мной овладело нетерпение. Я громко позвал:

— Фортунато!

Никакого ответа. Я позвал опять:

— Фортунато!

Никакого ответа. Я просунул один факел через отверстие, оставшееся незакрытым, и бросил его в углубление. Оттуда только зазвенели бубенчики. Сердце у меня сжалось — в катакомбах было так душно. Я поспешил окончить свою работу! Я укрепил последний камень, я заштукатурил его. Против новой кладки я воздвиг старую стену из костей. Прошло столетие, и ни один смертный не потревожил их. *In pace requiescat\**.

## ЧЕЛОВЕК ТОЛПЫ

*Ce grand malheur de ne pouvoir ktre seul.*

*La Bruyere\*\**

Очень хорошо было сказано об одной немецкой книге, что «*es lasst sich nicht lesen*» — буквально, она не позволяет себя читать. Есть тайны, которые не позволяют себя высказать. Люди умирают каждую ночь в своих постелях, судо-

\* В мире да почитет (лат.). — Примеч. пер.

\*\* Это великое несчастье — не иметь возможности быть наедине с самим собой. Лабрюйер<sup>1</sup> (фр.). — Примеч. пер.

рожно сжимая руки у призраков, которые выслушивают их исповедь и смотрят жалобно им в глаза, — умирают с отчаянием в сердце и с конвульсиями в горле по причине чудовищности тайн, которые не допускают, чтобы их раскрыли. Время от времени, увы, человеческая совесть принимает на себя ношу такую страшную и тяжелую, что она может быть сложена только в могиле. И таким образом сущность преступления остается неразоблаченной.

Не так давно, на закате одного из осенних вечеров, я сидел у широкого окна с выступом, в кофейне Д. в Лондоне. В течение нескольких месяцев я был болен, но тогда уже выздоравливал, и, чувствуя прилив возвращающихся сил, находился в одном из тех счастливых расположений духа, которые являются как раз чем-то противоположным скуке — я испытывал острую напряженность чувств, охватывающую нас, когда с наших умственных взоров спадает пелена *as I see the scene* — и когда наэлектризованный разум, настолько живой и наивный ум Лейбница<sup>2</sup> превосходит бессмысленную и пошлую риторику Горгия<sup>3</sup>. Дышать было наслаждение, я извлекал положительное удовольствие даже из того, что является обыкновенно источником страдания. Я чувствовал спокойный, но пылкий интерес решительно ко всему. Держа сигару в зубах и положив на колени газету, я забавлялся в течение большей части послеобеденного времени, то погружаясь в чтение объявлений, то наблюдая смешанную публику, находившуюся в зале, то устремляя внимательные взгляды на улицу через стекла, закоптившиеся от дыма.

Это была одна из самых главных улиц города, и целый день на ней толпились прохожие. Но к наступлению ночи толпа начала увеличиваться с минуты на минуту, и когда все фонари заблестали, мимо двери стали двигаться два густых и беспрерывных потока городского населения. Я никогда раньше не был в таком положении, как в этот особенный момент вечера, и беспокойное море человеческих голов наполняло меня восхитительным ощущением новизны. Наконец я совершенно забыл о том, что делалось в отеле, и всецело погрузился в созерцание зрелища, развертывавшегося за окном.

Сперва мои наблюдения были отвлеченными и обобщающими. Я смотрел на прохожих в их массе и созерцал их лишь

как целое. Вскоре, однако, я перешел к деталям и с большим тщанием стал рассматривать бесконечное различие лиц, одежды, манеры, походки, отдельных черт лица и общего выражения физиономии.

По большей части проходившие имели деловой сдержанно-довольный вид, и, казалось, думали только о том, как бы им пробраться через эту толпу. Они хмурили брови, глаза их быстро перебегали с одного пункта на другой, если кто-нибудь из шедших мимо толкал их, они не выказывали никакого нетерпения, но поправляли свой костюм и спешили вперед. Другие, — группа тоже достаточно значительная, — отличались беспокойностью движений: у них были возбужденные покрасневшие лица, они говорили сами с собой и жестикулировали, как бы чувствуя себя в одиночестве уже по одному тому, что их окружала густая толпа. Встречая помеху на своем пути, они внезапно переставали бормотать про себя, но удваивали свою жестикуляцию и дожидались с рассеянной и преувеличенной улыбкой, пока не проходили лица, их задержавшие. Если их толкали, они низко кланялись тем, кто их толкнул, и выказывали крайнее смущение. В этих двух обширных группах не было ничего особенно отличительного, кроме черт, только что отмеченных. Их костюм принадлежал к тому роду, который самым точным образом определяется выражением «приличный». Это, без сомнения, были дворяне, купцы, стряпчие, поставщики, лица, торгующие процентными бумагами — евпатриды<sup>4</sup> и, можно сказать, ходячие общие места — люди праздные и люди, очень занятые собственными делами, ведущие их на собственный страх и риск. Они ненадолго приковали мое внимание.

Каста клерков выделялась неотрицаемым образом; и здесь я заметил два резко отличающихся разряда. Одни — мелкие приказчики сомнительных домов, где сбываются краденые вещи, молодые джентльмены в тесных костюмах с блестящими сапогами, с напомаженными волосами, с надменным выражением губ. Если оставить в стороне известную живость движений, которая, за недостатком лучшего слова, может быть названа развязностью аршинника, манеры этих господ представлялись мне точным воспроизведением того, что было совершенством хорошего тона го-

да полтора тому назад. Они блистали оборовами барской спеси; таково, как мне думается, лучшее определение данного класса.

Что касается разряда старших клерков солидных фирм, *steady old fellows\**, относительно их тоже нельзя было ошибиться. Они выделялись своим костюмом, своими черными или коричневыми панталонами, сделанными очень комфортабельно, белыми галстуками и жилетами, большими башмаками, имевшими внушительный вид, и плотными чулками или штиблетами. У всех были несколько облысевшие головы, причем правое ухо, от долгией привычки держать перо, странным образом оттопыривалось. Я заметил, что они всегда снимали и надевали шляпу обеими руками, что всегда у них были часы с короткой золотой цепью основательного старинного образца. Отличительной их чертой являлась аффектация благопристойности, если только на самом деле может быть аффектация такая почтенная.

Было также в этой толпе достаточное количество некоторых индивидуумов блистательного вида; я легко узнал в них представителей расы карманных воришек, которыми кишат все большие города. Я рассматривал этих благовоспитанных господ с большим любопытством и отказывался понять, каким образом джентльмены могут считать их настоящими джентльменами. Обширность их манжет и выражение чрезвычайного прямодушия должны были бы выдавать их сразу.

Еще легче было узнать записных картежников, которых я усмотрел немало. Костюмы их были весьма разнообразны, начиная с отчаянного *thimble-rig bully\*\** с бархатным жилетом, с галстуком *fantasia\*\*\**, с позолоченными цепочками, с филигранными пуговицами, и кончая тщательно упрощенным костюмом пастора, меньше всего другого дающим повод для подозрений. Все они одинаково отличались темноватым цветом лица, какой-то туманной тусклостью глаз и бледностью сжатых губ. Были, кроме того, еще две черты, по кото-

---

\* Старых добрых приятелей (англ.). — Примеч. пер.

\*\* Задира, хвастун (англ.). — Примеч. пер.

\*\*\* Фантазия, т. е. галстук очень ярких цветов (англ.). — Примеч. пер.

рым я мог всегда узнать их: низкий сдержанный тон разговора и упорная наклонность большого пальца оттягиваться таким образом, что он составлял почти прямой угол с другими пальцами. Весьма часто в одной компании с этими господами я замечал известную кучку лиц, несколько отличающуюся от них своими привычками; но это были птицы такого же полета. Это ловкие пройдохи, джентльмены, кормящиеся своей изворотливостью. Предпринимая завоевательный поход против публики, они разделяются на два батальона: одни принадлежат к типу денди, другие к типу человека военного. У первых отличительная черта — длинные волосы и постоянная улыбка; у вторых — длинный сюртук и нахмуренный вид.

Нисходя по ступенькам того, что называется хорошим обществом, я нашел более мрачные и глубокие темы для размышления. Тут были еврей-разносчики со вспыхивающими ястребиными глазами и с лицом, которое каждой своей чертой говорило об унижении отверженца; дерзкие профессиональные попрошайки, бросавшие сердито-укоризненные взгляды на нищих лучшего типа, которых только отчаяние могло выгнать на улицу, окутанную ночью, просить подаяния; дряхлые, трясущиеся инвалиды, которые, чувствуя на себе неукоснительную руку смерти, пробирались неверными шагами через толпу и каждому заглядывали в лицо умоляющим жалобным взглядом, как бы стараясь уловить случайное утешение, найти утраченную надежду; скромные молодые девушки, возвращавшиеся после долгой и поздней работы в свой бесприютный угол, и отворачивающиеся скорее с горечью, чем с негодованием, от взглядов наглецов, избежать с которыми прямого соприкосновения они не могли; продажные женщины всех видов и возрастов: безусловная красавица в первом расцвете женственности, напоминавшая статую, дописанную Лукианом<sup>5</sup>, извне — паросский мрамор, внутри — нечистая мерзость; прокаженная в лохмотьях, гнусная и безвозвратно потерянная; старая ведьма, морщинистая, намазанная и увешанная разными украшениями, вся — последний порыв к молодости; полуребенок с несозревшими формами, но от долгого соучастия уже набивший себе руку в приемах ремесла; недорослая ученица, снедаемая жадным желанием

стать вровень со старшими в доблестях порока; пьяницы, бесчисленные и неопишуемые, в заплатанных лохмотьях, шатающиеся из стороны в сторону, испускающие нечленораздельное бормотанье, с тусклыми и подбитыми глазами, другие в костюмах хоть и грязных, но еще целых, с толстыми чувственными губами, с прямодушными красноватыми лицами, с некоторой неуверенной заносчивостью в манерах, другие, одетые в платье, которое когда-то было очень доброкачественным и которое даже теперь было вычищено самым тщательным образом, — люди, шедшие неестественно-упругими, твердыми шагами, но с лицом страшно бледным, с глазами отвратительно-дикими и красными, — идя через толпу, они цеплялись дрожащими пальцами за все, что подвертывалось им под руку. И потом все эти разносчики, торгующие пирогами, носильщики, выгрузчики угля, трубочисты, шарманщики, бродяги, показывающие обезьян, и продавцы песен, те, которые торгуют теми, которые поют; оборванные ремесленники и истощенные рабочие всякого рода — и все, исполненные шумной и беспорядочной живости, которая оскорбляла слух своими резкими диссонансами и представляла для глаза ранящую картину.

По мере того как ночь становилась более глубокой, для меня становился более глубоким интерес того зрелища, которое развертывалось перед моими глазами; ибо не только общий характер толпы существенно изменился: ее более благородные черты постепенно стирались; часть населения, отличавшаяся наибольшей порядочностью, мало-помалу удалялась, и более грубые элементы выступали более рельефно, по мере того как поздний час выманил всякого рода низость из ее логовища. Но кроме того лучи газовых фонарей, сперва слабые, когда они боролись с сияньем умирающего дня, теперь, наконец, стали яркими и озаряли все предметы искрящимся и пышным светом. Все кругом было мрачно, но лучезарно, как то эбеновое дерево, с которым сравнивали слог Тертуллиана<sup>6</sup>.

Странные световые эффекты очаровали меня, заставляя внимательно рассматривать отдельные лица; и хотя быстрота, с которой этот мир лучистых теней пробегал перед окном, мешала мне устремить пристальный взгляд на то или другое лицо, тем не менее, благодаря моему особенному мыслитель-

ному состоянию, я, казалось, нередко мог прочесть даже в эти краткие мгновения историю долгих лет.

Прижавшись лицом к стеклу, я изучал таким образом толпу, как вдруг мне бросилась в глаза одна физиономия (старого, дряхлого человека, лет шестидесяти пяти или семидесяти), — физиономия, которая сразу поразила и приковала все мое внимание по причине совершенно невиданной идиосинкразии<sup>7</sup> ее выражения. Никогда раньше не случилось мне наблюдать что-либо, напоминающее это выражение хотя бы отдаленным образом. Я хорошо помню, что, когда я увидел это лицо, у меня тотчас же мелькнула мысль, что если бы Ретш<sup>8</sup> видел его, он, конечно, предпочел бы это выражение тем художественным эффектам, с помощью которых он старался воплотить образ дьявола. Пытаясь в течение короткого мгновенья, сопровождавшего этот беглый взгляд, проанализировать сколько-нибудь общее впечатление, полученное мной, я почувствовал, что в моем уме смутно и противоречиво возникли представления о громадной умственной силе, об осторожности, скаредности, алчности, хладнокровии, коварстве, кровожадности, о торжестве, веселости, о крайнем ужасе, о напряженном и бесконечном отчаянии. Меня точно кто-то толкнул, пробудил, очаровал. «Что за безумная история, — сказал я самому себе, — запечатлелась в этом сердце!» Меня охватило страстное желание не терять этого человека из виду — узнать о нем какую-нибудь подробность. Наскоро накинув пальто, схватив мою шляпу и трость, я бросился на улицу и стал толкаться через толпу в том направлении, в котором, как я видел, пошел этот старик, уже успевший исчезнуть. С некоторыми затруднениями мне удалось, наконец, увидеть его. Я приблизился и стал следовать за ним очень близко, но с большими предосторожностями, чтобы не возбудить его внимания.

Теперь я мог с удобством изучить его наружность. Он был небольшого роста, очень тонок и на вид очень слаб. На нем было грязное и оборванное платье; но когда время от времени он входил в полосу яркого блеска, я мог заметить, что его белье, хотя и засаленное, было хорошего качества; и, если мое зрение не обмануло меня, я увидел, как через прореху плаща, тщательно застегнутого и очевидно купленного из вторых рук, сверкнул бриллиант и кинжал. Эти наблюде-

ния еще более усилили мое любопытство, и я решил следовать за стариком всюду, куда бы он ни пошел.

Была уже глубокая ночь, и над городом повис густой влажный туман, вскоре разрешившейся тяжелым и упорным дождем. Перемена погоды оказала на толпу странное действие: все кругом снова зашумело, над толпой вырос целый лес зонтиков, волнение, давка и смутный гул удесятились. Что касается меня, я не особенно беспокоился о дожде — во мне крылась застарелая лихорадка, для которой сырость была какой-то усладой, правда, несколько опасной. Завязавши рот платком, я продолжал свой путь. В продолжение получаса старик с трудом пробирался по людной улице; и я шел почти рядом с ним, боясь потерять его из виду. Так как он ни разу не оглядывался, то, естественно, не замечал меня. Вскоре он перешел на перекрестную улицу; хотя и здесь толпилось очень много народу, все же она была не так загромождена, как та главная, которую он только что оставил. В его движениях, во всем его виде произошла в это время неоспоримая перемена. Он шел более медленно и менее уверенно — как бы не имея определенной цели. Без всякой видимой нужды он несколько раз переходил дорогу. И давка все еще была настолько велика, что я каждый раз, когда он менял дорогу, должен был идти за ним по пятам. Почти целый час бродил незнакомец по этой длинной и узкой улице, толпа постепенно редела, и число прохожих сделалось приблизительно таким же, какое около полудня можно видеть на Broadway\* близ парка — так велика разница между лондонским населением и населением наиболее людного американского города. Следующий поворот привел нас к северу, который был ярко освещен и кишел жизнью. К старику вернулся его прежний вид. Он склонил голову на грудь, между тем как глаза его дико смотрели из-под нахмуренных бровей во все стороны, на окружающую его толпу. Он упорно продолжал идти вперед. Однако я был удивлен, видя, что, обогнув сквер, он возвратился на прежнее место и пошел тем же путем. Я был еще более удивлен, видя, что он повторил эту прогулку несколько раз — причем однажды чуть не поймал меня в моем занятии, сделав быстрый поворот.

---

\* Бродвей (англ.). — *Примеч. ред.*

Таким образом он прошел еще часть, и прохожие теснили нас уже гораздо меньше. Дождь падал неумолимо; в воздухе распространился холод; каждый спешил к себе домой. С нетерпеливым жестом старик перешел на соседнюю улицу, сравнительно пустынную. Около четверти мили он почти бежал по ней с проворством, которого я никак не мог предполагать в таком престарелом существе, я едва мог следовать за ним. Через несколько мгновений мы достигли людного и обширного базара, с отдельными уголками которого старик, по-видимому, был отлично знаком; здесь к нему опять вернулся его прежний вид, и он бесцельно начал бродить то там, то здесь среди покупателей и продавцов.

Целые полтора часа, или около того, мы ходили по этой площади, и я должен был принимать крайние меры предосторожности, чтобы не отстать от него и в то же время не возбудить его внимания. К счастью, на мне были резиновые калоши, и я мог двигаться совершенно бесшумно. Не было ни одного мгновения, когда бы он заметил, что я слежу за ним. Он переходил из лавки в лавку, ничего не покупал, ни с кем не говорил ни слова и смотрел на все выставочные вещи пристальным, диким и каким-то отсутствующим взглядом. Я был изумлен до крайности его поведением и твердо решил, во что бы то ни стало не выпускать его из виду, пока тем или иным путем не удовлетворю своего любопытства.

Громкий бой, раздавшийся на башне, возвестил одиннадцать часов, и публика быстро очистила базар. Один лавочник, закрывая ставни, толкнул незнакомца локтем, и в то же мгновение я увидел, как по его телу пробежала дрожь. Он бросился на улицу, с тоскливым беспокойством огляделся кругом и потом с невероятной быстротой побежал по разным пустынным и извилистым переулкам, пока, наконец, мы еще раз не достигли большой улицы, откуда начали свой путь — той улицы, на которой находилась кофейня Д. Однако улица эта имела теперь совершенно иной вид. Правда, газ по-прежнему ярко озарял ее; но дождь падал с каким-то бешенством, и только редкие прохожие виднелись на ней. Старик побледнел. Угрюмо он сделал несколько шагов по улице, которая еще так недавно была усеяна оживленной толпой, потом, с тяжелым вздохом, он пошел по направлению к реке,

и, следуя разными окольными путями, достиг наконец одного из главных театров. Там только что окончилось представление, и публика густой массой выходила из дверей. Я увидал, как незнакомец открыл рот, точно он хотел свободно вздохнуть, точно он хотел окунуться в толпу: но, как мне показалось, напряженная мука, искажавшая его черты, до известной степени улеглась. Голова его снова упала на грудь; он имел теперь тот же самый вид, как в первый момент, когда я его увидал. Я заметил, что он пошел по той стороне, где скопился главный поток уходивших зрителей, — но, как бы то ни было, я был не в силах понять его причудливого упрямства.

По мере того как он шел, публика редела и к нему вернулись его прежние колебания и тревожное состояние. Некоторое время он следовал очень близко за кучкой каких-то горластых людей, человек десять — двенадцать; но один за другим они расходились, и только трое остались вместе в узком и глухом переулке. Старик остановился и на минуту погрузился в размышление; потом, со всеми признаками возбуждения, он быстро пошел по дороге, приведшей нас к самому краю города, к местностям, сильно отличавшимся от тех, по которым мы только что проходили. Это был наиболее шумный квартал Лондона, где все отмечено гнусной печатью самой удручающей нищеты и самой безвозвратной преступности. Под тусклым светом случайных фонарей предстали деревянные дома, высокие, ветхие, изъеденные червями, угрожающие своим падением, в таком прихотливом беспорядке, что проходы едва виднелись между ними. Вместо правильных мостовых лежали там и сям камни, брошенные неудачу, и в промежутках росла густая трава. Омерзительная нечисть гноилась в застоявшихся каналах. Все кругом было окутано безутешностью. Но по мере того как мы шли, мало-помалу и совершенно явственно стали воскресать звуки человеческой жизни, и наконец показались кишашие толпы самих погибших отверженцев лондонского населения; пошатываясь, они брели в разные стороны. И дух незнакомца снова вспыхнул, как лампа, готовая сейчас угаснуть. Еще раз он устремился вперед легкими шагами. Вдруг при повороте на нас упал яркий блеск, мы находились перед одним из приго-

родных храмов Невоздержности — перед дворцом нечистого Джина.

Близился рассвет, но злосчастные пьяницы все еще толпились, входя через блестящую дверь и выходя из нее. Почти вскрикнув от радости, старик с силой проник туда, принял свой первоначальный вид и стал разгуливать среди толпы туда-сюда без всякой видимой цели. Однако ему не долго пришлось заниматься этим; давка около двери, через которую тесными кучками выходили посетители, показывала, что хозяин закрывал свое заведение ввиду позднего часа. Что-то более острое, нежели отчаяние, увидел я на лице этого странного существа, за которым следил так упорно. Но старик без колебаний продолжал свой путь. С бешеной энергией пошел он назад по своим следам и достиг самого сердца могучего Лондона. Он бежал долго и быстро, и я следовал за ним, охваченный необычайным изумлением, решившись ни за что не прекращать своего наблюдения, теперь всецело поглотившего меня. Пока мы шли, взошло солнце, и когда мы достигли самой людной части этого громадного города, достигли улицы, где находилась кофейня Д., там царил людская суета, вряд ли меньшая, чем та, что была накануне вечером. И посреди ежеминутно возрастающего движения я долго еще преследовал странного старика. Но он все бродил взад и вперед и в продолжение целого дня не выходил из смутной давки, загромождавшей эту улицу. И когда приблизились тени второго вечера, я почувствовал смертельную усталость, и, внезапно встав перед бродягой, пристально глянул ему в лицо. Он не заметил меня и продолжал свое торжественное шествие, а я, прекратив свою погоню, погрузился в размышление. «Этот старик, — сказал я наконец самому себе, — является первообразом и гением глубокого преступления. Он не в силах быть наедине с самим собой. Это — человек толпы. Было бы тщетно гнаться за ним, ибо я ничего больше не узнаю ни о нем, ни о его поступках. Худшее в мире сердце является книгой более тяжеловесной, чем „Hortulus Animae“\*, и быть может, это одно из великих благодеяний Господа, что такая книга не позволяет себя прочесть — „es Lasst sich nicht lesen“».

---

\* См. Грюннингер И. «Садик души с прибавлением некоторых маленьких речей» — Примеч. автора.

## КОЛОДЕЦ И МАЯТНИК

Impia tortorum longas hic turba furores  
Sanguinis innocui, non satiata, aluit.  
Sospite nunc patria, fracto nunc funeris antro,  
Mors ubi dira fuit vita salusque patent\*.

*Четверостишие, составленное для надписи  
на воротах рынка, который предполагалось  
соорудить на месте Якобинского клуба  
в Париже<sup>1</sup>*

Я был болен, болен смертельно, благодаря этим долгим невыносимым мукам, и когда, наконец, они сняли с меня оковы и позволили мне сидеть, я почувствовал, что лишаюсь сознания. Приговор, страшный смертный приговор — это были последние слова, которые с полной отчетливостью достигли до моего слуха. Потом звуки инквизиторских голосов как бы слились в один неопределенный гул, раздававшийся точно во сне. Он пробудил в моей душе представление о круговращении, быть может, потому в воображении моем он сочетался с глухим рокотом мельничного колеса.

Это ощущение продолжалось лишь несколько мгновений, и вот я больше не слышал ничего. Но зато я *видел*, и с какой страшной преувеличенностью! Я видал губы судей, облаченных в черные одеяния. Эти губы показались мне белыми — белее чем лист бумаги, на котором я сейчас пишу, — и тонкими, тонкими до забавности, в них было напряженное выражение суровости, непреклонной решительности и мрачного презрения к человеческим пыткам. Я видел, что приговор, который был для меня роковым, еще исходил из этих губ. Я видел, как они искажались, произнося смертельные слова. И видел, как они изменялись, выговаривая по слогам мое имя, и меня охватил трепет, потому что звука не было слышно. Опьяненный ужасом, я видел, кроме того, в течение нескольких мгновений, легкие, едва заметные колебания

---

\* Нечестивая толпа мучителей, неудовлетворенная, утоляла здесь долговременную жажду невинной крови. Ныне же при благоденствии отечества, ныне по разрушении пещеры погребения, жизнь и спасение открыты там, где была зловещая смерть (лат.). — *Примеч. пер.*

черной обивки, окутывавшей стены зала, и потом мой взгляд был привлечен семью высокими свечами, стоявшими на столе. Сперва они казались мне милосердными, они представились мне белыми стройными ангелами, которые должны были принести мне спасение: по тотчас же моей душой овладело чувство смертельного отвращения, и я затрепетал всеми фибрами моего существа, как бы прикоснувшись к проволоке гальванической батареи<sup>2</sup>, и ангелы сделались бессмысленными призраками с головами из пламени, и я увидел, что от них мне нечего ждать. И тогда в мое воображение подобно богатой музыкальной ноте прокралась мысль о том, как должно быть сладко отдохнуть в могиле. Эта мысль овладела мною незаметно, и, по-видимому, прошло много времени, прежде чем я вполне оценил ее, но именно тогда, когда дух мой наконец начал должным образом ощущать и лелеять ее, лица судей как по волшебству исчезли передо мной; высокие свечи превратились в ничто; их пламя погасло совершенно; нахлынула черная тьма; все ощущения, как показалось мне, поглощались быстрым бешеным нисхождением, точно душа опускалась в ад. Затем молчание, тишина, и ночи стали моей вселенной.

Я лишился чувств; однако же я не могу сказать, чтобы всякая сознательность была утрачена. Что именно осталось, я не буду пытаться определить, не решусь даже описывать; но не все было утрачено. В самом глубоком сне не все утрачивается! В состоянии бреда — не все! В обмороке — не все! В смерти — не все! Даже в могиле *не все* утрачивается! Иначе нет бессмертия для человека. Пробуждаясь от самого глубокого сна, мы порываем тонкую как паутина ткань *какого-то* сна. И секунду спустя (настолько, быть может, воздушна была эта ткань) мы уже не помним того, что нам снилось. Когда мы возвращаемся к жизни после обморока, в наших ощущениях есть две степени: во-первых, ощущение умственного или духовного существования; во-вторых, ощущение существования телесного. Весьма вероятно, что если бы, достигнув второй степени, мы могли вызвать в нашей памяти впечатления первой, мы нашли бы эти впечатления красноречиво переполненными воспоминаниями о бездне, находящейся по ту сторону нашего бытия. И эта бездна — что она такое? Каким образом, в конце концов, можем мы отличить ее тени от

тений могильных? Но если впечатления того, что я назвал первой степенью, не могут быть воссозданы в памяти произвольно, не приходят ли они к нам после долгого промежутка сами собою, между тем как мы удивляемся, откуда они пришли? Кто никогда не лишался чувств, тот не принадлежит к числу людей, которые видят в пылающих углях странные чертоги и безумно знакомые лица; он не видит, как в воздухе витают печальные видения, которые зримы лишь немногим; он не будет размышлять подолгу об аромате какого-нибудь нового цветка; его ум не будет заморожен особенным значением какого-нибудь музыкального ритма, который раньше никогда не привлекал его внимания.

Среди неоднократных и тщательных попыток вспомнить о том, что было, среди упорных стараний уловить какой-нибудь луч, который озарил бы кажущееся небытие, охватившее мою душу, были мгновенья, когда мне казалось, что попытки мои увенчаются успехом; были краткие, очень краткие, промежутки, когда силой заклинания я вызывал в своей душе воспоминанья, и рассудок мой, бывший трезвым в этот второй период, мог отнести их только к периоду кажущейся бессознательности. Эти неясные тени, выросшие в моей памяти, заставляют меня смутно припомнить о высоких фигурах, которые подняли меня и молчаливо понесли вниз — все ниже — все ниже, — пока наконец мною не овладело отвратительное головокружение, при одной только мысли о бесконечном нисхождении. Эти неясные тени говорят также о смутном ужасе, охватившем мое сердце, благодаря тому, что это сердце было так неестественно спокойно. Затем следует чувство внезапной неподвижности, оцепеневшей все кругом, как будто бы те призраки, которые несли меня (чудовищный кортеж!), в своем нисхождении вышли за границы безграничного и стали, побежденные трудностью своей задачи. Затем я припоминаю ощущение чего-то плоского и сырого; и после этого все делается *безумием* — безумием памяти, бьющейся в запретном.

Совершенно внезапно в душу мою опять проникли ощущения звука и движения — это бешено билось мое сердце, и слух воспринимал звук его биения. Потом следует промежуток, впечатление которого совершенно стерлось. Потом опять звук, и движение, и прикосновение к чему-то, и ощу-

шение трепета, захватывающее меня всецело. Потом сознание, что я жив, без всякой мысли — состояние, продолжавшееся долго. Потом совершенно внезапно *мысль*, и панический ужас, и самая настойчивая попытка понять, в каком положении я нахожусь. Потом страстное желание ничего не ощущать. Потом быстрое возрождение души, и попытка, удавшаяся сделать какое-нибудь движение. И вот у меня встает ясное воспоминание о допросе, о судьях, о черной стенной обивке, о приговоре, о недомогании, об обмороке. Затем полное забвение всего, что было дальше; об этом мне удалось вспомнить позднее, лишь смутно и с помощью самых упорных попыток.

До сих пор я не открывал глаз. Я чувствовал, что лежу на спине, без оков. Я протянул свою руку, и она тяжело упала на что-то сырое и твердое. В таком положении я держал ее несколько долгих минут, стараясь в то же время понять, где я и *что же* со мною произошло. Мне очень хотелось открыть глаза, но я не смел. Я боялся первого взгляда на окружающие предметы. Не то меня пугало, что я могу увидеть что-нибудь страшное, меня ужасала мысль, что я могу не увидеть *ничего*. Наконец, с безумным отчаянием в сердце, я быстро открыл глаза. Увы! Мои худшие мысли оправдались. Вечная ночь окутывала меня своим мраком. Я почувствовал, что задыхаюсь. Непроницаемость мрака, казалось, давила и удушала меня. Воздух был невыносимо тяжел. Я все еще лежал неподвижно и старался овладеть своим рассудком. Я припоминал приемы, к которым всегда прибегала инквизиция, и исходя отсюда, старался вывести заключение относительно моего настоящего положения. Приговор был произнесен, и мне представлялось, что с тех пор прошел очень большой промежуток времени. Однако ни на одно мгновение у меня не появилось мысли, что я действительно мертв. Подобная догадка, несмотря на то, что мы читаем об этом в романах, совершенно несовместима с реальным существованием; — но где я был и что было со мной? Приговоренные к смерти, как я знал, погибали обыкновенно на *auto-da-fé*<sup>3</sup>, и один из осужденных был сожжен как раз в ту ночь, когда мне был объявлен приговор. Не был ли я снова брошен в тюрьму для того, чтобы дожидаться следующей казни, которая должна была последовать не ранее как через несколько месяцев? Я видел

ясно, что этого не могло быть. Жертвы претерпевали немедленную кару. Кроме того, в моей тюрьме, как и везде в Толедо<sup>4</sup> в камерах для осужденных, был каменный пол, и в свете не было совершенно отказано.

Страшная мысль внезапно охватила меня, кровь отхлынула к сердцу, и на некоторое время я опять погрузился в бесчувственность. Придя в себя, я тотчас же вскочил на ноги, судорожно трепеща всем телом. Как сумасшедший, я стал махать руками над собой и вокруг себя по всем направлениям. Я не ощущал ничего; но меня ужасала мысль сделать хотя бы шаг, я боялся встретить стены *гробницы*. Я весь покрылся потом, он висел у меня на лбу крупными холодными каплями. Наконец пытка неизвестности сделалась невыносимой, и я сделал осторожное движение вперед, широко раскрыв руки и с напряжением выкатывая глаза, в надежде уловить хотя бы слабый проблеск света. Я сделал несколько шагов, но кругом была только пустота и тьма. Я вздохнул свободнее. По-видимому, было несомненно, что меня, по крайней мере, не ожидала участь самая ужасная.

И в то время как я продолжал осторожно ступать вперед, на меня нахлынули беспорядочной толпой воспоминания, множество смутных рассказов об ужасах, совершающихся в Толедо. О здешних темницах рассказывались необыкновенные вещи — я всегда считал их выдумками, — вещи настолько странные и страшные, что их можно повторять только шепотом. Было ли мне суждено погибнуть от голода в этом черном подземелье или, быть может, меня ожидала участь еще более страшная? Я слишком хорошо знал характер моих судей, чтобы сомневаться, что в результате должна была явиться смерть, и смерть — как нечто изысканное по своей жестокости. Единственно, что меня занимало или мучило, — это мысль, в какой форме придет смерть и когда.

Мои протянутые руки наткнулись, наконец, на какое-то твердое препятствие. Это была стена, по-видимому, каменная, — очень гладкая, скользкая и холодная. Я пошел вдоль ее, ступая с крайней осторожностью, внушенной мне старинными рассказами. Однако этот прием не доставил мне никакой возможности исследовать размеры моей тюрьмы; я мог обойти стену и вернуться к месту, откуда я пошел, не замечая этого, настолько однообразна была эта стена. Тогда я по-

тянулся за ножом, который был у меня в кармане, когда я был введен в инквизиционный зал, но он исчез. Платье было переменено на халат из грубой саржи. У меня была мысль воткнуть лезвие в какую-нибудь небольшую трещину и таким образом прочно установить исходную точку. Трудность, однако, была самая пустячная, хотя при расстройстве моей умственной деятельности она показалась мне сначала непреодолимой. Я оторвал от халата часть обшивки и положил этот кусок во всю длину к стене, под прямым углом. Идя на ощупь и обходя тюрьму кругом, я не мог не дойти до этого обрывка, совершив полный круг. Так, по крайней мере, я рассчитывал, но я не принял во внимание ни возможных размеров тюрьмы, ни собственной слабости. Почва была сырая и скользкая. Неверными шагами я шел некоторое время вперед, потом споткнулся и упал. Крайнее утомление побудило меня остаться в этом распростертом положении, и вскоре мною овладел сон.

Проснувшись и протянув свою руку вперед, я нашел около себя хлеб и кружку с водой. Я был слишком истощен, чтобы размышлять, и с жадностью принялся пить и есть. Вскоре после этого я опять принялся огибать тюрьму и с большими трудностями пришел, наконец, к куску саржи. До того мгновения, как я упал, я насчитал пятьдесят два шага, а после того, как продолжил свое исследование, мне пришлось сделать еще сорок восемь шагов, прежде чем я дошел до обрывка. В общем, значит, получилось сто шагов, и, допуская, что два шага составляют ярд, я предположил, что тюрьма простирается на пятьдесят ярдов в своей окружности. Я натолкнулся, однако, на множество углов и, таким образом, не мог узнать, какую форму имеет свод, мне показалось только, что это именно свод.

Мне, конечно, мало было пользы делать подобные изыскания: никакой надежды, разумеется, не могло быть с этим связано, но смутное любопытство побуждало меня продолжать их. Оставив стену, я решился пересечь площадь тюрьмы. Сперва я ступал с крайними предосторожностями, потому что хотя пол и был сделан, по-видимому, из солидного материала, тем не менее он отличался предательской скользкостью. Потом, однако, я стал смелее и уже ступал твердо, без колебаний, пытаюсь пересечь тюрьму по прямой линии,

насколько это было для меня возможно. Я сделал таким образом шагов десять — двенадцать, как вдруг оставшаяся часть полуоборванной обшивки халата запуталась у меня между ног. Я наступил на нее и упал прямо лицом вниз.

В замешательстве падения я не мог сразу заметить одного поразительного обстоятельства, которое, тем не менее, не замедлило привлечь мое внимание через несколько секунд, пока я еще продолжал лежать распростертый во всю длину. Дело в том, что мой подбородок находился на полу тюрьмы, но губы и верхняя часть головы не прикасались ни к чему, хотя, по-видимому, они были на более низком уровне, чем подбородок. В то же самое время мой лоб, казалось, был окутан каким-то клейким испарением, и своеобразный запах гниющих грибков поразил мое обоняние. Я протянул перед собою руку и содрогнулся, увидя, что упал на самом краю круглого колодца, размеров которого я, конечно, не мог определить в ту минуту. Ощупывая каменную кладку над самым краем, я смог оторвать небольшой обломок и бросил его в пропасть. В течение нескольких секунд я вслушивался в звуки камня, ударившегося о стену пропасти в своем нисхождении; наконец, он мрачно булькнул в воду, и этот звук был повторен громким эхом. В тот же самый момент послышался другой звук, точно надо мной мгновенно открылась и закрылась дверь, между тем как слабый отблеск света быстро скользнул во тьме и так же быстро исчез.

Я ясно увидел, какая участь была приготовлена для меня, и поздравил себя со счастливой случайностью, благодаря которой избежал ее. Еще шаг, и меня не было бы в живых; и эта смерть отличалась именно таким характером, что я считал пустой выдумкой, когда о ней говорилось в рассказах, касавшихся инквизиции. Для жертв ее тирании была избираема смерть или с самыми жестокими физическими муками, или с самыми отвратительными нравственными ужасами. Мне было предназначено последнее. Благодаря долгим страданиям нервы мои были напряжены до такой степени, что я содрогался при звуках собственного голоса и сделался субъектом, во всех смыслах подходящим для ожидавших меня пыток.

Трепеща всем телом, я на ощупь пошел назад к стене — решаясь скорее умереть там, нежели подвергаться опасности

познакомиться с ужасами колодцев, целое множество которых моя фантазия нарисовала мне вокруг меня в разных местах тюрьмы. При другом состоянии рассудка я имел бы мужество окончить свои беды сразу, бросившись в одну из пучин: но тогда я был самым жалким из трусов. Я не мог также забыть того, что читал об этих колодцах — именно, что *внезапная* смерть не составляла задачи их чудовищного устройства.

Душевное возбуждение продержало меня в состоянии бодрствования в течение долгих часов; но наконец я опять заснул. Проснувшись, я нашел около себя, как прежде, хлеб и кружку с водой. Меня мучила страшная жажда, и я выпил всю воду сразу. Она, должно быть, была смешана с каким-нибудь составом, потому что едва я ее выпил, как мною овладела непобедимая сонливость. Я погрузился в глубокий сон — в сон, подобный смерти. Как долго он продолжался, я не могу, конечно, сказать; но когда я опять раскрыл глаза, окружающие предметы были видимы. Благодаря странному сернистому сиянию, происхождение которого я сперва не мог определить, я мог видеть размеры и внешние очертания тюрьмы. Я сильно ошибся касательно ее величины; вся окружность стен не превосходила двадцати пяти ярдов. Это обстоятельство на несколько минут наполнило меня целым множеством напрасных тревог; поистине напрасных — ибо при страшных обстоятельствах, под властью которых я находился, могло ли быть что-нибудь менее важное, нежели размеры моей тюрьмы? Но душа моя странным образом услаждалась пустяками, и я ревностно пытался объяснить себе свою ошибку. Наконец, истина внезапно открылась мне. Когда я в первый раз предпринял свои исследования, я насчитал пятьдесят два шага до того времени, как упал; я должен был тогда находиться шага за два от куска саржи; в действительности я уже почти обошел весь свод. Потом я уснул и, проснувшись, пошел назад по пройденному пути, таким образом решил, что окружность тюрьмы была вдвое более против своих действительных размеров. Смутное состояние моего рассудка помешало мне заметить, что, когда я начал свое исследование, стена была у меня слева, а когда кончил, она была справа.

Я обманулся также и относительно формы тюрьмы. Ощупывая дорожку, я нашел много углов и отсюда вывел представление о большой неправильности. Так велика власть полной темноты, когда она оказывает свое действие на человека, пробуждающегося от летаргии или от сна! Углы представляли из себя не что иное, как некоторые небольшие понижения уровня или ниши, находившиеся на неровных промежутках друг от друга. Общая форма тюрьмы представляла из себя четырехугольник. То, что я считал каменной кладкой, оказалось железом, или каким-нибудь другим металлом, это были огромные пласты, сшивки которых, или смычки, обуславливали понижение уровня. Вся поверхность этой металлической загородки была осквернена отвратительными гнусными эмблемами, изобретениями замогильных монашеских суеверий. Фигуры угрожающих демонов в форме скелетов и другие образы, более реальные в своем ужасе, были всюду разбросаны по стенам, стены были изуродованы ими. Я заметил, что очертания этих искаженных призраков были довольно явственными, но что краски как будто были запятнаны действием сырой атмосферы. Я мог, кроме того, рассмотреть теперь и пол, он был из камня. В самом центре зиял круглый колодец, от пасти которого я ускользнул; но во всей тюрьме он был единственным.

Все это я видел неясно и с большими усилиями, потому что мое внешнее положение сильно изменилось за время сна. Я лежал теперь на спине во всю длину на каком-то деревянном срубе. Самым тщательным образом я был привязан к нему ремнем, похожим на священнический пояс. Проходя кругом, он облекал мои члены и все тело, оставляя на свободе только голову, а также левую руку, настолько, что я при помощи долгих усилий мог доставать пищу с глиняного блюда, стоявшего около меня на полу. К своему ужасу, я увидел, что кружка была отодвинута в сторону. Я говорю — к своему ужасу, потому что меня терзала невыносимая жажда. Одним из намерений моих мучителей было, очевидно, усилить эту жажду: пища, находившаяся на блюде, была сильно пересолена.

Устремив свои взоры кверху, я стал рассматривать потолок тюрьмы. Он простирался надо мною на высоте тридцати или сорока футов и был по строению похож на боковые сте-

ны. Все мое внимание было приковано чрезвычайно странной фигурой, находившейся в одном из его панно. Это была фигура Времени, как она обыкновенно изображается, с той только разницей, что вместо косы она держала орудие, которое при беглом взгляде я счел нарисованным изображением громадного маятника, в роде тех, какие мы видим на старинных часах. Было, однако, нечто во внешнем виде этого снаряда, что меня заставило взглянуть на него пристальнее. В то время как я смотрел на маятник, устремляя взгляд прямо над собою (ибо он находился, действительно, как раз надо мной), мне почудилось, что он движется. В следующее мгновение мое впечатление оправдалось. Он покачивался коротким размахом, и, конечно, медленно. Я следил за ним в течение нескольких минут отчасти с чувством страха, но более с чувством удивления. Утомившись, наконец, я отвернулся и обратил свой взгляд на другие предметы, находившиеся в тюрьме.

Легкий шум привлек мое внимание, и, посмотрев на пол, я увидел несколько огромных крыс. Они только что вышли из колодца, который был мне виден справа. В то самое время, как я смотрел на них, они поспешно выходили целой стаей и сверкали жадными глазами, привлеченные запахом говядины. Мне стоило больших усилий и большого внимания, чтобы отогнать их.

Прошло, вероятно, полчаса, а быть может, и час (я мог только приблизительно судить о времени), прежде чем я опять устремил свой взгляд вверх. То, что я увидел тогда, поразило и смутило меня. Размах маятника увеличился в протяжении приблизительно на ярд. Естественным следствием этого была также большая скорость его движения. Но что главным образом исполнило меня беспокойством, это мысль, что он заметно *опускается*. Я заметил теперь, — нечего говорить, с каким ужасом, — что нижняя его конечность представляла из себя полумесяц из блестящей стали, приблизительно около фута в длину от одного изогнутого острия до другого; изогнутые острия обращались вверх, а нижний край был, очевидно, остер как бритва. Как бритва, полумесяц представлялся также массивным и тяжелым, причем он суживался, заостряясь вверх от выгнутого края и составляяверху нечто солидное и широкое. Он был привешен на мас-

сивном бронзовом стержне и, рассекая воздух, издавал *свистящий* звук.

Я не мог больше сомневаться относительно участи, которую приготовила для меня изысканная жестокость монахов. Агентам инквизиции сделалось известным, что я увидел колодец — *колодец*, ужасы которого были умышленно приготовлены для такого смелого и мятежного еретика, — *колодец*, являющийся первообразом ада и фигурирующий в смутных легендах как Ultima Thule<sup>5</sup> всех инквизиционных кар. Падения в этот колодец я избежал благодаря простой случайности, и я знал, что делать из самих пыток ловушку и неожиданность было одной из важных задач при определении всех этих загадочных казней, совершавшихся в тюрьмах. Раз я сам избежал колодца, в дьявольский план совсем не входило сошвырнуть меня туда, ибо таким образом (в виду отсутствия выбора) меня ожидала иная смерть, более короткая! *Более короткая!* Я чуть не улыбнулся, несмотря на свои пытки, при мысли о таком применении этого слова.

К чему рассказывать о долгих-долгих часах ужаса, более чем смертельного, в продолжение которых я считал стремительные колебания стали! Дюйм за дюймом — линия за линией — она опускалась еле заметно — и мгновения казались мне веками — она опускалась все ниже, все ниже и ниже! Шли дни — быть может, прошло много дней, — прежде чем стальное острие стало качаться надо мною настолько близко, что уже навевало на меня свое едкое дыхание. Резкий запах стали поразил мое обоняние. Я молился — я теснил небо мольбами: пусть бы она опускалась скорее. Мною овладело безумное бешенство, я старался изо всех сил приподняться, чтобы подставить грудь кривизне этой сабли. И потом я внезапно упал, совершенно спокойный, и лежал, и с улыбкой смотрел на смерть в одежде из блесток, как ребенок смотрит на какую-нибудь редкостную игрушку.

Последовал новый промежуток полного отсутствия чувствительности; он был недолог, потому что когда я опять вернулся к жизни, в нисхождении маятника не было заметного изменения. Но, быть может, этот промежуток времени был и долог, ведь я знал, там были демоны, они выследили, что я лишился чувств, они могли задержать колебание маятника для продления услады. Кроме того, опомнившись, я почувс-

твовал себя чрезвычайно слабым — о, невыразимо слабым и больным, как будто я страдал от долгого изнурения. Однако и среди пыток такой агонии человеческая природа требовала пищи. С тягостным усилием я протянул руку, насколько мне позволяли мои оковы, и захватил объедки, оставшиеся мне от крыс. Едва я положил один из кусков в рот, как в голове моей быстро мелькнула полуувявственная мысль радости и надежды. Но на что *мне* было надеяться? Как я сказал, это была полуувявственная мысль — у человека возникает много мыслей, которым не суждено никогда быть законченными. Я почувствовал что-то радостное, что-то связанное с надеждой; но я почувствовал также, что эта вспышка мысли, едва блеснув, угасла. Напрасно я старался восстановить ее, закончить. Долгие страдания почти совсем уничтожили самые обыкновенные способности рассудка. Я был слабоумным — я был идиотом.

Колебание маятника совершалось в плоскости, составлявшей прямой угол с моим вытянутым в длину телом. Я видел, что полумесяц должен был пересечь область моего сердца. Он должен был перетереть саржевый халат и снова вернуться и повторить свою операцию — и снова вернуться — и снова вернуться. Несмотря на страшно-широкий размах (футов тридцать или больше) и свистящую силу нисхождения, которая могла бы рассечь даже эти железные стены, все, что мог совершить качающийся маятник в течение нескольких минут, — это перетереть мое платье. И дойдя до этой мысли, я остановился. Дальше я не смел идти в своих размышлениях. Внимание мое упорно медлило — как будто, остановившись на данной мысли, я мог тем самым остановить нисхождение стали именно *здесь*. Я старался мысленно определить характер звука, который произведет полумесяц, рассекая мой халат, — определить особенное напряженное впечатление, которое будет произведено на мои нервы трением ткани. Я размышлял обо всех этих пустяках, пока они, наконец, не надоели мне.

Ниже — все ниже сползал маятник. Я испытывал бешеное наслаждение, видя контраст между медленностью его нисхождения и быстротой бокового движения. Вправо — влево — во всю ширину — с криком отверженного духа! Он пробирается к моему сердцу крадущимися шагами тигра!

Попеременно я хототал и выл, по мере того, как надо мной брала перевес то одна, то другая мысль.

Ниже — неукоснительно, безостановочно ниже! Он содрогался на расстоянии трех дюймов от моей груди! Я метался с бешенством, с яростью, стараясь высвободить левую руку. Она была свободна только от кисти до локтя. Я мог протянуть ее настолько, чтобы с большими усилиями дотянуться до блюда и положить кусок в рот; только это было мне даровано. Если бы я мог разорвать оковы выше локтя, я схватил бы маятник, чтобы задержать его. Я мог бы с таким же успехом попытаться задержать лавину!

Ниже — неудержимо — все ниже и ниже! Я задышался, я бился при каждом колебании. Я весь съеживался при каждом его взмахе. Глаза мои следили за вращением вверх и вниз, с жадностью самого бессмысленного отчаяния; когда маятник опускался вниз, они сами собою закрывались, как бы объятые судорогой, хотя смерть должна была бы принести мне облегчение, о, какое несказанное! И между тем я трепетал каждым нервом при мысли о том, какого ничтожного приближения этого орудия будет достаточно, чтобы сверкающая сталь вонзилась в мою грудь. Это *надежда* заставляла мои нервы трепетать, понуждала мое тело съеживаться. Это была *надежда* — которая торжествует и в застенке — шепчется с приговоренным к смерти даже в тюрьмах инквизиции.

Я увидел, что десяти или двенадцати колебаний будет достаточно, чтобы сталь пришла в непосредственное соприкосновение с моим платьем, и как только я это заметил, мой ум внезапно был охвачен безутешным спокойствием отчаяния. В первый раз, в течение многих часов, или, быть может, дней я *думал*. Я понял теперь, что ремень или пояс, связывавший меня, был *сплошным*. Я был опутан не отдельными узлами. Первый удар полумесяца, подобного бритве, должен был пройти поперек какой-нибудь части ремня и разделить его настолько, что я мог с помощью левой руке распутать его и откинуть от тела. Но как в этом случае должна быть ужасна близость стали! Последствие самых легких усилий насколько смертоносно! И кроме того, допустимо ли, чтобы приспешники моих мучителей не предвидели такой возможности и не позаботились сами насчет ее? Было ли это вероятно,

чтобы ремень пересекал мою грудь в пределах колебания маятника? Боясь, что моя слабая и, по-видимому, последняя надежда окажется напрасной, я приподнял голову, настолько, чтобы отчетливым образом осмотреть свою грудь. Ремень плотно облегал мои члены и тело по всем направлениям, *исключая предметов пути убийственного полумесяца.*

Едва я откинул голову назад, на прежнее место, как в уме моем что-то вспыхнуло, шевельнулось что-то неопределенное; мне хотелось бы назвать это чувство половинным бесформенным обрывком той мысли об освобождении, на которую я прежде указывал, и лишь половина которой промелькнула у меня в душе своими неясными очертаниями, когда я поднес пищу к пылающим губам. Теперь вся мысль была налицо — слабая, едва теплящаяся, едва уловимая, но все же цельная. Охваченный энергией отчаяния, я тотчас же приступил к ее исполнению.

Вот уже несколько часов около низкого сруба, на котором я лежал, суетились крысы — не суетились, а буквально кишели. Дикие, дерзкие, жадные, они смотрели на меня блистающими красными глазами, как будто только ждали, когда я буду неподвижен, чтобы тотчас же сделать меня своей добычей. «К какой пище, — подумал я, — привыкли они здесь, в колодеце?»

Несмотря на все мои старания отогнать их, они пожрали на блюде почти всю пищу, и там остались только объедки. Рука моя привыкла покачиваться вокруг блюда, и в конце концов это однообразное машинальное движение перестало оказывать на них какое-нибудь действие. Прожорливые твари нередко вонзали свои острые зубы в мои пальцы. Оставшимися частицами маслянистого и пряного мяса я тщательно натер ремень везде, где только мог до него дотянуться; потом, приподняв свою руку от пола, я задержал дыхание.

В первое мгновенье алчные животные были изумлены и утрачены переменной — испуганы прекращением движения. Они бешено ринулись прочь; многие спрятались в колодец. Но это продолжалось один миг. Я не напрасно рассчитывал на их прожорливость. Видя, что я был неподвижен, две-три крысы рискнули вскочить на сруб и начали обнюхивать ремень. Это было как бы сигналом для всей стаи. Крысы беше-

но бросились вперед. Из колодца устремились новые толпы. Они цеплялись за сруб, они взбирались на него, они сотнями бегали по моему телу. Размеренное движение маятника нимало их не тревожило. Избегая его ударов, они ревностно занялись уничтожением ремня. Они лезли одна на другую, они кишели на мне, собираясь все новыми горами. Они судорожно ползали по моему горлу; их холодные губы встречались с моими; я наполовину задохся под этой живой кучей; грудь моя наполнилась отвращением, которому на свете нет имени, и сердце похолодело от ощущения чего-то тяжелого и скользкого. Но еще минута, и я почувствовал, что сейчас все кончится. Я совершенно явственно ощущал ослабление моих пут. Я знал, что уже в нескольких местах ремень был разъединен. Охваченный сверхчеловеческой энергией, я *еще* лежал.

Не ошибся я в своих расчетах, не тщетно ждал. Наконец я почувствовал, что теперь я *свободен*. Ремень лохмотьями свешивался с моего тела. Но уже удар маятника теснил мою грудь. Он уже перетер саржевый халат. Он уже разрезал холст внизу. Еще дважды качнулся маятник вправо и влево, и чувство острой боли дернуло меня за каждый нерв. Но миг спасенья настал. Я махнул рукой, и мои спасители стремительно бросились прочь. Осторожно отодвигаясь вбок, медленно съеживаясь и оседая, я выскользнул из объятий перевязи и из пределов губительного лезвия. Хоть на миг, наконец я *был свободен*.

Свободен! — и в когтях инквизиции! Едва я отошел от моего деревянного ложа пытки и ужаса, едва я ступил на каменный пол тюрьмы, как движение дьявольского орудия прекратилось, и я увидел, что оно было втянуто вверх через потолок действием какой-то невидимой силы. Это наблюдение наполнило мое сердце отчаянием. Не было сомнения, что каждое мое движение выслеживали. Свободен! Я ускользнул от смерти, являвшейся в форме страшной пытки, чтобы испытать терзания каких-нибудь новых пыток, еще более страшных, чем смерть. При этой мысли я судорожно выкатывал глаза и бессмысленно смотрел на железные стены, стоявшие непроницаемыми преградами. Что-то необыкновенное произошло в тюрьме — какая-то очевидная и странная перемена, которую я сначала не мог должным обра-

зом определить. В течение нескольких минут размышления, похожего на сон и исполненного трепета, я тщетно старался разобраться в бессвязных догадках. Тут я впервые понял, откуда происходил сернистый свет, освещавший тюрьму. Он проходил сквозь трещину, приблизительно в полдюйма ширины, простиравшуюся кругом всей тюрьмы и находившуюся в основании стен, которые, таким образом, были совершенно отделены от пола. Я попытался, но конечно напрасно, посмотреть сквозь расщелину.

Когда я приподнялся, тайна перемены, происшедшей кругом, сразу предстала моим взорам. Я видел, что хотя очертания фигур, находившихся на стенах, были в достаточной степени явственны, краски представлялись, однако же, поблекшими и неопределенными. Эти краски начали теперь блистать самым поразительным резким светом, блеск с минуты на минуту все усиливался и придавал стенным фантомам такой вид, который мог бы потрясти нервы и более крепкие, чем мои. Везде кругом, где раньше ничего не было видно, блистали теперь дьявольские глаза; они косились на меня с отвратительной, дикой напряженностью, они светились мертвенным огнистым сиянием, и я напрасно старался принудить себя считать этот блеск нереальным.

*Нереальным!* Мне достаточно было втянуть в себя струю воздуха, чтобы мое обоняние ощутило пар, исходивший от раскаленного железа! Удушливый запах наполнил тюрьму! Блеск, все более яркий, с каждым мигом укреплялся в глазах, взиравших на мои пытки! Багряный цвет все более и более распространялся по этим видениям, по этим разрисованным кровью ужасам. Я едва стоял на ногах! Я задыхался! Не оставалось ни малейших сомнений касательно намерений моих мучителей — о, безжалостные палачи! о, ненавистные изверги! Я отшатнулся от пылавшего металла, отступил к центру тюрьмы. Перед ужасом быть заживо сожженным мысль о холодных водах колодца наполнила мою душу бальзамом. Я бросился к его губительному краю. Я устремил свой напряженный взгляд вниз. Блеск, исходивший от раскаленного свода, освещал самые отдаленные уголки. Но один безумный миг — и душа моя отказалась понять значение того, что я видел. Наконец, это *нечто* вошло в мою душу — втеснилось, ворвалось в нее — огненными буквами за-

печатлелось в моем трепещущем уме. О, дайте слов, дайте слов, чтобы высказать все это! — какой ужас! — о, любой ужас, только не этот! С криком я отстранился назад от края колодца — и, закрыв лицо руками, горько заплакал.

Жар быстро увеличивался, и я опять взглянул вверх, охваченный лихорадочной дрожью. Вторичная перемена произошла в тюрьме, и теперь эта перемена очевидно касалась *ее формы*. Как и прежде, я сначала напрасно пытался определить, в чем состояла перемена, или понять, откуда она происходила. Но я недолго оставался в неизвестности. Инквизиторская месть спешила, будучи раздражена моим вторичным спасением, и больше уже нельзя было шутить с Властителем Ужасов. Тюремная камера представляла из себя четырехугольник. Я видел, что два железных угла этого четырехугольника были теперь острыми — два, понятно, тупыми. Страшная перемена быстро увеличивалась, причем раздавался глухой, стонущий гул. В одно мгновение тюрьма приняла форму косоугольника. Но перемена не остановилась на этом — я не надеялся, что она на этом остановится, я даже не желал, чтобы она остановилась. Я обнял бы эти красные стены, я хотел бы прижать их к груди своей, как одежду вечного покоя. «Пусть смерть, — говорил я, — пусть приходит какая угодно смерть, только не смерть от утопления!» Безумец! как я мог не догадываться, что раскаленное железо именно и должно было загнать меня *в колодец*? Разве я мог противиться его раскаленности? Или, если бы это было так, разве я мог противиться его давлению? А косоугольник все сплющивался и сплющивался, у меня не было больше времени для размышлений. Его центр и, конечно, его самая большая широта приходились как раз над зияющей пучиной. Я отступал назад — но сходящиеся стены безостановочно гнали меня вперед. Наконец, для моего обожженного и корчившегося тела оставался не более как дюйм свободного пространства на тюремном полу. Я уже не боролся, и агония моей души проявлялась только в одном громком, долгом и последнем крике отчаяния. Я почувствовал, что колеблюсь на краю колодца, — я отвернул свои глаза в сторону.

Там, где-то в вышине, послышался гул спорящих людских голосов! Раздался громкий звук, точно возглас многих

труб! Послышался резкий грохот, точно от тысячи громовых ударов! Огненные стены откинулись назад! Чья-то рука схватила мою руку, когда, теряя сознание, я падал в пучину. То была рука генерала Лассалья<sup>6</sup>. Французская армия вошла в Толедо. Инквизиция была в руках своих врагов.

## ВИЛЬЯМ ВИЛЬСОН

Что будет говорить об этом *совесть*,  
Суровый призрак, — бледный мой двойник?

В. Чемберлен. «Фаронида»<sup>1</sup>

Да будет мне позволено называться в настоящее время Вильямом Вильсоном. Чистая бумага, лежащая теперь передо мной, не должна быть осквернена моим настоящим именем: оно более чем в достаточной степени уже послужило для моей семьи источником презрения, ужаса и отвращения. И разве возмущенные ветры не распространили молву о беспримерной низости этого имени до самых отдаленных уголков земного шара? О, несчастный отверженец, самый погибший из отверженцев! Разве ты не мертв для земли навсегда? Не мертв для ее почестей, для ее цветов, для ее золотых упований? И разве между твоими надеждами и небом не висит вечная гуча, густая, мрачная и безграничная?

Я не хотел бы, если бы даже и мог, записать теперь на этих страницах рассказ о моих последних годах, о годах невыразимой низости и неизгладимых преступлений. Этот период моей жизни внезапно нагромоздил такую массу всего отвратительного, что теперь моим единственным желанием является только — определить начало такого падения. Люди обыкновенно делаются низкими постепенно. С меня же все добродетельное спало мгновенно, как плащ. Совершив гигантский прыжок, я перешел от испорченности сравнительно заурядной к чудовищной извращенности Гелиогабала<sup>2</sup>. Пусть же мне будет позволено рассказать, как все это произошло благодаря одной случайности, благодаря одному единственному событию. Смерть приближается, и тени, ей предшествующие, исполнили мою душу своим благотельным влиянием. Проходя по туманной долине, я томлюсь же-

ланием найти сочувствие; мне почти хочется сказать, что я жажду вызвать сострадание в сердцах братьев-людей. Мне хотелось бы заставить их верить, что я был до известной степени рабом обстоятельств, лежащих за пределами человеческого контроля. Мне хотелось бы, чтобы, рассматривая все, что я намерен сейчас рассказать, они нашли для меня маленький оазис *фатальности* среди пустыни заблуждений. Я желал бы, чтобы они признали (чего они не могут не признать), что, хотя много было в мире искушений, никогда раньше человек не был искушаем *таким образом*, во всяком случае не пал *таким образом*. Не оттого ли, может быть, что он никогда так не страдал? На самом деле, не жил ли я во сне? И не умираю ли я теперь жертвою ужаса и тайны самой странной из всех безумных сновидений, когда-либо существовавших под луной?

Я потомок расы, темперамент которой, легко возбудимый и богатый воображением, всегда обращал на себя внимание; и в раннем моем детстве я не раз доказал, что у меня фамильный характер. По мере того как я вырастал, наследственные черты развивались все с большей силой, делаясь весьма часто источником серьезных неприятностей для моих друзей, и источником положительного ущерба для меня. Я становился своенравным, отдавался самым странным капризам и делался жертвой самых непобедимых страстей. Мои родители, слабохарактерные и угнетаемые природными недостатками, подобными моим, могли в очень малой степени пресечь дурные наклонности, развивавшиеся у меня. Несколько слабых и дурно направленных попыток, сделанных ими, окончились полным фиаско и, естественно, послужили для моего окончательного торжества. Отныне мой голос сделался в доме законом, и, находясь в том возрасте, когда немногие из детей оставляют свои помочи, я был предоставлен руководительству моей собственной воли, и во всем, кроме имени, сделался господином всех своих поступков.

Первое воспоминание о моей школьной жизни связано с большим древним зданием в стиле времен Елизаветы, находящимся в одном из туманных селений Англии, где было множество гигантских сучковатых деревьев и где все дома отличались большой древностью. И правда, это почтенное, старое селение было чудесным местом, умиротворяющим

дух и похожим на сновидение. Я ощущаю теперь в воображении освежительную прохладу этих тенистых аллей, вдыхаю аромат тысячи кустарников и снова исполняюсь трепетом необъяснимого наслаждения, слыша глухие глубокие звуки церковного колокола, каждый час возмущающего своим угрюмым и внезапным ревом тишину туманной атмосферы, где мирно дремлет вся украшенная зубцами, готическая колокольня.

Чувство наслаждения в той степени, на какую я еще способен теперь, сразу охватывает меня, когда я останавливаюсь воспоминанием на мельчайших подробностях школьной жизни со всеми ее маленькими треволнениями. Мне, погруженному в злополучие — увы, слишком реальное, — вероятно, будет прощено, что я ищу утешения, хотя бы слабого и непрочного, в перечислении разных ничтожных деталей. Кроме того, будучи крайне обыкновенными и даже смешными, они приобретают в моем воображении двойную ценность, ибо связаны с тем временем и местом, когда я получил первое предостережение судьбы, с тех пор уже окутавшей меня такой глубокой тенью. Так пусть же идут воспоминания.

Как я сказал, дом был стар и неправилен по своему строению. Он занимал большое пространство, и весь был окружен высокой и плотной кирпичной стеной, наверху которой был положен слой извести и битого стекла. Этот оплот, достойный тюремного здания, составлял границу наших владений. За пределы его мы выходили только три раза в неделю: во-первых, каждую субботу после обеда, когда в сопровождении двух приставников мы могли в полном составе делать небольшую прогулку по окрестным полям, и, во-вторых, в воскресенье, когда в одном и том же формальном порядке мы ходили на утреннюю и на вечернюю службу в местную церковь. Пастор этой церкви был начальником в нашей школе. С каким глубоким чувством удивления и смущенности смотрел я обыкновенно на него с нашей отдаленной скамьи, когда, медленными и торжественными шагами, он всходил на кафедру. Неужели этот почтенный человек с лицом таким елейно-благодарным и с париком таким строгим, громадным и так тщательно напудренным, в одеянии таком блестящем и так священнически волнующемся, — неужели он тот

же самый человек, который только что с сердитой физиономией и в платье, запачканном нюхательным табаком, применял с линейкой в руке драконовские законы школьного кодекса? О, гигантский парадокс, слишком чудовищный, чтобы допускать разгадку!

В одном из углов массивной стены хмурилась еще более массивная дверь. Она была покрыта заклепками, снабжена железными засовами, а сверху были вделаны зазубренные гвозди. Что за непобедимое ощущение глубокого страха внушала она! Эта дверь не открывалась никогда, исключая трех периодических случаев, уже упомянутых; и тогда в каждом взвизгивании ее могучих петель мы находили избыток таинственного, целый мир ощущений, вызывающих торжественные замечания или еще более торжественные размышления.

Обширная загородка была неправильна по форме, в ней было много обширных углублений. Три или четыре такие углубления представляли из себя место для игр. Это было ровное пространство, покрытое мелкой твердой дресвой<sup>3</sup>. Я прекрасно помню, что здесь не было ни деревьев, ни скамеек, ни чего-нибудь другого в этом роде. Разумеется, это пространство находилось позади дома. А перед фасадом была небольшая лужайка, засаженная буксом и другими деревцами, но по этому священному месту мы проходили только при самых экстренных случаях, как, например, при первом вступлении в школу или при окончательном удалении из нее, или же иногда в тех случаях, если какой-нибудь родственник или друг присылал за нами, и мы весело отправлялись домой на Святки или на летнюю вакацию.

Но дом, дом! — какое причудливое зрелище представляло из себя это древнее здание! Мне оно представлялось поистине замком чар! Поистине, в нем конца не было разным переходам и самым непостижимым подразделениям. Положительно трудно было сказать с определенностью в ту или другую минуту, на каком именно этаже вы находитесь. Из каждой комнаты в другую непременно было три-четыре ступеньки. Затем неисчислимо было количество этих боковых отделений, невозможно было понять, как они сплетались между собою и, соединяясь, возвращались к себе, так что самые точные наши представления о целом здании не очень от-

личались от наших представлений о бесконечности. В продолжение моего пятилетнего пребывания здесь я никогда не был способен с точностью удостовериться, в каком именно отдаленном уголке находилась спальня, предназначенная для меня и для других восемнадцати — двадцати моих соотарищей.

Классная комната была самой большой в доме, — быть может, даже, как я тогда думал, самой большой в целом мире, — чрезвычайно узкая, длинная, угрюмо-низкая, с остроконечными готическими окнами и дубовым потолком. В отдаленном углу, невольно внушающем страх, была четырехугольная загородка, футов в восемь или десять: здесь находилось *sanctum*\*, здесь, в часы занятий, заседал наш принципал, достопочтенный доктор Брэнсби. Это было солидное сооружение, с массивными дверями; мы согласились бы скорее погибнуть, претерпев *la peine forte et dure*\*\* , нежели открыть эту дверь в отсутствие «*dominie*»\*\*\*. В других углах комнаты были два подобных же помещения, правда, гораздо менее чтимые, но все-таки достаточно страшные. Именно, в одном углу находилась кафедра учителя «древних языков», в другом кафедра учителя «английского языка и математики». Пересекая комнату во всевозможных направлениях, всюду были рассеяны скамейки и пюпитры, черные, старинные и изношенные временем, заваленные отчаянным множеством истерзанных книг, и до такой степени разукрашенные инициалами, именами, забавными фигурами и разными другими отметками ножа, что первоначальная форма давно минувших дней была совершенно утрачена. В одном из крайних пунктов комнаты находилось огромное ведро с водой, а в другом — часы ужасающих размеров.

Заклученный в массивных стенах этого почтенного заведения, я провел, могу сказать, без скуки и без отвращения,

\* Sanctum — святилище (лат.). — Примеч. ред.

\*\* La peine forte et dure — букв. от фр. «сильное и продолжительное мучение». Вид пыток, применявшихся к лицам, которые отказывались давать показания. На грудь человека устанавливали доску и укладывали камни, постепенно увеличивая давление. — Примеч. ред.

\*\*\* Dominie — наставник, педагог (лат.). — Примеч. ред.

все третье пятилетие моей жизни. Плодотворный детский ум не нуждается в богатом внешнем мире, чтобы работать и развлекаться; монотонная школьная жизнь, по-видимому, такая унылая, была исполнена гораздо более сильных возбуждений, чем те улады, которые в более зрелой юности я извлекал из сладострастия, или те возбуждения, которые я в период полной возмужалости находил в преступлениях. Однако я думаю, что мое первоначальное духовное развитие было далеко не ординарным и даже чрезмерным. События первых дней существования обыкновенно очень редко оставляют у людей какие-нибудь определенные впечатления, которые могли бы сохраниться до зрелого возраста. Все это приобретает характер туманной тени — делается смутным неопределенным воспоминанием — превращается в еле явственный отблеск слабых радостей и фантазмагорических страданий. Не так было со мной. Я должен был в детстве чувствовать с энергией мужчины то, что я нахожу теперь глубоко запечатлевшимся в моей душе, так резко и глубоко, что я мог бы сравнить эти впечатления с надписями, вытисненными на старинных карфагенских медалях.

И однако же, на самом деле — если становиться на повседневную точку зрения — о чем тут в сущности вспоминать! Утреннее пробуждение, призыв к ночному сну, уроки, предварительные репетиции, периодический отдых и прогулки, игры, забавы, ссоры и интриги — все это, вызванное в памяти точно колдовством, увлекает меня к целому миру ощущений, к миру, богатому разными случайностями, впечатлениями, возбуждением самым страстным и разнообразным. «Oh, le bon temps, que ce siecle de fer!»<sup>4</sup>

Будучи исполнен энтузиазма, обладая натурой пылкой и властной, я очень скоро выделился из среды товарищей и мало-помалу вполне естественным порядком приобрел верховенство надо всеми, кто не был значительно старше меня, — надо всеми, исключая только одного. Я разумею одного товарища, который хотя и не был связан со мной родственными отношениями, однако имел то же самое имя и ту же самую фамилию, — обстоятельство, правда, мало замечательное, ибо несмотря на благородное происхождение, я носил одно из тех заурядных имен, которые, по-видимому на правах давности, сделались с незапамятных времен общим

достоянием толпы. Поэтому я и назвал себя в данном повествовании Вильямом Вильсоном — вымышленное наименование, не очень отличающееся от действительного. Только один мой однофамилец из всех товарищей, составлявших, говоря школьным языком, «нашу партию», осмеливался соперничать со мной в классных занятиях, в играх и раздорах, отказывался верить безусловно моим утверждениям и подчиняться моей воле, решался в самых разнообразных отношениях вмешиваться в сферу моей неограниченной диктатуры. А если есть на земле действительно безмерный деспотизм, — то это именно деспотизм властолюбивого детского ума, когда он соприкасается с менее энергическими умами сотоварищей.

Мятежническое поведение Вильсона было для меня источником величайших затруднений, тем более что, несмотря на браваду, с которой я публично относился к нему и к его претензиям, втайне я чувствовал, что боюсь его, и не мог не замечать, что равенство со мной, которое он поддерживал так легко, было доказательством его истинного превосходства, ибо мне стоило непрерывных усилий оставаться не побежденными. Однако это превосходство — или даже это равенство — не было известно никому, кроме меня; наши товарищи, по какой-то необъяснимой слепоте, по-видимому, даже и не подозревали о нем. Действительно, соперничество Вильсона, его сопротивление и, в особенности, его наглое и упорное вмешательство в мои планы было столько же утонченным, сколько скрытым. Он, казалось, был совершенно лишен также и честолюбия, побуждавшего меня стремиться к превосходству и страстной энергии ума, дававшей мне к этому возможность. Можно было предположить, что в своем соперничестве он руководился единственно капризным желанием противоречить мне, удивлять или унижать меня, хотя были минуты, когда я не мог не заметить со смутным чувством изумления приниженности и раздражения, что он примешивал к своим оскорблениям и к своему упорному желанию противоречить совершенно неподходящую и в высшей степени досадную учтивость. Я мог приписать такое странное поведение только одному, а именно: я видел в этом результат того крайнего самодовольства, который позволяет себе вульгарный тон покровительства и превосходства. Быть

может, эта последняя черта в поведении Вильсона вместе с тождеством наших имен и с случайным поступлением в школу в один и тот же день, была причиной того, что среди старших учеников школы распространилось мнение, будто мы — братья. Ученики старших классов вообще не входят особенно подробно в дела младших товарищей. Я раньше сказал, или должен был бы сказать, что Вильсон не был связан родством с моей семьей, хотя бы в самой отдаленной степени. Но во всяком случае, если бы мы *были* братьями, мы должны были бы быть близнецами: на самом деле, оставив заведение доктора Брэнсби, я случайно узнал, что мой соименник родился 19 января 1813 года, и нужно сказать, что данное совпадение несколько удивительно, так как я родился именно в этот же день.

Может показаться странным, что, несмотря на постоянную тревогу, которую причиняли мне соперничество Вильсона и его нестерпимая манера во всем мне противоречить, я не мог заставить себя питать к нему ненависть. Правда, между нами почти ежедневно возникала какая-нибудь ссора, причем, отдавая мне публично пальму первенства, он умел тем или иным способом дать мне почувствовать, что это *он* ее заслуживает; но чувство гордости с моей стороны и чувство истинного достоинства — с его держали нас постоянно в таких отношениях, что мы «говорили друг с другом»; в то же время в наших темпераментах было очень много черт настоящего сродства, вызывавшего во мне такое чувство, которому, быть может, только наше положение помешало превратиться в дружбу. Трудно на самом деле определить или хотя бы описать мои настоящие чувства по отношению к нему. В них было много чего-то пестрого и разнородного; тут была и бурная враждебность, не являвшаяся однако ненавистью, было и уважение, еще больше почтения, много страха, и чрезвычайно много болезненного любопытства. Для моралиста излишне добавлять, что мы были с Вильсоном самыми неразлучными сотоварищами. Нет сомнения, что именно такое ненормальное положение дела придало всем моим нападкам на него (а их было много и открытых, и тайных) скорее характер издевательства и проделок (преследовавших цель — уязвить его чем-нибудь потешным), нежели характер серьезной и определившейся враждебности. Но мои попыт-

ки такого рода отнюдь не были одинаково успешны даже тогда, когда мои планы бывали составлены самым хитроумным образом; у моего соименника было в характере много той беспритязательной и спокойной строгости, которая, услаждаясь едкостью своих собственных шуток, не имеет ахиллесовой пяты и совершенно не поддается насмешке. Я мог найти в нем только один слабый пункт, происходивший, вероятно, от прирожденного недостатка; другой соперник, не исчерпавший свое остроумие в такой степени, как я, конечно, никогда не коснулся бы подобного недостатка: у Вильсона была слабость горловых или гортанных органов, что мешало ему говорить громко, — он постоянно говорил *очень тихим шепотом*. Из этого я не замедлил извлечь все скудные выгоды, какие только мог найти здесь.

Вильсон прибегал к очень разнородным способам оплаты; в особенности одна форма его проделок смущала меня выше всякой меры. Каким образом у него хватило пронизательности увидеть, что такой пустяк может меня мучить — плебейское имя. Эти слова положительно отравляли мой слух; и когда в день моего прибытия в школу сюда явился второй Вильям Вильсон, я почувствовал досаду на него за то, что он носил такое имя, и вдвойне проникся отвращением к своему имени, потому что чужой носил его, — я знал, что этот чужой будет причиной его двукратных повторений, что он постоянно будет находиться в моем присутствии, и дела его, в обычной повседневности школьных занятий, должны будут часто смешиваться с моими, по причине этого противного совпадения.

Чувство раздражения, создавшееся таким образом, стало усиливаться после каждой случайности, стремившейся показать моральное или физическое сходство между моим соперником и мной. Я не знал тогда замечательного факта, что наш возраст был одинаков; но я видел, что мы были одинакового роста, и заметил, что мы отличались даже поразительным сходством в общих контурах лица и в отдельных чертах. Меня бесили, кроме того, слухи о нашем родстве, распространившиеся до необычайности. Словом, ничто не могло меня смущать более серьезно (хотя я тщательно скрывал такое смущение), нежели намек на существующее между нами сходство ума, личности или происхождения. Но по правде

сказать, я не имел основания думать, чтоб это сходство было когда-нибудь предметом толков среди наших сотоварищей или чтобы оно даже было замечено кем-нибудь из них (исключая самого Вильсона и обходя молчанием слухи о родстве); но что он заметил сходство всех наших манер, и так же ясно, как я сам, это было очевидно: однако умение извлечь из таких обстоятельств такую громадную возможность причинять неприятности я мог объяснить только его выдающейся пронизательностью. Превосходно подражая мне в словах и в поступках, он рисовал перед моими взорами меня самого, и играл свою роль великолепно. Скопировать мой костюм — это было легко; моя походка и общие манеры были усвоены без затруднений; но, несмотря на его природный недостаток, от него не ускользнул даже мой голос. Громкие интонации, конечно, не могли быть передразнены, но, в сущности, это было одно и то же: *его своеобразный шепот сделался настоящим эхом моего голоса.*

Не берусь описать, как меня мучило и терзало это изысканное умение нарисовать мой портрет (действительно, портрет, а не карикатуру). У меня было одно утешение: имитация, по-видимому, была замечена только мною, и мне приходилось терпеть только странные саркастические улыбки моего соименника. Удовлетворившись впечатлением, произведенным на меня, он как бы подсмеивался исподтишка над тем, как он хорошо уязвил меня, и выказывал очень своеобразное пренебрежение к публичному одобрению, которое мог бы легко снискать своими остроумными проделками. Тот факт, что школьные товарищи не видели его намерений, не понимали совершенства в их исполнении и не участвовали в его насмешках, был для меня большой загадкой, — в течение нескольких месяцев я размышлял об этом тревожно и безуспешно. Быть может, утонченность *градации* в его передразнивании делала копирование не таким заметным, или, еще более вероятно, я был обязан своей безопасностью мастерским приемам создателя копии, который, пренебрегая буквой (слишком очевидной для всех, даже тупых), передавал только дух подлинника — передавал так хорошо, что мне оставалось смотреть и огорчаться.

Я уже говорил неоднократно о противной манере, которую Вильсон усвоил по отношению ко мне, и о его частом

назойливом вмешательстве в мои желания. Это вмешательство нередко принимало неприятный характер совета — совета, не даваемого открыто, но указываемого через посредство намека. Я принимал подобные советы с отвращением, и оно увеличивалось по мере того, как я становился старше. Однако в эти далекие дни — простая справедливость заставляет меня признать это — он никогда не внушал мне тех ошибок и безумств, которые были столь свойственны его незрелому возрасту и видимой неопытности. Я должен признаться, что если его таланты и светский такт не равнялись моим, нравственное чувство было у него гораздо острее, чем у меня; я должен признаться, что я был бы теперь более хорошим человеком, а потому и более счастливым, если бы я реже отвергал советы, которые он давал мне таким выразительным шепотом и которые я тогда слишком искренно ненавидел и слишком горько презирал.

В конце концов во мне пробудилось крайнее упрямство при виде такого отвратительного надзора; со дня на день я все более и более открыто злобствовал на то, что считал невыносимой дерзостью. Я сказал, что в первые годы нашей совместной жизни мои чувства легко могли бы превратиться в дружбу; но в последние месяцы моего пребывания в школе, несмотря на то, что его обычная назойливость, без сомнения, уменьшилась, мной овладело почти в том же соотношении ощущение положительной ненависти. Мне кажется, что однажды он увидел это и стал избегать меня, или делал вид, что избегает.

Если я верно вспоминаю, как раз около этого периода во время одной очень сильной распри, когда он более обыкновенного отрешился от своей осмотрительности и держал себя с открытой резкостью, почти чуждой его натуре, я заметил в его интонации, в его манерах, во всем выражении его физиономии что-то особенное, что сперва изумило меня, а потом глубоко заинтересовало, вызывая в уме туманное видение самого раннего детства, смутные, странные и торопливые воспоминания о том времени, когда память еще не рождалась. Не могу лучше описать ощущение, охватившее меня, как сказав, что я не в силах был отрешиться от убеждения, что я знал существо, стоявшее передо мною, знал в давно прошедшие дни, в бесконечно отдаленном прошлом. Однако

обманчивая мечта поблекла так же быстро, как пришла, и я упоминаю о ней только затем, чтобы определить день последнего разговора с моим странным одноименным сотоварищем.

В громадном старинном доме, с его бесконечными подразделениями, было несколько больших комнат, сообщавшихся между собою и служивших спальнями для большинства учащихся. Было в нем, кроме того (явление неизбежное в здании, выстроенном так неуклюже), множество уголков и закоулков, выступов и углублений, которыми бережливый гений доктора Брэнсби также сумел воспользоваться в качестве дортуаров, хотя будучи не чем иным, как чуланами, они могли вмещать в себя только по одному субъекту. Именно в одном из таких маленьких помещений спал Вильсон.

Однажды ночью на исходе пятого года моей школьной жизни, — и как раз после ссоры, о которой я только что упоминал, — видя, что все спят, я встал с постели и, держа лампочку в руке, прокрался через целую пустыню узких переходов из моей собственной спальни к спальне моего соперника. Я давно замышлял одну из тех злых проделок, в которых до тех пор неизменно терпел фиаско. Теперь я твердо решил привести свой план в исполнение и заставить его почувствовать всю силу злости, заполнившей мое сердце. Достигнув его чулана, я бесшумно вошел туда, оставив лампочку у входа и предварительно затенив ее. Я сделал шаг, приблизился, и услышал звук спокойного дыхания. Уверившись, что он спит, я повернулся назад, захватил огонь и снова приблизился к постели. Вокруг нее задернуты были занавеси: для исполнения своего плана я тихонько раздвинул их. Яркие лучи упали на лицо спящего, и в тот же самый миг, увидав это лицо, я почувствовал, что холодею, я мгновенно весь оцепенел. В груди что-то сжалось, колени задрожали, и душа моя исполнилась беспредметным невыносимым ужасом. Задыхаясь, я опустил лампу в уровень с лицом. Как, это Вильям Вильсон — *это* черты его лица! Я прекрасно видел, что это — его черты, но дрожал, как в лихорадке, воображая, что то не были черты его лица. Что же *было* в них, что меня смутило до такой степени? Я смотрел, и в моем уме бешено роилось множество бессвязных мыслей. Не таким он являлся мне — о, конечно, *не таким* — в те яркие часы, когда он не спал. То

же самое имя, те же контуры лица, прибытие в школу в один и тот же день, и потом это проклятое бессмысленное подражание моей походке, моему голосу и моим манерам. Неужели границы человеческой возможности позволяли то, что я *видел теперь?* Неужели это было не чем иным, как следствием постоянной привычки проделывать насмешливое подражание? Пораженный ужасом и весь охваченный трепетом, я молча вышел из комнаты и покинул стены этого древнего заведения, чтобы более не возвращаться в него никогда.

По истечении нескольких месяцев, проведенных дома в полной праздности, я уехал учиться в Итон. Краткого промежутка времени было достаточно, чтобы ослабить воспоминание о событиях, совершившихся в школе Брэнсби, или по крайней мере его было достаточно, чтобы внести существенную перемену в характер воспоминаний. Действительность, трагическая сторона драмы, более не существовала. Я имел достаточные мотивы сомневаться в очевидных показаниях моих чувств и редко вспоминал о всех этих приключениях без того, чтобы не удивляться, как велико человеческое легкоеверие, и не улыбаться на прирожденную живость моей фантазии. Та жизнь, которой я жил в Итоне, отнюдь не могла уменьшить мой скептицизм. Я бросился в водоворот неукротимого безумства, и в нем тотчас же и безвозвратно потонуло все, и осталась только пена воспоминания; я сразу потопил все серьезные и глубокие впечатления, и в памяти моей сохранились только самые жалкие примеры моего легкомыслия, отличавшего мою прежнюю жизнь.

Я не имею, однако, намерения отмечать здесь весь путь моего жалкого беспутства — беспутства, которое насмеялось над всякими законами и избегало бдительности всякого надзора. Три года безумств, проведенных без всякой пользы, сделали меня только закоренелым в порочных привычках, и прибавили нечто к моему физическому развитию, прибавили даже в степени несколько необыкновенной. Как-то после недели низких забав я пригласил к себе нескольких из наиболее распутных студентов на тайную попойку. Мы сошлись в поздний час ночи, ибо наши излишества обыкновенно продолжались добросовестным образом вплоть до утра. Вино лилось неукротимо, и не было, кроме того, недостатка в других, быть может, более опасных соблазнах, так что наши

безумные экстравагантности достигли своей вершины, когда на востоке слабо забрезжился туманный рассвет. Бешено разгоряченный картами и вином, я настаивал на каком-то необыкновенно богохульном тосте, как вдруг мое внимание было привлечено резким звуком: дверь в комнату быстро открылась, хотя только чуть-чуть, и оттуда раздался торопливый голос моего слуги. Он сказал, что кто-то хочет со мной говорить и что пришедший, по-видимому, очень спешит.

При моем безумном состоянии опьянения это неожиданное вторжение скорее восхитило, нежели удивило меня. Заплетающейся походкой я вышел вон и, сделав несколько шагов, очутился в прихожей. В этой узкой и низенькой комнатке не висело ни одной лампы, и никакого другого светильника в ней не было; только слабый, чрезвычайно туманный рассвет глядел сквозь полукруглое окно. Ступив на порог, я увидел фигуру юноши, приблизительно моего роста, он был одет в белый утренний костюм из кашемира, сделанный по последней моде, совершенно в таком же роде, какой был на мне. Это я мог заметить при слабом освещении, но черты его лица были мне не видны. При моем приближении, он быстро устремился ко мне и, схватив меня за руку, с повелительным жестом нетерпения, прошептал мне на ухо: «Вильям Вильсон!»

Хмель мгновенно вылетел у меня из головы.

В манерах пришлеца, в нервном трепете его приподнятого пальца, который он держал в пространстве между моим взглядом и мерцанием, струившимся через окно, было много чего-то, что исполнило меня безграничным изумлением; но не это чувство так сильно поразило меня. Меня поразила интонация торжественного увещания, слышавшаяся в этом тихом необыкновенном свистящем *шепоте*, прежде всего характер, *выражение* этих простых и знакомых звуков, — они принесли с собою целую бездну торопливых воспоминаний о прошедших днях, и поразили мою душу как током гальванической батареи. Прежде чем я успел опомниться, он исчез.

Хотя это событие не преминуло оказать на мое расстроенное воображение самое сильное впечатление, однако его живость равнялась его мимолетности. В течение нескольких недель я, действительно, то занимался самыми ревностными исследованиями, то отдавался болезненным размышлениям.

Я не пытался скрывать от себя, кто был этот странный человек, так упорно вмешивавшийся в мои дела и мучивший меня своими назойливыми советами. Но что из себя представлял этот Вильсон — и откуда он был — и каковы были его цели? Ни на один из этих вопросов я не мог ответить удовлетворительным образом. Я узнал только, что по каким-то внезапным семейным делам он должен был удалиться из школы доктора Брэнсби в послеобеденный час того самого дня, когда я бежал. Но вскоре я перестал думать об этом, и все мое внимание было поглощено планом переезда в Оксфорд. Там, благодаря безрассудному тщеславию моих родителей, доставлявших мне огромные деньги, я мог отдаваться роскоши, уже сделавшейся для меня необходимостью, — я мог соперничать в расточительности с самыми надменными наследниками самых богатых графств Великобритании.

Искушаемый постоянной возможностью доставлять себе порочные наслаждения, мой прирожденный темперамент проявился с удвоенной стремительностью, и в безумном ослеплении отдавшись беспутству, я порвал самые общепризнанные узы благопристойности. Но было бы нелепо останавливаться на всех моих экстравагантностях. Довольно сказать, что среди расточителей я перещеголял решительно всех, и дав наименование целому множеству новых безумств, основательно пополнил длинный список пороков, которые были тогда обычными в этом распутнейшем из европейских университетов.

Вряд ли, однако, мне поверят, когда я скажу, что я до такой степени удалился от джентльменства, что старался проникнуть во все подлые художества профессиональных картежников и, сделавшись посвященным в эту позорную науку, прибегал обыкновенно к ней, как к средству увеличения и без того уже громадных доходов, на счет тех из моих сотоварищей, кто был поглупее. Но, если мне и не поверят, все же это был факт; и самая чудовищность такого издевательства над чувством достоинства и чести была, очевидно, главной, если не единственной, причиной моей безнаказанности. Кто на самом деле из моих сотоварищей, самых испорченных, не стал бы скорее оспаривать очевидное свидетельство своих чувств, нежели подозревать в подобных проделках веселого, откровенного, великодушного Вильяма Вильсона — самого

благородного и самого щедрого студента во всем Оксфорде — его, чьи безумства (так говорили его паразиты) были только сумасбродством молодой и необузданной фантазии — чьи заблуждения были только неподражаемыми капризами — чья порочность, самая черная, была только беззаботной блестящей эксцентричностью.

Уже прошло два года такой веселой жизни, когда в Оксфордский университет поступил молодой дворянчик, рагвену\*, некий Гленденнинг — по слухам, он был богат как Ирод Аттический<sup>5</sup> — причем богатство его, конечно, не причиняло ему хлопот. Вскоре я убедился, что он в достаточной степени глуп, и, конечно, наметил его, как подходящий субъект, на котором мог испробовать свое умение. Я часто приглашал его играть и, по обычной шулерской уловке, заставлял его выигрывать значительные суммы, чтобы тем действительно завлечь его в сети. Наконец, когда мой план созрел, я встретился с ним (с твердым намерением, чтобы эта встреча была окончательной) в квартире одного из товарищей-студентов (мистера Престона), одинаково близкого с нами обоими и, нужно отдать справедливость, не питавшего ни малейшего подозрения относительно моего намерения. С целью придать всему лучший вид, я позаботился, чтобы было приглашено еще несколько товарищей, человек восемь — десять, и самым тщательным образом подвел все так, что карты появились как бы случайно и не по моему желанию, а по желанию моей намеченной жертвы. Но не буду вдаваться во все эти гнусные подробности; не было, конечно, упущено ни одного из тех подлых ухищрений, которые настолько обычны в подобных случаях, что нужно положительно удивляться, каким образом еще находятся лица, до такой степени одуревшие, чтобы быть их жертвами.

Наша игра затянулась далеко за полночь, когда я наконец прибег к своему маневру и избрал Гленденнинга своим единственным соперником. Это была моя излюбленная игра, *écarté*\*\* . Вся остальная публика, заинтересовавшись крупным характером нашей игры, оставила свои карты и окружила

---

\* *Parvenu* — выскочка (фр.). — *Примеч. ред.*

\*\* *Écarté* — экарте, старинная азартная карточная игра для двух лиц. — *Примеч. ред.*

нас. Наш рагвену, которого в первую половину вечера я искусно заставлял пить в основательных дозах, мешал, сдавал и играл с страшной нервностью в манерах, и мне казалось, что такая возбужденность не могла быть вполне объяснена одним опьянением. В очень короткий промежуток времени он сделался моим должником на крупную сумму — затем, глотнув хорошую дозу портвейна, он сделал то, на что я хладнокровно рассчитывал, — предложил удвоить и без того уже экстравагантные ставки. Я стал упорно отнекиваться и, наконец, согласился с видимой неохотой, после того как мой неоднократный отказ заставил Гленденнинга сказать мне несколько колкостей, придававших моей уступчивости вид оскорбленности. Результат, конечно, только доказал, насколько жертва запуталась в мои сети: менее чем за час он учетверил свой долг. С некоторого времени его физиономия утратила красноту, вызванную вином, но теперь я заметил, к своему изумлению, что лицо его покрылось бледностью поистине страшной. Я говорю: к моему изумлению, потому что относительно Гленденнинга я произвел самые точные расследования, и мне его представили исключительным богачом; суммы, которые он потерял, как ни велики они были сами по себе, все же не могли, вероятно, особенно тревожить его, тем более — подействовать на него так сильно. Я тотчас же подумал, что ему бросилось в голову вино, которое он только что выпил, и скорее с целью сохранить репутацию в глазах товарищей, нежели по мотивам более бескорыстным, хотел решительно настаивать на прекращении игры, как вдруг несколько слов, произнесенных около меня кем-то из присутствующих, и восклицание, вырвавшееся у Гленденнинга и свидетельствовавшее о крайнем отчаянии, дали мне понять, что я окончательно разорил его, при таких обстоятельствах, что они привлекли к нему сострадание всех и должны были предохранить его даже от козней дьявола.

Мне трудно сказать, как я мог поступить в подобном положении. Жалкое состояние моей жертвы исполнило всех чувством угрюмой неловкости, и в течение нескольких секунд царило глубокое молчание, причем я не мог не чувствовать, что щеки мои подергивались под пристальными, полными презрения, взглядами, которые на меня устремляли наименее погибшие из игроков. Я должен даже признаться,

что с моего сердца спала невыносимая тяжесть, когда через мгновение последовало чье-то внезапное и необыкновенное вторжение. Тяжелые громадные створчатые двери распахнулись сразу с громким и сильным взмахом, благодаря чему, точно силой колдовства, потухли все свечи в комнате. Их свет, умирая, дал нам только возможность заметить, что вошел какой-то незнакомец, приблизительно моего роста, плотно закутанный в плащ. Однако теперь кругом было совершенно темно, и мы могли только *чувствовать*, что он стоит посреди нас. Прежде чем кто-либо из присутствовавших успел опомниться от крайнего изумления, охватившего нас всех вследствие грубости такого вторжения, мы услышали голос незваного гостя.

— Джентльмены, — заговорил он тихим явственным и незабвенным *шепотом*, от которого кровь застыла в моих жилах, — джентльмены, я не буду стараться оправдать свой поступок, потому что, поступая так, я только исполняю свою обязанность. Вы, без сомнения, не осведомлены относительно истинного характера того господина, который сегодня ночью выиграл в *écarté* значительную сумму денег у лорда Гленденнинга. Поэтому я предложу вам точное и решительное средство получить эти необходимые сведения. Не угодно ли вам будет осмотреть внимательно подкладку на обшлагах его левого рукава, а также несколько маленьких пачек: они могут быть найдены в несколько широковатых карманах его вышитой тужурки.

Пока он говорил, тишина была такая глубокая, что можно было бы услышать падение булавки на пол. Договорив последнюю фразу, он удалился так же быстро, как и пришел. Описывать ли мне ощущения, охватившие меня, — могу ли я их описать? Нужно ли говорить, что я испытывал все ужасы осужденного? Конечно, у меня не было времени для размышления. Несколько рук грубо схватили меня, были тотчас же зажжены свечи, меня обыскали. В обшлаге моего рукава были найдены все карточные фигуры, от которых зависит исход игры в *écarté*, а в карманах тужурки было найдено несколько колод карт совершенно таких же, какими мы всегда играли, с той только разницей, что мои карты на техническом языке назывались *закругленными*: хорошие карты в таких колодах слегка вогнуты на нижних концах, плохие слег-

ка вогнуты по бокам. Благодаря этому тот, кого обыгрывают, снимая обыкновенно вдоль колоды, неизменно снимает в пользу своего противника, в то время как шулер, снимая поперец, никогда не даст своей жертве такой карты, которая могла бы ему послужить на пользу.

Взрыв негодования поразил бы меня гораздо меньше, чем безмолвное презрение и саркастические улыбки, появившиеся на всех лицах.

— Мистер Вильсон, — сказал наш хозяин, наклоняясь, чтобы поднять непомерно дорогой плащ, подбитый самым редкостным мехом, — мистер Вильсон, это ваша собственность.

Погода стояла холодная и, выходя из дому, я набросил плащ поверх домашнего костюма, а придя сюда, снял его.

— Я думаю, что было бы излишне искать здесь, — тут он с горькой улыбкой посмотрел на складки моего костюма, — каких-нибудь дальнейших доказательств вашей необыкновенной ловкости. Действительно, у нас их совершенно достаточно. Надеюсь, вы видите необходимость оставить Оксфорд — во всяком случае, немедленно оставить мою квартиру.

Будучи унижен и втоптан в грязь, я, вероятно, тотчас же отплатил бы за эти оскорбительные слова личным оскорблением, если бы все мое внимание не было поглощено в эту минуту фактом самым поразительным. Мой плащ был подбит редкостным мехом, не смею даже сказать, каким безумно редким и дорогим. Его фасон, кроме того, был изобретением моей собственной фантазии, так как моя прихотливость во всех этих пустяках щегольства доходила до абсурда. Когда поэтому мистер Престон подал мне плащ, подобранный на полу около створчатых дверей, я был охвачен изумлением, граничившим с чувством ужаса, заметив, что мой плащ уже был на мне (я, конечно, машинально его набросил на себя), и что плащ, который был мне предложен, являлся совершенным двойником моего во всех, даже мельчайших, деталях. Странное существо, что так зловеще выдало меня, было закутано в плащ; это я хорошо помню, и никто, кроме меня, из членов нашего общества не имел обыкновения носить плащ. Сохраняя еще некоторое присутствие духа, я взял из рук Престона плащ и незаметно ни для кого накинул его на свой;

затем, выйдя из комнаты с угрожающим лицом, я на следующее же утро, прежде чем забрезжил день, предпринял бешеное бегство из Оксфорда к континенту, умирая от ужаса и стыда.

*Я убегал напрасно.* Злой рок, точно торжествуя, преследовал меня и действительно доказал мне, что его таинственное владычество только что началось. Едва только я приехал в Париж, как получил новое доказательство ненавистного интереса, с которым относился ко мне Вильсон. Шли годы, а я не имел ни минуты отдыха. Негодяй! Когда я был в Риме, как несвоевременно, как назойливо встал он темным призраком между мной и моим честолюбием — а в Вене — а в Берлине — а в Москве — где же у меня *не* было горьких причин проклинать его всем сердцем? Объятый паническим ужасом, я бежал, наконец, от его непостижимой тирании, как от чумы. Но, достигая пределов земли, я *убегал напрасно.*

И опять, и опять, вопрошая тайком свою душу, я восклицал: «Кто же он? откуда он? и каковы его цели?» Но ответа не находил. Я начинал с самым тщательным вниманием исследовать приемы, метод и отличительные черты его наглого высматривания. Но даже и в этой области у меня было слишком мало данных, чтобы строить догадки. Поистине удивительно было, что во всех многочисленных случаях, когда он становился мне поперек дороги, он становился только для того, чтобы разрушить планы, которые, будучи приведены в исполнение, могли бы кончиться только чем-нибудь злостным. Плохое утешение для темперамента такого властолюбивого! Скучное вознаграждение за поруганные права свободного выбора, поруганные так нагло и с таким упорством!

Мне пришлось также заметить, что мой учитель в течение долгого периода времени (между тем как он самым тщательным образом и с самой удивительной ловкостью продолжал осуществлять свое капризное желание и постоянно имел одинаковую со мною наружность) устраивал всегда так, что каждый раз, когда он вмешивался в мои желания, я не мог заметить отдельных черт его лица. Что бы из себя ни представлял Вильсон, конечно, это было не чем иным, как верхом аффектации или дурачества. Разве он мог хотя на минуту предполагать, что я ошибался насчет личности того, кто в

Итоне давал мне непрошенные советы, в Оксфорде запятнал мою честь, в Риме был помехой моему честолюбию, в Париже — моей мести, в Неаполе — моей страстной любви, в Египте — тому, что он лживо назвал моим скряжничеством? Мог ли он сомневаться, что я узнаю в нем моего закоренелого врага и злого гения, Вильяма Вильсона моих школьных дней — тезку, товарища, соперника — ненавистного и страшного соперника в заведении доктора Брэнсби? Не может быть! Но я хочу поскорей рассказать последнюю достопримечательную сцену всей драмы.

До сих пор я лениво подчинялся этому деспотическому владычеству. Чувство глубокого почтения, с которым я привык относиться к возвышенному характеру, к величественной мудрости, к видимой вездесущности и всезнанию Вильсона в соединении с чувством страха, внушенного мне некоторыми другими его чертами и притязаниями, навязало мне мысль о моей полной слабости и беспомощности и заставило меня всецело подчиняться его произволу, хотя и с чувством горестного отвращения. Но за последнее время я всецело отдался вину, и его умопомрачающее влияние, сочетавшись с моим наследственным темпераментом, все более и более наполняло меня нетерпением против надзора. Я начал роптать, колебаться, протестовать, и, была ли это только моя фантазия — мне показалось, что упрямство моего мучителя уменьшалось в прямом отношении с увеличением моей твердости! Как бы то ни было, я начал чувствовать воодушевление загорающейся надежды и, в конце концов, взлелеял в глубине души мрачную и отчаянную решимость сбросить с себя ярмо рабства.

Это было в Риме, во время карнавала 18... Я был приглашен на маскарад в палаццо неаполитанского герцога ди Брольо. Я выпил много вина, более, чем обыкновенно, и удушливая атмосфера людных комнат раздражала меня невыносимо. Кроме того, трудность пробраться через тесную толпу в немалой степени увеличивала мою ярость; дело в том, что я озабоченно искал (не буду говорить, для каких низких целей) молодую, веселую и прекрасную супругу престарелого и безумно ее любящего ди Брольо. С слишком большой неосмотрительностью она доверилась мне, сказав заранее, какой на ней будет костюм, и теперь, увидев ее мельком, я бе-

шено пробивался через толпу по направлению к ней. Вдруг я почувствовал, что кто-то слегка положил руку на плечо мне, и в моих ушах раздался вечно памятный глухой и ненавистный *шепот*.

В состоянии неудержимого бешенства и ярости я быстро повернулся к тому, кто так тревожил меня, и грубо схватил его за шиворот. Как я и ожидал, он был одет совершенно так же, как и я, — на нем был испанский плащ из голубого бархата, а на ярко-красной перевязи, проходившей вокруг талии, была привешена шпага. Лицо его было совершенно закрыто черной шелковой маской.

— Негодяй! — воскликнул я голосом хриплым от бешенства, в то время как каждый слог, который я произносил, казалось, подливал мне новой желчи. — Негодяй! мошенник! проклятая тварь! Ты не будешь больше, *ты не посмеешь больше* преследовать меня, как собака! за мной, или я заколю тебя тут же на месте!

Я устремился из бального зала в небольшую смежную прихожую, увлекая за собой своего врага. Он не сопротивлялся.

Войдя в прихожую, я с яростью отшвырнул его от себя. Он заковылял к стене, а я с ругательством закрыл дверь и приказал ему обнажить шпагу. Вильсон заколебался, но только на мгновение, затем с легким вздохом он вынул свою шпагу и начал защищаться.

Недолог был, однако, наш поединок. Я был раздражен, взбешен. Я чувствовал, что в одной моей руке кроется энергия и сила целой толпы. Через несколько секунд я притиснул его к стене и, таким образом держа его в полной своей власти, с жестокостью животного несколько раз проткнул ему грудь.

В эту минуту кто-то взялся за дверную ручку; я поспешил задержать вторжение, запер дверь и тотчас же вернулся к умирающему сопернику. Но какие человеческие слова могут в должной мере нарисовать *то* изумление, *тот* ужас, которые овладели мною при виде зрелища, представшего моим глазам. Краткого мгновенья было совершенно достаточно, чтобы произвести, по-видимому, крайне существенную перемену в обстановке дальнего угла комнаты. Огромное зеркало — так сперва показалось мне при моем замешательстве

тве — стояло теперь там, где раньше не было ничего подобного, когда я шатающейся походкой, в состоянии крайнего ужаса пошел к нему, ко мне приблизился теми же слабыми заплетающимися шагами мой двойник, мой собственный образ, но страшно бледный и забрызганный кровью.

Так мне показалось, говорю я, но не так было на деле. Это был мой соперник — это Вильсон стоял передо мною, охваченный смертной агонией. Его плащ вместе с маской валялся на полу — и не было ни одной нити во всем его костюме — не было ни одной черты во всем его лице, таком выразительном и страшном, которая не была бы моей до самого полного тождества, — *моей, моей!*

Это был Вильсон; но он больше не шептал, я мог подумать, что это я сам, а не он, говорил мне:

— Ты победил, и я уступаю. Но с этих пор ты также мертв — *мертв для Мира, для Небес, и для Надежды! Во мне ты существовал, и, убив меня, смотри на этот образ, который не что иное, как твой собственный — смотри, как безвозвратно, в моей смерти, ты умертвил самого себя!*

## УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ МОРГ

Какую песню пели Сирены или какое имя принял Ахиллес, когда он скрывался среди женщин — эти вопросы, хотя и ошеломительны, все же не вне *всякой* догадки.

*Сэр Томас Браун<sup>1</sup>*

Умственные черты, обсуждаемые как аналитические, сами по себе мало способны к анализу. Мы оцениваем их только по их следствиям. Мы знаем о них, наряду с другими обстоятельствами, что они всегда являются для их обладателя, когда он обладает ими в неумеренном количестве, источником самого живого наслаждения. Как сильный человек наслаждается физической ловкостью, предаваясь таким упражнениям, которые приводят его мускулы в движение, так человек анализирующий извлекает для себя славу и восторг

в той умственной деятельности, которая *распутывает*. Он извлекает наслаждение даже из самых тривиальных занятий, приводящих его талант в действие. Он увлечен загадками, игрой слов, иероглифами; ибо в разрешении каждой загадки он являет известную степень *тонкой проницательности*, кажущейся восприятию заурядному сверхъестественной. Получаемые им результаты, обусловливаемые самой душой и сущностью метода, имеют, на самом деле, вид совершенной интуиции.

Способность разрешения, возможно, очень усиливается изучением математики, и в особенности той высшей ее отрасли, каковая несправедливо и главным образом на основании ее вспять идущих операций была названа как бы *par excellence\**, анализом. Шахматный игрок, например, делает одно без усилия в другом. Отсюда следует, что игра в шахматы в своих действиях на умственную природу весьма неверно истолковывается. Я не пишу ныне какой-либо трактат, но просто — в виде предисловия к несколько своеобразному повествованию — весьма наудачу привожу различные соображения; я воспользуюсь по этому случаю возможностью утверждать, что непоказная игра в шашки требует более решительно и более планомерно высших способностей размышляющего понимания, нежели все утонченные суетности шахматной игры. В этой последней, где фигуры имеют различные и *причудливые* движения с различными и меняющимися ценностями, то, что лишь сложно, ошибкой (ошибка отнюдь не необычная) принимается за то, что глубоко. *Внимание* весьма сильно призывается здесь к действию. Если оно ослабевает на мгновение, совершается недосмотр, и отсюда ущерб или поражение. Так как возможные движения не только многообразны, но и развертываются по кривой линии, вероятия таких недосмотров многочисленны; и в девяти случаях из десяти выигрывает не более тонкий игрок, а скорее более сосредоточенный. В шашках, напротив, где движения *единообразны* и лишь мало видоизменяются, вероятия недосмотра уменьшены, и так как простое внимание сравнительно не призывается к пользованию, выгоды, получаемые той и другой партией, получают превосходной сте-

---

\* Par excellence — по преимуществу (фр.). — Примеч. ред.

пенью *тонкого понимания*. Чтобы быть менее отвлеченным — предположим игру в шашки, где фигуры сведены до четырех дамк и где, конечно, нельзя ожидать никакого недосмотра. Явно, что здесь победа может быть решена (при полном равенстве игроков) лишь каким-нибудь *изысканным* движением, как результатом какого-нибудь сильного напряжения ума. Лишенный обычных ресурсов человек, анализирующий, опрокидывается в дух своего противника, отождествляет себя с ним и нередко видит, таким образом, единым взглядом единственную возможность (иногда поистине нелепо простую), с помощью которой он может вовлечь в ошибку или подтолкнуть в неверный расчет.

Долгое время обращал на себя внимание вист, благодаря своему влиянию на то, что зовется способностью рассчитывать; и люди с умственными способностями высокого разряда, как известно, находили в этой игре, по-видимому, необъяснимое наслаждение, избегая в то же время игры в шахматы, как вещи пустой. Без сомнения, нет никакой игры, по природе родственной, которая бы в такой степени захватывала способность анализа. Лучший на свете игрок в шахматы *может* быть мало чем большим, чем лучший игрок в шахматы; успешность же игры в вист связана со способностью к успеху во всех тех более важных предприятиях, где ум борется с умом. Когда я говорю «успешность», я разумею то совершенство в игре, которое включает в себя постижение *всех* источников, из коих законным образом можно извлекать выгоду. Они не только многообразны, но и многообразны, и часто скрываются в уголках ума, совершенно недоступных для заурядного понимания. Наблюдать внимательно, значит явственно припоминать; и в этом смысле сосредоточенный игрок в шахматы окажется очень хорошим игроком в вист; ибо правила Хойла<sup>2</sup> (сами основанные на простом механизме игры) достаточно и легко постижимы. Таким образом, иметь запоминающую память и поступать по указаниям «книги», это суть пункты вообще рассматриваемые как полная сумма хорошего умения играть. Но способность анализа выясняется именно в вещах, лежащих за пределами простого правила. Человек, способный к анализу, делает молча целое множество наблюдений и выводов. Так, быть может, поступают и его со-

участники в игре; и различие в объеме получаемых выводов заключается не столько в доброкачественности способности выводить, сколько в качестве наблюдения. Необходимое знание есть знание того, *что* нужно наблюдать. Наш игрок отнюдь не ставит себе ограничений; и так как целью является игра, он отнюдь не отбрасывает выводов из вещей, игре совершенно чуждых. Он исследует лицо своего партнера, сравнивая его тщательно с лицом каждого из противников. Он рассматривает способ подбирания карт в каждой руке, часто считая козырь за козырем и фигуру за фигурой, по взглядам, бросаемым на каждую карту их обладателями. Он подмечает каждое изменение лица по мере того, как игра идет, накапливая целый капитал мысли из различий в выражении уверенности, удивления, торжества, и огорчения. Из манеры брать взятку он делает заключение, способно ли данное лицо взять новую взятку при следующем ходе. Он узнает то, что сыграно ложным маневром, по виду, с которым карты брошены на стол. Случайное или неосторожное слово, случайно упавшая или повернутая карта в сопровождении тревожного или небрежного желания ее скрыть, подсчет взяток с порядком их распределения; затруднение, колебание, живость или трепетный порыв — все доставляет для него, на вид интуитивного, восприятия указания истинного положения вещей. Когда сыграны два-три тура, он вполне владеет приемами каждой руки, и засим играет своими картами с такой совершенной точностью замысла, как если бы остальные игроки показали свои собственные карты лицом.

Аналитическая способность не должна быть смешиваема с простой находчивостью; ибо, в то время как человек анализирующий необходимым образом находчив, человек находчивый часто достопримечательным образом неспособен к анализу. Способность построения или сочетания, через которую обыкновенно проявляется находчивость и которая, по мнению френологов<sup>3</sup> (полагаю, ошибочному), имеет свой собственный отдельный орган, при допущении, что это способность первичная, часто наблюдалась у тех, чей разум в других отношениях граничил с идиотизмом, возбуждая всеобщее внимание среди писателей-моралистов. На самом деле, между находчивостью и аналитической способностью су-

ществует разница гораздо большая, чем между фантазией и воображением, но по характеру строго аналогичная. Действительно, рассматривающий это найдет, что человек находчивый всегда фантастичен, а что человек с *истинным* воображением никогда не есть что-нибудь иное, нежели человек анализа.

Следующее повествование будет служить читателю как бы некоторым пояснением к утверждениям, только что высказанным.

Живя в Париже во время весны и части лета 18... года, я познакомился с месье Ш. Огюстом Дюпенем. Этот молодой человек был из хорошей — нет, даже из знатной — фамилии, но разнообразием неблагоприятных обстоятельств он был приведен к такой бедности, что энергия его характера уступила, и он перестал делать какие-нибудь усилия, чтобы достичь успеха или заботиться о восстановлении своего состояния. Благодаря любезности его кредиторов в его распоряжении еще оставалась небольшая доля его наследственного имения, и, пользуясь чрезвычайно экономно доходом с нее, он мог доставлять себе все необходимое для жизни, не заботясь об излишествах. Единственной его роскошью были, на самом деле, книги, а в Париже их получать легко.

Первое наше знакомство произошло в одной малоизвестной библиотеке на улице Монмартр, где мы были приведены к более тесному соприкосновению той случайностью, что мы оба отыскивали одну и ту же весьма редкую и весьма замечательную книгу. Мы увиделись друг с другом еще и еще. Я был чрезвычайно заинтересован его малой семейной историей, которую он мне рассказал подробно с тем чистосердечием, что составляет особенность француза, когда темой разговора служит его собственное «я». Я был удивлен, кроме того, обширными размерами его начитанности; и, превыше всего, я чувствовал, что душа моя загорается от причудливого пламени и живой свежести его воображения. Ища в Париже некоторых предметов, составлявших тогда предмет моих алканий, я чувствовал, что общество такого человека было бы для меня неоцененным сокровищем, и в этом чувстве я чистосердечно ему признался. В конце концов было условлено, что мы будем жить вместе во время моего пребывания в этом городе; и так как мои деловые обстоятельства были

несколько менее запутаны, чем его, мне было возможно взять на себя расходы по содержанию и обстановке при найме в стиле, соответствовавшем несколько мрачной фантастичности нашего общего темперамента, — изъеденного временем и гротескного дома, давно заброшенного, благодаря суевериям, о коих мы не расспрашивали, и находившегося в полуразрушенном состоянии в уединенной и пустынной части Сен-Жерменского предместья<sup>4</sup>.

Если бы рутина нашей жизни в этом месте была известна миру, нас бы сочли за сумасшедших — хотя, быть может, сумасшедших безобидного свойства. Наша отъединенность была полная. Мы не допускали никаких посетителей. Местность нашего убежища тщательно соблюдалась в тайне от прежних моих знакомых; и уже несколько лет, как Дюпен перестал знать кого-либо, или быть кому-либо известным в Париже. Мы существовали лишь сами в себе и друг в друге.

У друга моего была прихоть фантазии (ибо как иначе мне это назвать?) быть влюбленным в Ночь во имя ее самой; и в эту *причудливость*, как во все другие его причуды, я спокойно вовлекся, отдаваясь его безумным выдумкам с полным *увлечением*. Черное божество не могло бы само по себе пребывать с нами всегда; но мы могли подделать его присутствие. При первых проблесках утренней зари мы закрывали все тяжеловесные ставни нашего старого жилища и зажигали две свечи, которые, будучи сильно надушены, бросали лишь очень слабые и очень призрачные лучи. При помощи их мы после этого погружали наши души в сновидения — читали, писали или разговаривали, пока часы не возвещали нам пришествие настоящей Тьмы. Тогда мы устремлялись на улицу, рука об руку, продолжая беседу дня, или блуждая и уходя далеко, до позднего часа, ища среди диких светов и теней людного города той бесконечности умственного возбуждения, которую не может доставить спокойное наблюдение.

В такие часы я не мог не замечать с восхищением (хотя богатая идеальность моего друга должна была меня подготовить к этому) особой аналитической способности в Дюпене. По-видимому, он даже извлекал чрезвычайное наслаждение из применения ее — или, пожалуй, точнее говоря, из ее явного выказывания — и без колебаний признавался в извлекаемом, таким образом, наслаждении. Он нахваливал мне с ти-

хим хохочущим смехом, что у множества людей, по отношению к нему, есть окна в груди, и такие утверждения он обыкновенно тотчас подтверждал прямыми и весьма поразительными доказательствами его близкого знания моего собственного сердца. Его манера в такие мгновения была скована и отвлеченна; в его глазах отсутствовало выражение; в то время как его голос, обыкновенно богатый тенор, доходил до дисканта, который звучал бы шаловливо, если бы не обдуманность и не полная отчетливость в способе выражений. Наблюдая его в таких настроениях, я часто размышлял о старинной философии — двураздельной души, души-двойника, и забавлялся фантазией о двойном Дюпене — творческом и разрешающем.

Да не будет предположено из того, что я только что сказал, что я развиваю какую-нибудь тайну или пишу роман. То, что я описал в данном французе, было просто следствием возбужденного, и, быть может, большого разума. Но относительно характера его замечаний, в описываемый период, наилучшее представление может дать пример.

Мы бродили однажды ночью вдоль по длинной, грязной улице, что находится по соседству с Пале-Рояль<sup>5</sup>. Мы были оба, по-видимому, погружены каждый в свои мысли, и ни один из нас не произнес ни слова, по крайней мере, в течение пятнадцати минут. Вдруг Дюпен, совершенно неожиданно, разразился словами:

— Он весьма малого роста, это правда, и более был бы он на своем месте в *Théâtre des Variétés*\*.

— В этом не может быть сомнения, — ответил я не думая, и не замечая сперва (настолько я был погружен в размышление) необыкновенной манеры, которою говорящей согласовал свои слова с моими размышлениями. Мгновение спустя я опомнился, и удивление мое было очень сильно.

— Дюпен, — сказал я очень серьезно, — это вне моего понимания. Скажу без колебаний, я ошеломлен, и едва могу верить моим чувствам. Как это было возможно, чтобы вы знали, что я думал о ... ? — Здесь я помедлил, чтобы удостовериться несомненно, действительно ли он знал, о ком я думал.

---

\* Театр «Варьете»<sup>6</sup> (фр.). — Примеч. ред.

— О Шантильи, — сказал он. — Зачем вы остановились! Вы сделали про себя замечание, что его уменьшительный рост делает его неподходящим для трагедии.

Это было как раз то, что составляло предмет моих размышлений. Шантильи был некогда сапожником-кропателем на улице Сен-Дени и, помешавшись на сцене, испытал себя в роли Ксеркса, в так называемой трагедии Кребийона<sup>7</sup>, и был достопримечательно и язвительно осмеян за свои пыточные старания.

— Скажите мне, ради бога, — воскликнул я, — с помощью какого метода — если тут есть метод — вы были способны измерить мою душу в данном случае? — На самом деле, я был даже более поражен, чем хотел это выразить.

— Это торговец фруктами, — ответил мой друг, — привел вас к заключению, что починятель подошв — недостаточного роста для Ксеркса, *и для чего-либо в таком роде.*

— Торговец фруктами! — вы удивляете меня, я не знаю никакого торговца фруктами.

— А тот человек, что набежал на вас, когда мы входили в улицу — должно быть, минут пятнадцать тому назад.

Я вспомнил, действительно, что торговец фруктами, неся на своей голове огромную корзинку с яблоками, почти уронил меня случайно, когда мы проходили с улицы К. на ту главную улицу, где мы находились; но что общего могло это иметь с Шантильи, я не считал возможным уразуметь.

В Дюпене не было ни малейшей примеси *шарлатанства.*

— Я объясню, — сказал он, — и чтобы вы могли понять все совершенно ясно, мы сначала проследим ход ваших размышлений от того мига, о котором я говорил, до мгновения *встречи* с упомянутым торговцем фруктами. Главные звенья цепи следуют таким образом — Шантильи, Орион, доктор Никольс, Эпикур<sup>8</sup>, стереотомия (пресечение твердых тел), камни мостовой, торговец фруктами.

Мало есть людей, которые бы в тот или иной период их жизни не забавлялись тем, что пробегали обратным ходом шаги, коими были достигнуты особые заключения их ума. Занятие это часто полно интереса, и кто прибегнет к нему впервые, тот будет удивлен, по-видимому, безграничным различием и бессвязностью между исходной точкой и конеч-

ной. Каково же должно было быть тогда мое изумление, когда я услышал, что француз сказал то, что он только что сказал, и когда я не мог не признать, что он сказал правду. Он продолжал:

— Мы говорили о лошадях, если я припоминаю правильно, как раз перед тем, когда мы ушли с улицы К. Это было последней темой нашего разговора. Когда мы переходили на эту улицу, торговец фруктами с огромной корзиной на голове, быстро пройдя мимо нас, толкнул вас на кучу камней, нагроможденных на том месте, где переделывают мостовую. Вы наступили на один из валяющихся обломков камня, поскользнулись, слегка вывихнули себе щиколотку, казались чувствующим боль или раздосадованным, пробормотали несколько слов, обернувшись посмотрели на кучу камней и после этого продолжали дорогу в молчании. Я не был особенно внимателен к тому, что вы делали: но наблюдение стало для меня, за последнее время, известного рода необходимостью.

— Вы продолжали держать свои глаза устремленными на землю, смотря с живым выражением на ямки и выбоины в мостовой (таким образом, я увидел, что вы все еще думаете о камнях), пока мы не достигли маленькой улочки Ламартина<sup>9</sup>, которая была вымощена в виде опыта, заходящими один на другой, и закрепленными, большими камнями. Тут ваше лицо прояснилось, и, заметив, что ваши губы движутся, я не мог сомневаться, что вы прошептали слово «стереотомия», термин весьма аффективно применяемый к такому разряду мостовой. Я знал, что вы не могли бы сказать себе «стереотомия» без того, чтобы не подумать об атомах, затем о теориях Эпикура. И так как недавно, когда мы говорили о данном предмете, я обратил ваше внимание на то, как своеобразно (хоть это мало отмечено) смутные догадки этого благородного грека встретились с последней теорией космогонии из туманных пятен, я почувствовал, что вы не могли не поднять глаз к великому туманному пятну Ориона, и с уверенностью я ждал, что вы так сделаете. Вы взглянули вверх, и я удостоверился, что я правильно следил за ходом вашей мысли. Но в той язвительной *tirade* относительно Шантильи, которая появилась во вчерашнем номере «*Musée*», сатирик, делая непочтительные намеки на переме-

ну кропателем имени при надевании котурнов, цитировал латинский стих, о котором мы часто говорили. Я разумею строку —

Perdidit antiquum litera prima sonum\*.

Я говорил вам, что стих этот имел отношение к Ориону, раньше писавшемуся Урион, и благодаря известным язвительностям, связанным с этим объяснением, я был уверен, что вы не могли его забыть. Было ясно поэтому, что вы не могли преминуть сочетать два представления Ориона и Шантильи. Что вы их сочетали, я это увидел по характеру улыбки, скользнувшей по вашим губам. Вы подумали об умерщвлении бедного сапожника. До этих пор вы шли сторбившись, но тут я увидел, что вы выпрямились во весь ваш рост. Я убедился тогда, что вы размышляли об уменьшительной фигуре Шантильи. В эту минуту я прервал ваше размышление замечанием, что действительно он *весьма* мал ростом, этот Шантильи, и что более бы он был на месте в *Théâtre des Variétés*.

Недолго спустя после этого мы читали вечернее издание «Gazette de Tribunaux»\*\*, и следующие столбцы остановили наше внимание.

#### «Необыкновенное убийство»

Сегодня утром, около трех часов, жители квартала Сен-Рок были разбужены целым рядом ужасающих криков, исходивших, по-видимому, из четвертого этажа в доме, находящемся на улице Морг, который, как известно, занимали мадам Л'Эспане и ее дочь, мадемуазель Камилла Л'Эспане. После некоторого промедления, причиненного напрасной попыткой проникнуть в квартиру обычным образом, главная дверь была сломана ломом, и восемь или десять соседей вошли в сопровождении двух *жандармов*. Тем временем крики прекратились, и когда входившие бросились на первую лестницу, были различимы два или более грубые голоса в серд-

\* Первая буква звук потеряла первичный<sup>10</sup> (лат.). — Примеч. пер.

\*\* «Судебная газета» (фр.). — Примеч. пер.

том споре, шедшие, казалось, из верхней части дома. Когда достигли второй площадки, эти звуки сразу прекратились и все стало совершенно тихо. Вошедшие поспешно рассеялись, переходя из комнаты в комнату. Достигнув обширной задней комнаты в четвертом этаже (дверь в которую, будучи замкнута ключом изнутри, была взломана), вошедшие увидели зрелище, поразившее каждого не только ужасом, но и изумлением.

В комнате был самый дикий беспорядок, мебель была сломана и разбросана по всем направлениям. Там была лишь одна кровать, и постель с нее была сорвана и брошена на середину пола. На кресле лежала бритва, запачканная кровью. На очаге были две или три длинные и густые пряди седых человеческих волос, также обрызганные кровью и, по-видимому, вырванные с корнем. На полу лежали четыре золотые монеты в двадцать франков, серьга с топазом, три большие серебряные ложки, три меньших размеров ложки из мельхиора и два мешочка, содержавшие около четырех тысяч франков золотом. Ящики одного комода в углу были выдвинуты и, по-видимому, разграблены, хотя многие предметы были в них нетронуты. Под *постелью* (не под кроватью) был найден небольшой железный сундучок нетронутым. Он был отперт, ключ находился еще в замке. В нем не было ничего, кроме нескольких старых писем и других незначительных бумаг.

В комнатах не было никаких следов мадам Л'Эспане, но в очаге заметили необыкновенное количество сажи, была осмотрена дымовая труба, и (страшно сказать!) тело дочери, головою вниз, было вытащено оттуда, — оно было втиснуто в узкое отверстие на значительное расстояние. Тело было совершенно теплым. При исследовании его было замечено много ссадин, без сомнения, причиненных тем насилем, с которым тело было втиснуто в камин и высвобождено оттуда. На лице были разные глубокие царапины, а на горле темные кровоподтеки и глубокие вдавлины от ногтей, как если бы умершая была насмерть задушена.

После основательного исследования каждой части дома, без какого-либо дальнейшего открытия, вошедшие направились на небольшой вымощенный двор, находившийся сзади здания, где лежало тело старой дамы, с горлом настолько перерезанным, что при попытке поднять ее, голова отпала.

И тело, и голова были страшно изуродованы, тело настолько, что едва сохраняло какое-либо подобие человеческого.

К этой чудовищной тайне пока еще нет, как мы думаем, никакого ключа».

Газета следующего дня давала такие дополнения.

«Трагедия на улице Морг

Целый ряд отдельных лиц был допрошен в связи с этим необычайнейшим и страшным делом (слово *affaire* не было еще во Франции таким легковесным по смыслу, как оно кажется теперь нам. — Э. А. П.), но ничего еще не обнаружилось такого, что бросало бы на него свет. Мы даем ниже все полученные существенные свидетельства.

*Полин Дюбур*, прачка, показывает, что она знала обеих покойниц в течение трех лет, в продолжение какого периода она стирала на них. Старая дама и ее дочь, казалось, находились в добрых отношениях и были весьма заботливы одна к другой. Платили они отлично. Ничего не могла сказать касательно способа их жизни или их средств к существованию. Думала, что мадам Л'Эспане была гадалкой и этим жила. Говорили, что у нее были кое-какие денежки. Никогда не встречала в доме никого, когда приносила белье или приходила взять его. Уверена, что у них не было никакой прислуги. Как кажется, жилой обстановки не было ни в какой части дома, кроме четвертого этажа.

*Пьер Моро*, торговец табаком, показывает, что он обыкновенно поставлял мадам Л'Эспане, вот уже почти четыре года, небольшие количества курительного и нюхательного табаку. Родился по соседству, в данном квартале, и жил здесь всегда. Покойница и ее дочь занимали дом, в котором найдены их тела, уже более шести лет. Раньше в нем жил ювелир, который верхние комнаты отдавал в наймы разным лицам. Дом был собственностью мадам Л'Эспане. Она была недовольна жильцом, который злоупотреблял помещением, и переселилась в это здание сама, отказываясь отдать в наймы какую-либо его часть. Старая дама была в состоянии младенчества. Свидетель видел дочь ее лишь пять или шесть раз за эти шесть лет. Обе они жили чрезвычайно уединенно. Говорили, что у них были деньги. Слышал, как говорили среди соседей, что мадам Л'Эспане предсказывала судьбу, но не верил в это. Никогда не видал, чтобы кто-нибудь входил в двери, кроме

старой дамы и ее дочери; раз только или два приходил коммиссионер, да восемь или десять раз доктор.

Многие другие лица из соседей дали показания в том же смысле. Не упоминалось ни о ком, кто посещал бы дом. Было неизвестно, были ли в живых какие-нибудь родственники мадам Л'Эспане и ее дочери. Ставни окон на передней части дома редко открывались. Ставни задней части дома всегда были закрыты, кроме большой задней комнаты, на четвертом этаже. Дом — хороший, не очень старый.

*Изидор Мюзэ*, жандарм, показывает, что он был позван в дом около трех часов утра и увидел, что человек двадцать или тридцать на улице стараются проникнуть в дом. Он наконец взломал дверь — не ломом, а штыком. Сделать это ему не представлялось затруднительным благодаря тому, что двери были двустворчатые и ни сверху, ни снизу не были задвинуты засовы. Крики продолжались, пока дверь не была взломана, и тогда внезапно прекратились. Казалось, что это были пронзительные крики кого-то (или нескольких), кто находился в великой пытке, они были громкие и протяжные, а не короткие и быстрые. Свидетель первым взошел на лестницу. Достигнув первой площадки, он услышал два голоса, в громком и гневном споре — один голос грубый, другой — гораздо пронзительнее — очень странный голос. Он мог различить несколько слов, сказанных первым голосом, который был голосом какого-то француза. Вполне убежден, что это был не женский голос. Мог различить слова „*sacré*“ и „*diable*“, „*черт*“ и „*дьявол*“. Пронзительный голос принадлежал какому-то иностранцу. Не мог бы сказать с уверенностью, был ли то голос мужчины или женщины. Не мог разобрать, что говорилось, но думает, что язык был испанский. В каком состоянии находилась комната и в каком состоянии были тела, это было описано данным свидетелем так, как мы рассказали вчера.

*Анри Дюваль*, сосед, и по ремеслу серебрянник, показывает, что он был одним из тех, которые первыми вошли в дом. Подтверждает свидетельство Мюзэ в главном. Как только дверь была взломана, они снова притворили ее, чтобы удерживать толпу, которая собиралась очень быстро, несмотря на поздний час ночи. Пронзительный голос, как думает этот свидетель, принадлежал какому-нибудь итальянцу. Уверен,

что это был не француз. Не мог бы с уверенностью сказать, что это был мужской голос. Он мог быть и женским. Не знает итальянского языка. Не мог различить слов, но, судя по интонации, убежден, что говорившей был итальянец. Знал мадам Л'Эспане и ее дочь. Часто разговаривал с обеими. Уверен, что пронзительный голос не принадлежал ни той, ни другой покойнице.

*Оденгеймер*, ресторатор. Этот свидетель по собственной воле дает показания. Не говорит по-французски, и потому был допрошен через переводчика. Родом из Амстердама. Проходил мимо дома в то время, когда там были крики. Они длились несколько минут — вероятно, минут десять. Крики были долгие и громкие — очень страшные и мучительные. Был одним из тех, кто вошел в здание. Подтвердил предыдущие показания во всех отношениях, кроме одного. Уверен, что пронзительный голос — мужской — и принадлежат французу. Не мог различить произносимых слов. Они были громкие и быстрые — неровные — говорились, по-видимому, как в страхе, так и в гневе. Голос был резкий. Не мог бы сказать, что голос был пронзительный. Грубый голос сказал несколько раз „*sacré*“, „*diable*“, и однажды „*mon Dieu*“ („*черт*“, „*дьявол*“, и однажды „*Боже мой*“).

*Жюль Миньо*, банкир, фирмы „Миньо и сыновья“, улица Делорен. — Миньо-старший. У мадам Л'Эспане была некоторая собственность. Он ей открыл счет в своем банке, весом такого-то года (восемь лет тому назад). Делала частые вклады малыми суммами. Не предьявляла никаких чеков до двух дней с половиной перед смертью, когда самолично взяла сумму в 4000 франков. Эта сумма была уплачена золотом, и с деньгами был послан на дом клерк.

*Адольф Лебон*, клерк в фирме „Миньо и сыновья“, показывает, что в упомянутый день, около полудня, он провожал мадам Л'Эспане в ее жилище, с четырьмя тысячами франков, положенными в два мешочка. Когда дверь была открыта, появилась мадемуазель Л'Эспане и взяла из рук у него один мешочек, между тем как старая дама освободила его от другого. Он поклонился им тогда и отбыл. Не видал кого бы то ни было на улице в это время. Это глухой закоулок — очень уединенный.

*Уильям Берд*, портной, показывает, что он был одним из тех, которые вошли в дом. Он англичанин. Жил в Париже два года. Был одним из первых, кто вошел на лестницу. Слышал спорящие голоса. Грубый голос принадлежал французу. Мог разобрать несколько слов, но не может сейчас все их припомнить. Слышал ясно „*sacré*“ и „*mon Dieu*“. В этот миг был такой звук, как будто боролось несколько человек. Звук схватки и скребущего шарканья ногами. Пронзительный голос был очень громок; громче, чем грубый. Уверен, что это не был голос англичанина. По видимости, это был голос немца. Это мог быть женский голос. Не понимает по-немецки.

Четверо из вышеназванных свидетелей, вторично допрошенные, показали, что дверь комнаты, в которой было найдено тело мадемуазель Л'Эспане, была заперта изнутри, когда вошедшие достигли ее. Тишина была полная — ни стонов, ни каких-либо шумов. Когда дверь была взломана, они не увидели никого. Окна как задней, так и передней комнаты, были закрыты и плотно заперты изнутри. Дверь, соединяющая обе комнаты, была закрыта, но не заперта. Дверь, ведущая из передней комнаты в коридор, была заперта ключом изнутри. Небольшая комната, в передней части дома, на четвертом этаже, при входе в коридор, была открыта и дверь была притворена. Эта комната была загромождена старыми постелями, ящиками, и т. п. Предметы эти были тщательно отодвинуты и осмотрены. Не было ни одного дюйма в какой-либо части дома, который не был бы тщательно обыскан. Каминные трубы были прочищены сверху донизу. Дом был четырехэтажный, с чердаками (*мансардами*), опускная дверь на крыше была забита гвоздями очень основательно — и, по видимому, не открывалась в течение целого ряда лет. Время между звуком спорящих голосов и взломом двери было установлено свидетелями различно. По словам некоторых, оно длилось лишь три минуты, по словам других — пять. Дверь была открыта с трудом.

*Альфонсо Гарсио*, предприниматель похоронных процессов, показывает, что он живет на улице Морг. Родом из Испании. Был одним из тех, которые вошли в дом. Не поднимался на лестницу. Нервен и боялся последствий волнения. Слышал голоса в споре. Грубый голос принадлежал францу-

зу. Не мог различить, что говорилось. Пронзительный голос принадлежал англичанину — уверен в том. Не знает английского языка, но судит по интонации.

*Альберто Монтани*, кондитер, показывает, что он был среди первых, вошедших на лестницу. Слышал упомянутые голоса. Грубый голос принадлежал французу. Различил несколько слов. Говоривший, по-видимому, укорял. Не мог разобрать отдельных слов, произносимых пронзительным голосом. Этот голос говорил быстро и неровно. Думает, что это был голос русского. Подтверждает общие свидетельства. Сам — итальянец. Никогда не разговаривал ни с каким уроженцем России.

Некоторые свидетели, вторично допрошенные, засвидетельствовали, что каминные трубы во всех комнатах четвертого этажа слишком узки, чтобы дать проход какому-нибудь человеческому существу. Говоря о чистке труб, они разумели не трубочистов, а цилиндрические метущие щетки, которые употребляются трубочистами при чистке каминов. Эти щетки были пропущены вверх и вниз по всем дымовым трубам в доме. В здании нет никакой задней лестницы, по которой бы кто-нибудь мог спуститься, в то время как входившие поднимались по лестнице. Тело мадемуазель Л'Эспане было так плотно втиснуто в каминную трубу, что его не могли вытащить назад, пока четверо или пятеро из пришедших не применили всю свою силу.

*Поль Дюма*, врач, показывает, что он был призван осмотреть тела на рассвете дня. Оба тела лежали на парусине, натянутой на станке кровати, в комнате, где была найдена мадемуазель Л'Эспане. Тело молодой дамы было сплошь покрыто кровоподтеками и ссадинами. Тот факт, что оно было втиснуто в каминную трубу, мог бы служить достаточным объяснением такому виду тела. Горло было сильно воспалено. На нем было несколько глубоких царапин как раз под подбородком, вместе с целым рядом синих пятен, которые были, очевидно, следами от пальцев. Лицо было страшно изменено в цвете, и глазные яблоки выступили наружу. Язык был частью прокушен. Большой кровоподтек был открыт в углублении желудка, получившийся, по-видимому, от надавления коленом. По мнению месье Дюма, мадемуазель Л'Эспане была задушена насмерть кем-то неизвестным, или

несколькими неизвестными. Тело матери было чудовищно изуродовано. Все кости правой ноги и руки были более или менее сломаны. Берцовая кость левой ноги была весьма расщеплена, так же как все ребра на левой стороне. Все тело было в страшных кровоподтеках и пятнах. Невозможно сказать, каким образом могли быть причинены такие повреждения. Тяжелая дубина, или широкая полоса железа — кресло — какое-либо большое, тяжелое, и тупое оружие могло произвести подобные результаты, если бы оно находилось в руках очень сильного человека. Никакая женщина не могла бы причинить таких ударов каким-либо орудием. Голова умершей, когда ее увидел свидетель, была совершенно отделена от тела, и также, в значительной степени, была раздроблена. Горло было, очевидно, перерезано каким-нибудь очень острым инструментом, вероятно, бритвой.

*Александр Этъени*, хирург, был призван осмотреть тело вместе с месье Дюма. Подтвердил свидетельство и мнения месье Дюма.

Ничего важного более не было выяснено, хотя было допрошено еще несколько других лиц. Убийства, такого таинственного, и такого смутительного во всех своих частностях, никогда раньше не совершалось в Париже — если, вообще, какое-либо убийство было, в действительности, здесь совершено. Полиция была в полнейшем недоумении — обычное обстоятельство в делах такого рода. Нет, надо сказать, ни намека на какую-либо разгадку».

Вечерняя газета подтвердила, что величайшее волнение продолжает царить в квартале Сен-Рок, — что помещения упомянутого дома снова были тщательно обысканы, и были сделаны новые допросы свидетелей, но все без какого-либо результата. Постскриптум возвещал, однако, что Адольф Лебон был арестован и заключен в тюрьму — хотя против него не было, по-видимому, никаких обвиняющих указаний, кроме фактов уже описанных.

Дюпен, казалось, был особенно заинтересован ходом этого дела — по крайней мере, так я решил по его манере, ибо он не делал никаких пояснений. Лишь после того как было возвещено, что Лебон заключен в тюрьму, он спросил меня, что я думаю касательно убийства.

Я мог лишь согласиться со всем Парижем, полагая, что тайна неразрешима. Я не видел никаких средств, с помощью которых было бы возможно проследить убийцу.

— Мы не должны судить о средствах, — сказал Дюпен, — по этой шелухе исследования. Парижская полиция, столь прославленная за *тонкое понимание*, хитра, но не более. В приемах ее нет метода, кроме метода мгновения. Она делает обширный парад мер; но, нередко, они так дурно приспособлены к назначенной цели, что напоминают месье Журдена<sup>11</sup>, спрашивающего *sa robe de chambre pour mieux entendre la musique\**. Получаемые результаты нередко удивительны, но по большей части они являются следствием простого прилежания и расторопности. Когда этих качеств недостаточно, ее планы рушатся. Видок<sup>12</sup>, например, был превосходный угадчик и человек упорный. Но, без воспитанной мысли, он постоянно был вводим в заблуждение, именно напряженностью своих расследований. Он наносил ущерб своему зрению тем, что держал предмет слишком близко. Он мог видеть, быть может, один пункт, или два пункта, с необыкновенной ясностью, но, делая так, он, по необходимости, терял общий вид рассматриваемого. Тут есть нечто, что может быть названо — быть слишком глубоким. Истина не всегда находится в колодеце<sup>13</sup>. На самом деле, что касается знания наиболее важного, я полагаю, что истина находится неизменно на поверхности. Не в долах она, где мы ее ищем, а находится на горных вершинах. Способы и источники такого рода ошибки превосходно типизируются в созерцании небесных тел. Смотреть на звезду беглым взглядом — созерцать ее косвенным образом, поворачивая к ней внешние части *сетчатки* (более чувствительные к слабым восприятиям света, нежели части внутренние), это значит видеть звезду явственно — это значит иметь наилучшую оценку ее блеска — блеска, который затуманивается как раз в соответствии с тем, что мы *целиком* устремляем на нее наше зрение. На глаз, в последнем случае, действительно, падает большее число лучей, но в первом случае существует более утонченная способность восприятия. Ненадлежащей глубиной мы делаем мысль смутной и

---

\*...свой халат, чтобы лучше слышать музыку (фр.). — Примеч. пер.

ослабленной; и даже Венеру можно заставить исчезнуть с небосвода рассмотрением слишком длительным, слишком сосредоточенным или слишком прямым.

Что до этого убийства, сделаем некоторое рассмотрение сами, прежде чем составлять о нем какое-либо мнение. Следствие нас позабавит, — (я пашел, в данном случае, этот термин довольно странным, но не сказал ничего), — и, кроме того, Лебон однажды оказал мне услугу, за которую я ему не буду неблагодарен. Мы пойдем и посмотрим помещения дома нашими собственными глазами. С префектом полиции Ж. я знаком и получу необходимое разрешение без затруднений.

Разрешение было получено, и мы тотчас отправились на улицу Морг. Это одна из тех жалостных улочек, которые соединяют улицу Ришелье и улицу Сен-Рок. Было поздно пополудни, когда мы достигли ее, ибо этот квартал находится на большом расстоянии от того квартала, в котором мы жили. Дом был быстро найден, так как около него еще стояли разные люди и смотрели на закрытые ставни с беспредметным любопытством, с противоположной стороны улицы. Это был обыкновенный парижский дом с воротами, на одной стороне которых была будка с выдвигаемым оконцем, указывающая на *ложу консьержа*. Прежде чем войти, мы пошли дальше по улице, повернули в боковой переулок, и потом, снова повернув, прошли мимо задней части дома — Дюпен, тем временем, осматривал все по соседству, так же как дом, с той подробной тщательностью внимания, для которой я не усматривал никакого надлежащего предмета. Вернувшись назад, мы снова пришли к передней части здания, позвонили и, показав наше разрешение, были впущены полицейскими. Мы вошли на лестницу — в комнату, где было найдено тело мадемуазель Л'Эспане и где еще находились обе покойницы. В комнате, как обычно в этих случаях, было предоставлено царить первичному беспорядку. Я не увидел ничего, кроме того, что было описано в «*Gazette de Tribunaux*». Дюпен подробно осматривал решительно все — не исключая тела жертв. Затем мы пошли в другие комнаты и на двор; один жандарм сопровождал нас всюду. Мы были заняты осмотром, до того как стемнело, и после этого отправились назад. По дороге до-

мой мой товарищ остановился на минутку около конторы одной из ежедневных газет.

Я сказал, что причуды моего друга были многообразны, и я их *менажировал* — для этого слова нет равноценного на английском языке. Ему теперь пришло в голову отклонить всякий разговор об убийстве до полудня следующего дня. Затем он спросил меня внезапно, не заметил ли я чего-нибудь *особенного* на месте преступления. Было что-то в его манере, с какую он сделал ударение на слове «особенный», что заставило меня вздрогнуть, не знаю почему.

— Нет, ничего *особенного*, — сказал я, — ничего более, по крайней мере, кроме того, что мы оба уже видели описанным в газете.

— Газета, — продолжал он, — боюсь, не проникла в необычный ужас дела. Но отбросим праздные мнения этой печатной бумаги. Мне представляется, что эта тайна считается неразрешимой на том самом основании, которое должно было бы заставить считать ее легкой для разрешения — я разумею *чрезвычайный* характер отличительных ее черт. Полиция смущена кажущимся отсутствием побудительной причины — не самого убийства, но жестокости убийства. Она озадачена, кроме того, кажущейся невозможностью примирить спорящие голоса с тем фактом, что наверху никого не было найдено, кроме убитой мадемуазель Л'Эспане, и что не было никакой возможности выйти, без того, чтобы не быть увиденным теми, кто поднимался по лестнице. Дикий беспорядок в комнате; тело, втиснутое головою вниз в каминную трубу; страшное изуродование тела старой дамы; эти соображения, вместе с только что упомянутыми, и другими, о которых нет надобности упоминать, оказались достаточными, чтобы парализовать действия властей и совершенно поставить в тупик хваленую *тонкость понимания* правительственных агентов. Они впали в грубую, но обычную ошибку, смешав необыкновенное с отвлеченным. Но именно, следуя за такими отклонениями от плана обычного, разум ошупывает свою дорогу, если он находит ее вообще, в своих поисках истины. В изысканиях таких, какие предприняты нами ныне, не столь важно спрашивать «что случилось», как «что случилось из того, что никогда не случалось раньше». На самом деле, легкость, с которой я достигну, или уже достиг,

разрешения этой тайны, находится в прямом соотношении с кажущейся глазам полиции, видимой ее неразрешимостью.

Я пристально посмотрел на говорившего с немym изумлением.

— Я жду теперь, — продолжал он, смотря на дверь нашей комнаты, — я жду теперь некоего человека, который, хотя, быть может, и не будучи свершителем этих зверств, должен быть, в некоторой мере, запутан в их свершении. В худшей части совершенных преступлений, вероятно, он неповинен. Надеюсь, что я прав в этом предположении, ибо на этом я строю все мое чаяние расшифровать загадку целиком. Я жду некоего человека, здесь, в этой комнате, каждую минуту. Это верно, что он может не прийти; но вероятие гласит за то, что он придет. Если он придет, необходимо его удержать. Вот пистолеты; мы оба знаем, как ими пользоваться, ежели случай требует их применения.

Я взял пистолеты, мало разумея, почему я это сделал, и едва веря своим ушам, между тем как Дюпен продолжал, точно бы беседуя с самим собой. Я уже говорил об его отвлеченной рассеянной манере в такие минуты. Его речь была обращена ко мне; но его голос, хотя отнюдь не громкий, отличался той интонацией, которую обыкновенно употребляют, когда говорят с кем-нибудь, находящемся на далеком расстоянии. Его глаза, лишенные выражения, глядели лишь на стену.

— Что голоса в споре, — сказал он, — услышанные теми, кто входил по лестнице, не были голосами самих женщин, вполне доказано свидетелями. Это освобождает нас от всякого сомнения касательно вопроса, не могла ли старая дама сперва убить свою дочь и потом совершить самоубийство. Я говорю об этом пункте, главным образом, во имя метода, ибо сила мадам Л'Эспане была бы крайне недостаточной, чтобы втиснуть тело дочери в каминную трубу, как оно было найдено, и самое свойство ран, найденных на ее теле, целиком исключает мысль о ее самоубийстве. Убийство, таким образом, было совершено кем-то третьим; и голоса этих третьих были слышны спорящими. Позвольте мне теперь обратить ваше внимание не на все свидетельство касательно этих голосов, но на то, что было *особенного* в этом свидетельстве. Не заметили ли вы здесь чего-нибудь особенного?

Я указал, что, в то время как все свидетели согласовались в предположении, что грубый голос принадлежал французу, было много разногласия касательно пронзительного, или, как определил один свидетель, резкого голоса.

— В этом заключается самое свидетельство, — сказал Дюпен, — но это не составляет особенности свидетельства. Вы не заметили ничего отличительного. Однако же тут *было* нечто для наблюдения. Свидетели, как вы видите, согласуются касательно грубого голоса; они были в этом единогласны. Но касательно пронзительного голоса особенность состоит — не в том, что свидетели разнствуют — а в том, что, когда какой-нибудь итальянец, англичанин, испанец, голландец и француз пытаются описать его, каждый говорит о нем как о голосе *чужеземца*. Каждый уверен, что это не был голос кого-либо из его земляков. Каждый сравнивает его — не с голосом представителя какой-нибудь народности, язык которой ему ведом, — но наоборот. Француз предполагает, что это голос испанца, и «мог бы различить некоторые слова, *если бы он понимал испанский язык*». Голландец утверждает, что это был голос француза; но мы видим сообщение, что «*не понимая по-французски, свидетель был допрошен через переводчика*». Англичанин думает, что это голос немца, но «*он не знает немецкого языка*». Испанец «уверен», что это был голос англичанина, но «судит лишь по интонации, *так как английский язык не знает*». Итальянец полагает, что это голос русского, но «*он никогда не разговаривал с каким-либо уроженцем России*». Другой француз спорит, кроме того, с первым, и уверен, что это был голос итальянца; но, *не зная этого языка*, он, как и испанец, «судит по интонации». Итак, сколь же необычно странен должен был быть в действительности этот голос, если относительно него *могли* быть собраны такие свидетельства! Голос, *в тонах* которого обитатели пяти великих делений Европы не могли признать ничего им знакомого! Вы скажете, что это мог быть голос азиата — или африканца. Ни азиаты, ни африканцы не изобилуют в Париже; но, отрицая указания, я хочу только обратить ваше внимание на три пункта. Голос, как определил один свидетель, «был скорее резкий, чем пронзительный». Он был, как его изображают два другие свидетеля, *быстрый и неровный*. Никаких

слов — никаких звуков, похожих на слова, ни один свидетель не различил.

— Я не знаю, — продолжал Дюпен, — какое впечатление, до сих пор, я мог оказать на ваше понимание, но я не колеблясь скажу, что законные выводы даже из этой части свидетельства — части, касающейся грубого голоса и пронзительного голоса — сами по себе достаточны, чтобы породить подозрение, которое должно было бы дать направление всему дальнейшему ходу в расследовании тайны. Я сказал «законные выводы», но этим не вполне выразил свое мнение. Я хотел указать, что такие выводы суть *единственно* надлежащие, и что из них, как особый результат, *неизбежно* возникает некоторое подозрение. Что это за подозрение, я однако же пока еще не скажу. Я только хочу закрепить в вашем уме, что для меня оно является таковым, что, достаточным образом, вынуждает меня придать законченную форму, определенное направление вниманию, при моем исследовании комнаты.

Перенесемся теперь в воображении в эту комнату. Чего прежде всего мы будем там искать? Тех средств, с помощью которых убийцы ускользнули. Не слишком много сказать, что никто из нас обоих не верит в сверхъестественное событие. Мадам и мадемуазель Л'Эспане были убиты не духами. Свершители деяния были существами вещественными и ускользнули вещественным образом. Каким же именно образом? К счастью, относительно данного пункта есть лишь один способ размышления, и этот способ *должен* привести нас к определенному решению. Расследуем, по отдельности, возможные средства ускользнуть. Ясно, что убийцы были в комнате, где была найдена мадемуазель Л'Эспане, или, по крайней мере, в комнате, к ней прилегающей, когда вошедшие поднимались по лестнице. Таким образом, лишь в этих двух комнатах мы должны искать выходов. Полиция вскрыла полы, потолки и стены, во всех направлениях. Никакие *тайные* выходы не могли бы ускользнуть от ее бдительности. Но не доверяясь *ее* глазам, я осмотрел все моими собственными. Тайных выходов, на самом деле, *нет*. Обе двери, ведущие из комнат в коридор, были достоверно заперты, и ключи были вставлены изнутри. Обратимся к каминным трубам. Эти последние, хотя

обыкновенно в восемь или в десять футов ширины над очагами, не пропустят в дальнейшем восхождении даже тела сколько-нибудь крупной кошки. Невозможностью ускользнуть указанным путем, таким образом, безусловно установленной, мы приведены к окнам. Через окна передней комнаты никто не мог бы бежать, не обратив на себя внимание толпы, находившейся на улице. Убийцы *должны* были, таким образом, бежать через окна задней комнаты. Теперь, приведенные к такому заключению столь недвусмысленным образом, мы не можем, как размышляющие, отбросить этот способ, по причине кажущейся его невозможности. Нам остается лишь доказать, что эта кажущаяся «невозможность» в действительности не такова.

В комнате два окна. Одно из них не загромождено мебелью, и видно целиком. Нижняя часть другого окна скрыта изголовьем тяжелой кровати, приставленной к ней вплотную. Первое окно, как было найдено, было плотно заперто изнутри. Оно оказывало сопротивление крайнему напряжению силы тех, которые пытались его поднять. В оконнице второго было усмотрено большое пробурованное отверстие, и в него был вдвинут очень толстый гвоздь, почти до головки. При исследовании другого окна в него был найден вогнутым подобный же гвоздь; и весьма сильная попытка поднять эту раму также не удалась. Полиция после этого вполне удовлетворилась заключением, что бегство не совершилось в данном направлении. И *поэтому* было сочтено излишним вытащить гвозди и открыть окна.

Мое собственное расследование было несколько более подробно, и это по причине, на которую я уже указал — ибо здесь, я знал, всякая видимая невозможность *должна* была быть доказана, как таковая, не существующею.

Я продолжал думать так — а *posteriori*\*. Убийцы *свершили* свое исчезновение через одно из этих окон. Раз это так, они не могли бы снова закрепить оконницы изнутри, как они были найдены закрепленными — соображение, очевидностью своей положившее конец расследованиям полиции в данной области. Однако оконницы *были* закреплены. Они

---

\* А *posteriori* — исходя из полученных ранее данных (*лат.*). — *Примеч. ред.*

тогда *должны* были иметь способность закрепляться сами. От такого заключения никак не уйти. Я шагнул к незагроможденному окну, высвободил с некоторым затруднением гвоздь и попытался поднять раму. Она воспротивилась всем моим усилиям, как я и предполагал. Я знал теперь, что тут должна была существовать скрытая пружина, и это подтверждение моей мысли убедило меня, что мои посылки были, по крайней мере, правильны, как бы ни таинственны казались обстоятельства относительно гвоздей. Тщательное расследование вскоре указало мне тайную пружину. Я нажал на нее и, удовлетворенный открытием, воздержался и не поднял раму.

Я вставил гвоздь на прежнее место и посмотрел на него внимательно. Тот, кто прошел бы через это окно, мог бы снова закрыть его, и пружина была бы закреплена; но гвоздь не мог бы быть помещен на прежнее место. Заключение было ясно, и снова суживало поле моих исследований. Убийцы *должны* были бежать через другое окно. Предполагая затем, что пружины на каждой оконнице те же самые, как это было вероятно, *должно* было найти разницу между гвоздями или, по крайней мере, между способами их закрепления. Взобравшись на кровать, я заглянул через изголовье и тщательно осмотрел вторую оконницу. Проведя рукой вниз по дереву, я быстро нашел и нажал пружину, которая, как я предполагал, была по характеру тождественна с другой. Я посмотрел теперь на гвоздь. Он был толст, как и другой, и, по-видимому, закреплен таким же образом, будучи вогнан почти до головки.

Вы скажете, что я был озадачен, но если вы так думаете, вы, значит, не поняли самой правды моих наведений. Пользуясь спортивным выражением, я ни разу не сделал «промаха». Чутье по горячему следу не было потеряно ни на мгновение. Во всей цепи, среди звеньев, не было ни одного пробела. Я проследил тайну до конечного ее предела; этим пределом был *гвоздь*. Он, как говорю я, во всех отношениях имел ту же видимость, что и его сотоварищ в другом окне; но этот факт был совершенно нулевым (как бы он, по-видимому, ни был убедителен), если поставить его в связь с соображением, что в данном пункте и кончалось указующее начало. С этим гвоздем, сказал я, *должно* быть что-нибудь неладное.

Я прикоснулся к нему, и головка его, вместе с четверью дюйма его стержня, осталась у меня в руке. Остальная часть стержня была в пробуравленном отверстии, где она обломилась. Этот перелом был старый (ибо края его были подернуты ржавчиной), и, по-видимому, здесь был произведен удар молотка, который частью вогнал в глубину оконницы головку гвоздя. Я тщательно поместил верхнюю часть гвоздя в то отверстие, из которого я его вынул, и сходство с цельным гвоздем было безупречным — трещина была невидима. Нажав пружину, я тихонько приподнял оконную раму на несколько дюймов; головка гвоздя поднялась вместе с нею, оставаясь на своем месте. Я закрыл окно, и общий вид гвоздя снова оказался цельным и законченным.

Загадка, до этих пор, была теперь разгадана. Убийца бежал через окно, что находится около кровати. Опустившись, в силу собственного устройства, после его выхода (или, быть может, умышленно закрытое), оно было закреплено пружиной; и как раз приняв по ошибке сопротивление пружины за сопротивление гвоздя, полиция сочла дальнейшее расследование бесполезным.

Ближайшим вопросом был вопрос, как спустился бежавший. Относительно этого пункта я вполне осведомился во время моей прогулки с вами вокруг здания. Около пяти с половиною футов от упомянутой оконницы проходит громоотвод. От этого провода было бы невозможным для кого бы то ни было достигнуть до самого окна, не говоря уже о том, чтобы войти в него. Я увидел, однако, что ставни четвертого этажа были того особенного разряда, которые французские плотники называют *ferrades*, железом окованные — ставни весьма редко употребляющиеся в настоящее время, но часто встречающиеся в очень старых домах в Лионе и в Бордо. Они имеют форму обыкновенной двери (цельной, не двустворчатой), с тем лишь отличием, что нижняя часть — решетчатая, или кончается орнаментом в виде открытого трельяжа, давая, таким образом, превосходную возможность рукам уцепиться. В данном случае, эти ставни были очень широки, в три с половиною фута ширины. Когда мы глядели на них, при осмотре задней части здания, они были полуоткрыты — т. е. стояли под прямым углом к стене. Вероятно, полиция так же, как я, исследовала заднюю часть здания; но,

если так, смотря на эти ferrades в смысле их ширины (как она должна была это сделать), она не заметила самой их ширины весьма большой, или, во всяком случае, опустила этот пункт, не приняв его в должное соображение. На самом деле, убедившись однажды, что побег не мог быть совершен в данном месте, она естественно удовлетворилась здесь лишь беглым осмотром. Для меня было ясно, однако, что ставни окна, находящегося у изголовья кровати, будучи распахнуты совершенно до стены, достигают расстояния двух футов от громоотвода. Было также явно, что с помощью весьма необычной степени усилия и храбрости проникновение в окно с провода могло быть таким образом осуществлено. Достигнув на расстоянии двух с половиной футов (при нашем теперешнем предположении, что ставни открыты целиком), разбойник мог цепко ухватиться за решетчатый выступ. Выпустив потом из рук своих провод, прижав свои ноги плотно к стене и смело прыгнув внутрь, он мог увлечь за собой ставню, так что она захлопнулась, и если мы допустим, что окно было в данный миг открыто, мог сам с размаху ворваться в комнату.

Я хочу, чтобы вы главным образом помнили, что я говорил о *весьма* необычайной степени усилия, потребной для успеха в проделке такой рискованной и такой трудной. Мое намерение — показать вам, во-первых, что таковая вещь могла совершиться, что это возможно; но, во-вторых, и *главным* образом, я хочу напечатлеть в вашем понимании *весьма чрезвычайный*, почти сверхъестественный характер той ловкости, которая могла это совершить.

Вы скажете, без сомнения, употребляя судебный язык, что, «для того, чтобы выиграть дело», я должен был бы скорее уменьшать значение усилия, потребного в данном случае, нежели настаивать на полной его оценке. Может быть, это практика закона, но не таково требование рассудка. Моя конечная цель — лишь истина. Моя непосредственная задача заставит вас сблизить это *весьма необычное* усилие, о котором я только что говорил, с тем *совершенно особенным* пронзительным (или резким) и *неровным* голосом, относительно принадлежности которого к какой-либо народности не было двух согласующихся свидетелей, и в котором не могли уловить слоговой членораздельности.

При этих словах смутное и полусложившееся представление о том, что разумеет Дюпен, проскользнуло в мой ум. Мне казалось, что я был на грани понимания, не имея силы понять, как иногда люди находятся на краю воспоминания, не будучи способны, в конце концов, припомнить. Мой друг продолжал свою речь.

— Вы видите, — сказал он, — что вопрос о способе исхождения я переменял на вопрос о вхождении. Моим намерением было внушить мысль, что и то и другое совершилось тем же самым способом и на том же самом месте. Вернемся теперь внутрь комнаты. Посмотрим, какой все имело там вид. Выдвижные ящики комода, как было сказано, были разграблены, хотя многие вещи из одежды оставались еще там. Заключение здесь нелепо. Это простая догадка — очень глупая — и не больше. Как можем мы знать, что предметы, найденные в ящиках, не представляют из себя всего того, что первоначально в этих ящиках находилось? Мадам Л'Эспане и ее дочь жили чрезвычайно уединенной жизнью — ни с кем не видались — выходили редко, имели мало случаев для многочисленной перемены одежды. То, что было найдено, было, по крайней мере, такого же хорошего качества, как что-либо иное, что могло принадлежать этим дамам. Если вор взял что-нибудь, почему не взял он лучшее — почему не взял он все? Одним словом, почему оставил он 4 тысячи франков золотом и нагромоздил на себя связку белья? Золото *было* оставлено. Почти вся сумма, упомянутая месье Миньо, банкиром, была найдена в мешках на полу. Я хочу поэтому устранить из ваших мыслей бессвязную догадку о *побудительной причине*, порожденную в умах полиции той частью свидетельства, которая говорит о деньгах, переданных из рук в руки у самых дверей дома. Совпадения в десять раз более замечательные, чем это (передача денег и убийство, совершенное три дня спустя) случаются с нами в нашей жизни ежечасно, не привлекая к себе даже минутного внимания. Совпадения, вообще, суть великий камень преткновения на дороге этого разряда размышляльщиков, которые так воспитаны, что ничего не знают о теории вероятностей — той теории, которой наиболее славные области человеческого изыскания были обязаны наиболее славными своими достижениями. В данном случае, если бы золото исчезло, факт передачи его три

дня тому назад составил бы нечто большее, чем совпадение. Он подкреплял бы мысль о побудительной причине. Но при действительных обстоятельствах дела, если мы предположим, что золото было побудительной причиной этого злодеяния, мы должны также вообразить себе свершителя деяния столь нерешительным идиотом, что он оставил вместе и золото и свою побудительную причину.

Теперь, твердо держа в памяти пункты, на которые я обратил ваше внимание — этот особенный голос, эта необычайная ловкость, и это поразительное отсутствие побудительной причины для убийства, столь особенно жестокого, как это, — посмотрим на самое злодеяние. Женщина задушена насмерть сильными руками и втиснута в каминную трубу головой вниз. Обыкновенные убийцы не прибегают к таким способам убиения, как этот. Менее всего они таким образом распоряжаются убитыми. В этой манере втиснуть труп в камин, вы должны допустить, было что-то *до чрезвычайности преувеличенное* — что-то совершенно несовместимое с нашими общими представлениями о человеческом действии, даже, когда мы допустим, что действующие лица являются самыми извращенными людьми. Подумайте, кроме того, насколько велика должна была быть сила, которая смогла так втиснуть тело *вверх* в отверстие, столь насильственно, что соединенные усилия нескольких лиц оказались едва достаточными, чтобы стащить его *вниз*.

Обратимся теперь к другим указаниям, свидетельствующим о силе самой удивительной. В очаге были найдены густые пряди седых человеческих волос. Они были вырваны с корнем. Вы знаете, какая нужна большая сила, чтобы вырвать таким образом из головы хотя бы двадцать или тридцать волос вместе. Вы видели упомянутые пряди также, как я. Корни их (отвратительное зрелище) слиплись от запекшейся кровью с кусочками черепного покрова — верный знак удивительной силы, которая была применена, чтобы вырвать, быть может, полмиллиона волос сразу. Горло старой дамы не было просто перерезано, но голова ее совершенно была отделена от тела — орудием была простая бритва. Я хочу, чтобы вы также обратили внимание на *зверскую* свирепость таких деяний. О кровоподтеках на теле мадам Л'Эспане я не говорю. Месье Дюма и достойный

его помощник, месье Этьен, высказались, что они были причинены каким-либо тупым орудием; и в этом данные господина говорят вполне правильно. Тупым орудием была, очевидно, брусчатка двора, на который жертва упала из окна, находящегося на некотором расстоянии от постели. Эта мысль, как она ни проста, ускользнула от полиции по той же самой причине, по которой от них ускользнула мысль о ширине ставни — так как, благодаря обстоятельству с гвоздями, их восприятие было герметически закупорено для допущения возможности, что окно когда-либо открывалось.

Если теперь, в придачу ко всему этому, вы надлежащим образом помыслили о странном беспорядке в комнате, мы ушли вперед настолько, чтобы сочетать представления об удивительной ловкости, о сверхчеловеческой силе, о зверской свирепости, о злодеянии без побудительной причины, о *гротескности* и ужасе, совершенно чуждом человеческой природе, и о голосе, чуждом по тону слуху представителей разных народностей и чуждом какой-либо различимой слоговой членораздельности. Какой же получается отсюда результат? Какое впечатление произвел я на ваше воображение?

Я почувствовал, что по коже у меня поползли мурашки, когда Дюпен задал мне этот вопрос.

— Сумасшедший, — сказал я, — сделал это деяние какой-нибудь маньяк, объятый буйным помешательством — безавший из какой-нибудь лечебницы по соседству.

— В некоторых отношениях, — ответил он, — ваша мысль не неприемлема; но голоса сумасшедших, даже в припадках самого сильного исступления, никогда не согласуются с тем, что было особенного в этом голосе, слышавшемся наверху. Сумасшедшие принадлежат к какой-нибудь народности, и их язык, как бы он ни был бессвязен в словах, всегда имеет слоговую связность. Кроме того, волосы какого-либо сумасшедшего не таковы, как те, что я держу в моей руке. Я высвободил этот маленький клочок из окоченело сжатых пальцев мадам Л'Эспане. Скажите мне, что вы думаете о них?

— Дюпен, — сказал я, совершенно потрясенный, — эти волосы необычны до чрезвычайности — это не *человеческие* волосы.

— Я не утверждал, что они человеческие, — сказал он, — но, прежде чем мы разрешим данный пункт, я хочу, чтобы вы взглянули на небольшой рисунок, который я сделал вот здесь, на бумаге. Это *факсимиле*, точный рисунок того, что было описано в некоторой части показаний, «как темные кровоподтеки, и глубокие вдавлины от ногтей» на горле мадемуазель Л'Эспане, и, в другом показании (данном месье Дюма и Этьеном), описанном как ряд синих пятен, очевидно, от нажатая пальцев.

— Вы можете заметить, — продолжал мой друг, развертывая бумагу на столе перед нами, — что этот рисунок дает представление о твердой и крепкой хватке. Тут, на вид, нет ничего *скользящего*. Каждый палец сохранял — возможно, до самой смерти жертвы — страшную хватку, первоначально вдавившую его. Попробуйте теперь поместить все ваши пальцы, в одно и то же время, в соответственные отпечатки пальцев, как вы их видите.

Моя попытка была безуспешной.

— Возможно, что мы делаем опыт не надлежащим образом, — сказал он. — Бумага распространена на ровной поверхности, а человеческое горло — цилиндрическое. Вот деревянный чурбан, окружность которого, приблизительно, та же, что окружность горла. Оберните рисунок вокруг, и сделайте опыт сначала.

Я сделал так, но трудность стала еще большей, чем прежде.

— Это, — сказал я, — отпечаток не человеческой руки.

— Прочтите теперь, — ответил Дюпен, — этот отрывок из Кювье<sup>14</sup>.

Это было подробное анатомическое и общее описание большого, темно-бурого орангутанга восточных индонезийских островов. Гигантский рост, изумительная мощь, и размах усилия, дикая свирепость, и подражательные наклонности этих млекопитающих, достаточно хорошо известны всем. Я понял весь ужас убийства, в его полноте, сразу.

— Описание пальцев, — сказал я, прочтя отрывок, — вполне согласуется с этим рисунком. Я вижу, что никакое животное, кроме орангутанга, из разряда здесь описанного, не могло сделать отпечатки вдавлен, как вы их здесь отметили. Этот клоч бурых волос, кроме того, вполне тождествен по

характеру с волосами зверя, описанного у Кювье. Но я не могу понять, как могли осуществиться подробности этой страшной тайны. Кроме того, там были слышны *два* голоса в споре, и один из них был, бесспорно, принадлежащий французу.

— Правда. И вы вспомните восклицание, которое приписывали почти единогласно свидетели этому голосу, восклицание «*Боже мой!*»! Эти слова, при данных обстоятельствах, были справедливо определены одним из свидетелей (Монтани, кондитер), как выражение упрека или укора. На этих двух словах я потому построил, главным образом, все мои чаяния на полное разрешение загадки. Какой-то француз знает об убийстве. Возможно — и в действительности более чем вероятно, — что он не виновен в каком-либо соучастии в этом кровавом деле. Орангутанг мог убежать от него. Он мог гнаться за ним до самой комнаты; но при волнующих обстоятельствах, которые за сим последовали, он никак не мог овладеть им. Орангутанг еще на свободе. Я не хочу продолжать эти догадки — я не имею права назвать их более чем догадками — раз они размышления, на котором они основаны, отличаются глубиной едва достаточной, чтобы быть оцененными собственным моим разумом, и раз я не мог бы притязать сделать их понятными для понимания другого. Итак, мы назовем их догадками, и будем говорить о них как о таковых. Если упомянутый француз действительно, как я предполагаю, неповинен в этом жестоком преступлении, это вот объявление, которое вчера вечером, при нашем возвращении домой, я оставил в конторе газеты «*Le Monde*» (газета, посвященная корабельным интересам, и очень любимая моряками), приведет его к нам на квартиру.

Он протянул мне газету, и я прочел:

#### «Пойман»

В Булонском лесу, рано утром, такого-то числа (утро убийства), очень большой бурый орангутанг из разряда водящихся на Борнео<sup>15</sup>. Собственник (как известно, моряк, принадлежащий к экипажу мальтийского судна) может получить животное, удостоверив достаточно притязания, и заплатив небольшие расходы, возникшие из-за его поимки и

содержания. Прийти в дом № такой-то — улица такая-то — Сен-Жерменское предместье — на третьем этаже».

— Каким образом, — спросил я, — это было возможно, чтобы вы узнали, что данный человек моряк и принадлежит к экипажу мальтийского судна?

— Я *не* знаю этого, — сказал Дюпен. — Я *не уверен* в этом. Вот, однако же, маленький обрывок ленты, который, судя по его форме и по его засаленному виду, очевидно, служил для завязывания волос одного из тех длинных *хвостов*, которые столь излюблены моряками. Кроме того, завязать такой узел умеют лишь немногие, кроме моряков, и он составляет особую гордость мальтийцев. Я подобрал ленту внизу громоотвода. Она не могла принадлежать ни той, ни другой из покойниц. Если теперь, после всего, я ошибся в моей догадке относительно этой ленты, и француз не моряк, принадлежащий к экипажу какого-нибудь мальтийского судна, я все же ничего не сделал злого, сказав это в своем объявлении. И если я ошибся, он просто предположит, что я введен в заблуждение каким-нибудь обстоятельством, которое он не потрудится расследовать. Но, если я не ошибся, большой важности пункт здесь выигран. Зная об убийстве, хотя и не будучи в нем повинен, француз, естественно, будет колебаться ответить на объявление и требовать своего орангутанга. Он будет рассуждать так: «Я не виновен; я беден; мой орангутанг весьма ценен для человека, находящегося в моем положении, это целое состояние — к чему бы я стал его терять из-за пустой боязни опасности. Вот он здесь, в моих руках. Он был найден в Булонском лесу на большом расстоянии от места преступления. Каким образом могло бы возникнуть подозрение, что глупое животное могло совершить такое дело? Полиция дала промах — она не смогла найти ни малейшего пути к разгадке. Если бы даже она и проследила животное, невозможно было бы доказать, что я знаю об убийстве, или впутать меня в преступление по причине такого знания. Прежде всего, я известен. Объявляющий определяет меня, как собственника зверя, я не уверен, до каких пределов может простирается его знание. Если я стану избегать притязаний на собственность такой большой цены, относительно которой известно, что она принадлежит мне, я сделаю животное, по крайней мере, подозрительным. Благо-

разумие мое не велит мне привлекать внимание к себе или к зверю. Я отвечу на объявление, получу обратно орангутанга, и буду держать его взаперти, пока это дело не будет забыто».

В это мгновение мы услышали на лестнице шаги.

— Будьте наготове, — сказал Дюпен, — держите ваши пистолеты, но не пользуйтесь ими и не показывайте их до того, как я не дам вам сигнала.

Входная дверь дома была оставлена открытой, и посетитель вошел без звонка, и поднялся на несколько ступенек по лестнице. После этого, однако, он заколебался. Вот мы услышали, что он начал сходить. Дюпен быстро направился к двери, как вдруг мы услышали, что он всходит. Он не повернул назад вторично, но решительно подошел к двери нашей комнаты и постучал в нее.

— Войдите, — сказал Дюпен веселым и приветливым голосом.

Человек вошел. Это был, очевидно, моряк — высокий, статный и, как кажется, мускулистый, с некоторым дьявольски-дерзким выражением в лице, нельзя сказать, чтобы отталкивающим. Лицо его, сильно загорелое, было более чем наполовину скрыто бакенбардами и усами, в руках у него была огромная дубина, но кроме этого он был, по-видимому, не вооружен. Он неловко поклонился и пожелал нам «доброе вечера», с французским акцентом, который хотя был несколько невшательский, все же достаточно указывал на парижское происхождение.

— Садитесь, любезнейший, — сказал Дюпен. — Вы пришли, как я полагаю, за орангутангом. Честное слово, я почти завидую вам, что он вам принадлежит; очень красивое и, без сомнения, весьма ценное животное. Сколько ему лет, как вы думаете?

Моряк перевел дыхание с видом человека, освобожденного от какой-то невыносимой тяжести, и после этого ответил уверенным тоном:

— Не сумею вам сказать, но ему не может быть больше, чем четыре или пять лет от роду. Он у вас здесь?

— О, нет; у нас нет подходящего помещения, чтобы держать его здесь. Он на извозничьем дворе, на улице Дюбур, по соседству. Вы можете получить его утром. Вы, конечно, имеете с собой бумаги, чтобы подтвердить притязание?

— Конечно, месье.

— Жаль мне с ним расставаться, — сказал Дюпен.

— Я не хочу, конечно, сказать, что вы взяли на себя все эти хлопоты зря, — сказал человек. — Не мог бы на это рассчитывать. Готов охотно заплатить за поимку животного чем-нибудь подходящим.

— Хорошо, — ответил мой друг, — все это весьма превосходно, поистине. Дайте мне подумать! — Что бы я хотел получить? О, я скажу вам. Моя награда будет вот такая. Вы дадите мне все указания, какие в вашей власти дать, относительно этого убийства на улице Морг.

Дюпен сказал последние слова очень пониженным тоном и очень спокойно. Так же спокойно он пошел к двери, замкнул ее и ключ положил к себе в карман. Он вынул после этого пистолет из бокового кармана и без малейшей тревоги положил его перед собою на стол.

Лицо моряка покрылось яркой краской, как будто он боролся с удушением. Он вскочил и схватил свою дубину, но в следующий же миг он упал назад на свое сиденье, охваченный страшной дрожью, имея лик самой смерти. Он не говорил ни слова. Я пожалел его от всего сердца.

— Послушайте, добрейший, — сказал Дюпен ласковым голосом, — вы тревожитесь без всякой нужды — поверьте. Мы не замышляем против вас никакого зла. Клянусь вам честью джентльмена и француза, что мы вовсе не намерены вам ничем повредить. Я отлично знаю, что вы не виновны в жестоких преступлениях улицы Морг. Бесполезно было бы, однако, отрицать, что вы, до известной степени, в них запутаны. Из того, что я уже сказал, вы должны знать, что я имел некоторые возможности получить сведения о данном деле — возможности, о которых вам никогда не могло и присниться. Теперь дело обстоит так. Вы не сделали ничего, чего бы вы могли избежать — ничего, во всяком случае, что сделало бы вас виновным. Вы даже были неповинны в воровстве, когда вы могли украсть безнаказанно. Скрывать вам нечего. У вас нет никаких причин для укрывательства. С другой стороны, вы связаны всеми доводами чести, побуждающими вас признаться во всем, что вы знаете. Невинный человек заключен в тюрьму, его обвиняют в преступлении, совершителя которого вы можете указать.

В то время как Дюпен говорил эти слова, к моряку в значительной степени вернулось его присутствие духа; но первоначальная смелость его манеры совершенно исчезла.

— Да поможет мне Бог, — сказал он после короткой паузы, — я *расскажу* вам все, что я знаю об этом деле, но я не жду, чтобы вы поверили мне и наполовину, поистине, я был бы глупцом, если бы этого ждал. И все же, я не виновен, я сброшу с своего сердца тяжесть, хотя бы мне пришлось умереть за это.

То, что он рассказал, было вкратце следующее. Он совершил недавно путешествие на индонезийский архипелаг. Компания, к которой он принадлежал, высадилась в Борнео и предприняла увеселительную экскурсию вглубь страны. Он и его товарищ поймали орангутанга, товарищ вскоре умер, и животное стало, таким образом, его безраздельною собственностью. После больших хлопот, причиненных неговорчивой свирепостью его пленника, во время возвратного путешествия домой, ему, наконец, удалось поместить его благополучно у себя на квартире в Париже, где во избежание докучливого любопытства соседей, он держал его в полном уединении, до того времени, как он поправится от раны на ноге, полученной им от осколка кости на палубе корабля. Окончательной его мыслью было продать орангутанга.

Возвращаясь домой с какой-то матросской пирушки в ночь, или, вернее, в утро убийства, он нашел животное расположившимся в его собственной спальне, в которую оно ворвалось из соседнего помещения, где, как он думал, оно было надежным образом припрятано. С бритвой в руке, и все намыленное, оно восседало перед зеркалом, пытаясь совершить операцию бритья, в каковой, без сомнения, оно раньше подсмотрело своего хозяина через замочную скважину. Устрашенный видом такого опасного орудия, находящегося в распоряжении у животного столь свирепого и столь способного им воспользоваться, в течение нескольких мгновений он совершенно не знал, что делать. Он, однако, привык укрощать зверя даже в самые свирепые его припадки, употреблением хлыста, и к нему он теперь прибег. При виде него орангутанг сразу выпрыгнул через дверь комнаты, вниз по лестнице, и оттуда через окно, к несчастью, бывшее открытым, на улицу.

Француз последовал за ним в отчаянии; обезьяна, все еще держа бритву в руке, время от времени останавливалась, чтобы обернуться назад и проделать разные гримасы своему преследователю, когда последний уже почти достигал ее. Потом она опять обращалась в бегство. Охота продолжалась, таким образом, довольно значительное время. Улицы были совершенно тихими, так как было около трех часов утра. При проходе через уличку, что находится за улицей Морг, внимание беглеца было приковано светом, исходящим из открытого окна в комнате мадам Л'Эспане, на четвертом этаже ее дома. Бросившись к этому зданию, животное заметило громоотвод, вскарабкалось по нему с непостижимой ловкостью, ухватилось за ставню, которая была раскрыта до самой стены и, с помощью ее, вспрыгнуло прямо на изголовье кровати. Вся проделка не продолжалась и минуты, ставня встала на прежнее место, в то время как орангутанг толкнул ее, входя в комнату.

Моряк, тем временем, был сразу и обрадован и смущен. У него была теперь твердая надежда снова поймать животное, так как навряд ли оно могло ускользнуть из западни, в которую оно само дерзнуло устремиться, разве что оно опять воспользовалось бы громоотводом, где оно могло быть перехвачено. С другой стороны, было много оснований тревожиться о том, что оно могло сделать в доме. Это последнее соображение побудило моряка последовать за беглецом. Он взобрался по громоотводу без затруднений, он же ведь моряк; но, когда он достиг до окна, находившегося высоко над ним слева, его путь был остановлен; самое большее, что он мог сделать, это дотянуться настолько, чтобы быть в состоянии заглянуть внутрь комнаты. Заглянув туда, он почти упал и чуть не выпустил из рук провод, благодаря чрезмерному своему ужасу. Это тогда раздались те ужасные крики в ночи, которые пробудили от дремоты жителей улицы Морг. Мадам Л'Эспане и ее дочь, одетые в ночные свои костюмы, по видимому, были заняты приведением в порядок некоторых бумаг в уже упомянутом железном сундучке, который был выдвинут на середину комнаты. Он был открыт, и то, что в нем находилось, лежало рядом, на полу. Жертвы, должно быть, сидели спиной к окну, и, судя по времени, прошедшему между входом зверя и криками, надо думать, что он был

замечен не немедленно. Хлопанье ставни, естественно, могло быть приписано ветру.

Когда моряк заглянул в окно, гигантское животное схватило мадам Л'Эспане за волосы (она их причесывала, и они были распущены) и размахивало бритвой вокруг ее лица, в подражание движениям цирюльника. Дочь лежала на полу распростертая и недвижимая; она была в обмороке. Крики и судорожные движения старой дамы (причем с головы ее были сорваны волосы) оказали то действие, что, по всему вероятно, мирные намерения орангутанга превратились в гнев. Быстро взмахнув своей мускулистой рукой, он одним движением почти отделил ее голову от туловища. Вид крови возбудил его гнев до ярости. Скрежеща зубами и меча пламень из глаз, он бросился на тело девушки и погрузил свои страшные когти в ее горло, сжимая его, пока она не умерла. Его блуждающее дикие взгляды упали в это мгновение на изголовье кровати, над которым как раз было различимо лицо его хозяина, застывшее от ужаса. Бешенство животного, еще помнившего, без сомнения, страшный хлыст, мгновенно обратилось в страх. Сознывая, что он заслужил наказание, орангутанг, по-видимому, хотел скрыть свои кровавые деяния и метался по комнате в агонии нервного возбуждения, опрокидывая и ломая попадавшуюся по пути мебель, и стащив постель с кровати. В заключение он схватил сперва тело девушки и втиснул в каминную трубу, где оно было найдено, потом — тело старой дамы, которое немедленно было вышвырнуто вниз головой через окно.

Когда обезьяна приблизилась к оконнице с изуродованной своей ношей, моряк в ужасе отпрянул к громоотводу, и, скорее скользя, чем карабкаясь по проводу вниз, тотчас бежал домой, страшась последствий злодеяния, и, в страхе своем, с радостью покидая всякие заботы о судьбе орангутанга. Голоса, которые были услышаны входившими по лестнице, были восклицаниями ужаса и испуга, вырвавшимися у француза и перемешанными с дьявольскими бормотаниями зверя.

Мне почти нечего прибавить. Орангутанг должен был ускользнуть из комнаты, спустившись по проводу, как раз перед тем, когда дверь была взломана. Он должен был закрыть окно, пройдя через него. Позднее он был пойман самим собс-

твенником, получившим за него очень крупную сумму от Jardin des Plantes\*. Лебон был немедленно выпущен, после того как мы рассказали обо всех обстоятельствах (с некоторыми пояснениями, данными Дюпенем) в бюро префекта полиции. Этот чиновник, хотя весьма расположенный к моему другу, не мог хорошенько скрыть своего огорчения по поводу такого оборота дела, и не удержался от того, чтобы не сказать два-три сарказма о свойствах разных лиц, вмешивающихся в его дела.

— Пусть себе говорит, — сказал Дюпен, который не считал нужным отвечать. — Пусть разглагольствует. Это успокоит его совесть. Я удовольствуюсь тем, что побил его в собственных его владениях. Тем не менее, то, что он не смог разрешить эту тайну, отнюдь не является столь удивительным, как он предполагает; ибо, поистине, наш друг префект несколько слишком хитер, чтобы быть глубоким. В его мудрости нет *устоя*. Он весь из головы без тела, как изображения богини Лаверны, или, в лучшем случае, он весь голова и плечи, как треска. Но он доброе существо, в конце концов. Я в особенности люблю его за его мастерский прием лицемерия, с помощью которого он достиг своей репутации находчивости. Я разумею его манеру «*de nier ce qui est, et d'expliquer ce qui n'est pas*» (отрицать то, что есть, и изъяснять то, чего нет)\*\*.

## УКРАДЕННОЕ ПИСЬМО

Nil sapientiae odiosius acumine nimio.

Seneca\*\*\*

В Париже, как раз после темного и бурного осеннего вечера 18... года, я услаждался двойным удовольствием размышления и пенковой трубки в обществе моего друга Ш. Огюста Дюпена в его небольшой библиотеке, *au troisieme, № 33 Rue*

\* Ботанический сад (фр.). — Примеч. ред.

\*\* Руссо, «Новая Элоиза». — Примеч. пер.

\*\*\* Ничто так не враждебно мудрости, как чрезмерная острота. *Сенека*<sup>1</sup> (лат.). — Примеч. пер.

*Dunôt Faubourg Saint-Germain\**. Добрый час мы соблюдали глубокое молчание; и каждый из нас, как могло бы показаться какому-нибудь случайному наблюдателю, был напряженно и исключительно занят курчавыми круговоротами дыма, обременявшего атмосферу комнаты. Что касается, однако, меня, я мысленно обсуждал известные темы, составлявшие предмет нашего разговора в начале вечера; я разумею дело улицы Морг и тайну, связанную с убийством Мари Роже. Я видел в этом что-то вроде совпадения, как вдруг дверь нашей комнаты раскрылась, и пропустила старого нашего знакомого меье Ж. — префекта парижской полиции.

Мы сердечно его приветствовали, ибо в нем было столько же занимательного, сколько и достойного презрения, и мы не виделись с ним несколько лет. Мы сидели в темноте, и Дюпен встал, чтобы зажечь лампу, но снова сел, не сделав этого, когда Ж. сказал, что он зашел посоветоваться с нами, или точнее, спросить мнение моего друга, касательно одного официального дела, причинившего много беспокойств.

— Если это что-нибудь, требующее размышления, — заметил Дюпен, не зажигая светильню, — мы лучше рассмотрим это в темноте.

— Вот еще одно из ваших странных мнений, — сказал префект, который имел привычку называть «странным» все, что было за пределом его понимания, и, таким образом, жил среди безмерного легиона «странностей».

— Совершенно верно, — сказал Дюпен, подавая своему гостю трубку и подкатывая к нему удобное кресло.

— В чем же теперь затруднение, — спросил я, — опять в каком-нибудь убийстве?

— О, нет; ничего подобного. Дело, по истине, *очень* просто, и я не сомневаюсь, что мы сумеем отлично справиться с ним сами; но потом я подумал, что Дюпену приятно будет узнать его детали, ибо оно так необычайно *странно*.

— Просто и странно? — сказал Дюпен.

— Почему бы нет, но на самом деле мы все весьма были им озадачены, потому что дело *так* просто, и как будто посмеивается над нами.

---

\* Дом № 33 по улице Дюно, Сен-Жерменское предместье (фр.). — *Примеч. ред.*

— Быть может, именно эта большая простота данной вещи ставит вас в тупик? — спросил мой друг.

— Что за нонсенс вы *говорите!* — ответил префект, весело смеясь.

— Быть может, тайна немного *слишком* ясна, — сказал Дюпен.

— О Боже милосердный, кто слышал когда-нибудь что-либо подобное?

— Немного *слишком* очевидна.

— Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Хо-хо-хо! — ревел наш гость, чрезвычайно позабавленный. — О, Дюпен, вы меня еще уморите!

— А в чем же, наконец, дело? — спросил я.

— Что ж, я вам расскажу, — ответил префект, выпустив длинный, солидный, и созерцательный клуб дыма, плотно усаживаясь в своем кресле. — Я скажу вам в нескольких словах; но прежде чем начать, я должен предупредить вас, что это — дело, требующее величайшего соблюдения тайны, и что я, по всей вероятности, потерял бы свой пост, если бы стало известно, что я кому-нибудь сообщил о нем.

— Продолжайте, — сказал я.

— Или нет, — сказал Дюпен.

— Хорошо; я получил личное осведомление из сфер весьма высоких, что известный документ чрезвычайной важности был украден из королевских апартаментов. Особа, его укравшая, известна; это вне сомнения; видели, как это лицо взяло его. Известно также, что документ все еще находится у него.

— Откуда это известно? — спросил Дюпен.

— Это ясно видно, — ответил префект, — из природы самого документа, и из непоявления известных результатов, которые сразу возникли бы, если бы он вышел из рук вора — т. е. если бы он им воспользовался, как он, в конце концов, конечно, собирается им воспользоваться.

— Будьте немного яснее, — сказал я.

— Хорошо, я рискну настолько, чтобы сказать, что данная бумага дает ее обладателю известную власть в известном месте, где такая власть имеет огромную ценность.

Префект обожал дипломатическое лицемерие.

— Я продолжаю ничего не понимать, — сказал Дюпен.

— Нет? Хорошо. Разоблачение этого документа третьей особе, которую я не назову, затронуло бы вопрос о чести некоторой особы, занимающей самое высокое положение, и этот факт дает обладателю документа возможность оказывать влияние на высокопоставленную особу, честь которой и спокойствие, таким образом, подвергнуты опасности.

— Но эта возможность оказывать влияние, — вмешался я, — зависела бы от того, что вор знает, что пострадавший знает вора. Кто посмел бы!

— Вор, — сказал Ж. — это министр Д., который посмеет сделать что угодно, то, что недостойно человека и что его достойно. Способ кражи был смел и не менее находчив. Упомянутый документ — письмо, чтобы быть откровенным — был получен высокой особой, обворованной, когда она находилась одна в королевском *будуаре*. В то время как она читала, ее внезапно прервал приход другой высокой особы, от которой она особенно желала скрыть это письмо. После поспешной и напрасной попытки бросить письмо в выдвижной ящик, она была вынуждена положить его вскрытым, как оно было, на стол. Адрес, однако, был наверху, и содержание письма было таким образом скрыто, письмо не возбудило внимания. В это самое время входит министр Д. Его рысьи глаза немедленно замечают бумагу, он узнает по адресу почерк, замечает смущение высокой особы и догадывается о ее секрете. После некоторых деловых разговоров, осуществленных наспех, по его обычной манере, он вынимает письмо, несколько похожее на упомянутое, раскрывает его, делает вид, что читает, и затем кладет совсем рядом с другим. Снова он разговаривает четверть часа об общественных делах. Наконец, прощаясь, он берет со стола письмо, на которое он не имел никаких прав. Законный собственник письма видел это, но, конечно, не посмел привлечь внимание на этот поступок в присутствии третьего лица, стоявшего рядом. И министр скрылся восвояси, оставив на столе свое собственное письмо, совершенно незначительное.

— Вот здесь, — сказал Дюпен, обращаясь ко мне, — вы имеете все, что требуется, чтобы иметь полное влияние: вор знает, что пострадавший знает вора.

— Да, — отвечал префект, — и власть, таким образом достигнутая, в течение нескольких истекших месяцев, была ис-

пользована для политических целей в размерах очень опасных. Обокраденная особа с каждым днем все более и более убеждается в необходимости получить назад свое письмо. Но это, конечно, не может быть сделано открыто. Словом, доведенная до отчаяния, эта особа доверила все дело мне.

— Лучшего, — сказал Дюпен среди целого водоворота дыма, — полагаю, нельзя и желать, или даже вообразить, пронизательного агента.

— Вы мне льстите, — ответил префект, — но вполне возможно, что кое-кто составил обо мне такое мнение.

— Ясно, — сказал я, — как вы заметили, письмо еще находится в руках министра, раз обладание письмом, а не какое-либо пользование им, дает власть. С использованием письма власть исчезает.

— Это верно, — сказал Ж., — и согласно с таким убеждением я и действовал. Первой моей заботой было тщательно обыскать квартиру министра; и тут моим главным затруднением была необходимость делать обыск без его ведома. Кроме того, меня предостерегли касательно опасности, которая возникла бы, если бы я дал ему основание подозревать наш замысел.

— Но, — сказал я, — вы совершенно как у себя дома в таких расследованиях. Парижская полиция делала это нередко и раньше.

— О да, и потому-то я не отчаивался. Привычки министра, кроме того, давали мне большое преимущество. Он часто уходит из дому на целую ночь. Слуги его не многочисленны. Они спят в известном отдалении от квартиры своего хозяина, и так как это, главным образом, неаполитанцы, их легко напоить. У меня, как вы знаете, есть ключи, которыми я могу отпереть каждую комнату и каждый кабинет в Париже. В течение трех месяцев ни одной ночи не прошло без того, чтобы в продолжение нескольких часов я лично не был занят обыском помещения Д. Моя честь здесь заинтересована, и, скажу вам большой секрет, вознаграждение огромное. Таким образом, я не оставлял своих поисков до тех пор, пока не убедился вполне, что вор — человек еще более хитрый, чем я. Как я думаю, я осмотрел каждый угол и каждый уголок в квартире, где возможно было бы спрятать бумагу.

— Но разве невозможно, — сказал я, — что, хотя письмо может быть в руках министра, как это бесспорно и есть, он мог спрятать его где-нибудь в ином месте, а не у себя?

— Это только возможно, — сказал Дюпен. — Настоящее особое положение дел при дворе, и, в особенности, характер тех интриг, в которые, как известно, запутан Д., делают мгновенное применение документа — возможность тотчас же, как только будет нужно, его извлечь — пунктом, почти такой же важности, как самый факт обладания им.

— Возможность его извлечь? — сказал я.

— То есть возможность его *уничтожить*, — сказал Дюпен.

— Это так, — заметил я, — ясно тогда, что бумага находится в квартире. Что касается того, чтобы письмо было на самой особе министра, мы можем считать это вне разговора.

— Безусловно, — сказал префект. — Его дважды подстергли как бы бродяги, и его особа была тщательно обыскана под моим наблюдением.

— Вы могли на этот счет не беспокоиться, — сказал Дюпен. — Д., как я полагаю, не совершенно лишен рассудка, и потому, конечно, должен был предвидеть, что его в этом роде подстергут.

— Не *совсем* лишен рассудка, — сказал Ж., — но все-таки он поэт, так что разница тут на мой взгляд невелика.

— Это так, — сказал Дюпен, выпустив клуб дыма из своей пенковой трубки, после долгой и глубокомысленной затяжки, — хотя я сам был виновником появления некоторых виршей.

— А не расскажете ли вы подробности своих розысков? — сказал я.

— Почему бы и нет. Мы вполне использовали наше время и обыскали *всюду*. У меня в этих делах был большой опыт. Я осмотрел все здание, комнату за комнатой, посвящая каждой комнате по неделе ночей. Мы исследовали сперва обстановку каждой комнаты. Мы открыли всевозможные выдвижные ящики; а вы, как я полагаю, знаете, что для надлежаще тренированного полицейского агента, такая вещь, как *секретный* выдвижной ящик, есть невозможность. Каждый, кто совершает обыск такого рода и позволяет какому-то «секретному» ящику ускользнуть от себя — совершенней-

шая тупица. Это же *так* ясно. В каждом кабинете есть известное количество пространства, и его надо исследовать. Затем ведь у нас есть точные правила. От нас не ускользнет и пятидесятая часть линии. После кабинетов мы взялись за стулья. Сиденья кресел мы испробовали тонкими, длинными иглами, которыми, как вы видели, я пользуюсь. Со столов мы сняли верхние крышки.

— А это зачем?

— Иногда лицо, желающее что-нибудь скрыть, снимает крышку стола, или другую, аналогично устроенную, составную часть мебели; затем ножка выдалбливается, *вещь* кладется в углубление, и верхушка помещается на прежнее место. Таким же образом пользуются низом или верхом балдахин.

— Но разве углубление не могло быть найдено выстукиванием? — спросил я.

— Отнюдь нет, если, положив вещь, хорошенько обернуть ее ватой. Притом, в данном случае, мы должны были действовать без шума.

— Но вы не могли сдвинуть, не могли разобрать на части *все* предметы обстановки, в которых было бы возможно запрятать вещь описываемым вами образом. Письмо может быть закручено в тонкий спиральный сверток, не очень отличающийся, по форме и по объему, от большой вязальной иглы, и в таком виде быть введено, например, в деревянный перехват кресла. Ведь вы же не разобрали по частям все кресла?

— Конечно нет; но мы сделали лучше — мы рассмотрели деревянные части каждого кресла в квартире, и даже всякого рода смычки в мебели с помощью очень сильного микроскопа. Если бы тут были какие-нибудь следы недавнего беспорядка, мы бы не преминули открыть их немедленно. Малое зернышко пыли от буровчика было бы, например, явным, как яблоко. Какой-нибудь непорядок в клее, какая-нибудь необычная расщелинка в смычках немедленно бы навели обыск на верный след.

— Я полагаю, вы осмотрели зеркала между стеклами и рамами, и вы освидетельствовали постели и одеяла, так же как занавеси и ковры?

— Это конечно, и когда мы освидетельствовали, таким образом, безусловно каждую частицу обстановки, тогда мы стали обыскивать сам дом. Мы разделили всю его поверхность на отделы, которые мы пронумеровали так, что ни один не мог быть опущен; затем мы тщательно освидетельствовали каждый квадратный дюйм помещения, включив сюда два дома, непосредственно примыкающие, и как прежде применили микроскоп.

— Два смежных дома? — воскликнул я. — Достаточно же, должно быть, у вас было хлопот.

— Достаточно, но предложенное вознаграждение огромно.

— В понятие домов вы включаете сами *основания*?

— Все основания вымощены кирпичом, в этом у нас было, сравнительно, мало затруднений. Мы исследовали мох между кирпичами и нашли, что он не потревожен.

— Вы осмотрели, конечно, бумаги Д. и книги в его библиотеке?

— Конечно; мы развернули каждую связку, освидетельствовали каждый листок; мы не только раскрыли каждую книгу, но мы повернули каждый листок в каждой книге, не довольствуясь простым встряхиванием книги, как это делают обыкновенно полицейские офицеры. Мы измерили также толщину каждого переплета, самым тщательным смериванием, и неукоснительно применяя к каждому ревнивое око микроскопа. Если бы каким-нибудь переплетом недавно воспользовались, было бы совершенной невозможностью, чтобы этот факт ускользнул от нашего наблюдения. Томов пять или шесть, только что вышедших из мастерской переплетчика, мы тщательно испробовали вдоль иглами.

— Вы исследовали полы под коврами?

— Без сомнения. Мы сдвинули каждый ковер и расследовали доски под микроскопом.

— А обои?

— Да.

— Вы заглянули в подвалы?

— Заглянули.

— Тогда ваш расчет неверен, — сказал я, — и письмо *не* в квартире, как вы предполагаете.

— Боюсь, что вы в этом правы, — сказал префект. — А теперь, Дюпен, что бы вы мне советовали сделать?

— Сделать новый полный обыск в квартире.

— Это абсолютно бесполезно, — отвечал Ж. — Я не более убежден в том, что я дышу, чем в том, что письма в квартире нет.

— Я не могу дать вам никакого лучшего совета, — сказал Дюпен. — Вы, конечно, имеете точное описание письма?

— О да!

И тут префект, вынув записную книжку, громким голосом стал читать подробное описание внутреннего, и в особенности внешнего, вида пропавшего документа. Вскоре после того, как он окончил чтение этого описания, он простился с нами, и никогда еще раньше я не видел этого доброго джентльмена в таком подавленном состоянии.

Приблизительно месяц спустя после этого он снова зашел к нам, и нашел нас в точности за тем же занятием, как и раньше. Он взял трубку, сел в кресло и затеял какой-то незначительный разговор. Наконец я сказал:

— Прекрасно, а что же господин Ж., как украденное письмо? Я думаю, вы, наконец, примирились с тем, что невозможно перещеголять министра?

— Черт бы его побрал, скажу я вам! Да, я, однако, сделал вторичный обыск, как советовал Дюпен, но все оказалось напрасным, как я и думал.

— Как велико вознаграждение? — спросил Дюпен.

— Да очень большое, знаете ли — *весьма* щедрое вознаграждение — не хочу сказать, сколько именно в точности; но *скажу* одно, что я не поколебался бы дать от себя чек в пятьдесят тысяч франков каждому, кто мог бы доставить мне это письмо. Дело в том, что, день ото дня, оно все возрастает в важности; и вознаграждение недавно было удвоено. Но, если бы оно даже было утроено, я не мог бы сделать больше того, что я сделал.

— Что же, да... — сказал Дюпен, цедя слоги между затяжками из своей пенковой трубки, — я, по правде сказать, думаю, Ж., что вы не постарались до конца. Вы могли бы сделать немножко больше, так я думаю, гм.

— Что? Каким образом?

— Ну почему же... вы могли бы... прибегнуть к совету в этом деле, гм! Вы помните историю, которую рассказывают об Абернети\*?

— Нет, черт бы побрал Абернети!

— Ну конечно! Черт бы побрал его, но было как-то раз, один богатый скряга замыслил попользоваться у этого Абернети медицинским мнением. Затеяв с ним, с этой целью, самый обыкновенный разговор в частном обществе, он изобразил этот случай перед врачом, как случай с воображаемым больным. Предположите, сказал скупец, что симптомы такие-то и такие-то; ну, доктор, что бы вы предложили ему сделать? Что сделать, сказал Абернети, да что ж, *посоветоваться с врачом*, конечно.

— Но, — сказал префект, несколько смущенный, — я *совершенно* готов посоветоваться и заплатить. Я *действительно* готов был бы дать пятьдесят тысяч франков любому, кто помог бы мне в этом деле.

— В таком случае, — ответил Дюпен, выдвигая ящик письменного стола и вынимая чековую книжку, — вот, вы можете заполнить чек на данную сумму. Когда вы его подпишете, я вручу вам письмо.

Я был изумлен. Префект был как пораженный громом. В течение некоторого времени он оставался безгласным и недвижимым, недоверчиво смотря на моего друга, с открытым ртом и с глазами, которые как будто хотели выскочить из орбит; потом, по-видимому, несколько придя в себя, он схватил перо, и, после некоторых колебаний и напряженных отсутствующих взглядов, он подписал чек на шестьдесят тысяч франков, и подал его через стол Дюпену. Последний тщательно рассмотрел его и положил в свою памятную книжку; потом, отперев конторку, он вынул оттуда письмо, и подал его префекту. Этот чиновник судорожно уцепился за него, в совершенной агонии радости, раскрыл его дрожащей рукой, бросил быстрый взгляд на его содержание, и потом, неверно действуя руками и ногами, добрался наконец до двери, и без церемонии ринулся через нее из комнаты, не произнеся ни слова с тех пор, как Дюпен попросил его выписать чек.

Когда он ушел, мой друг сделал несколько объяснений.

---

\* *Абернети* — знаменитый врач. — *Примеч. пер.*

— Парижская полиция, — сказал он, — чрезвычайно искусна по-своему. Она настойчива, находчива, хитра, и вполне осведомлена во всех тех знаниях, которые, по-видимому, требуются, главным образом, для исполнения ее обязанностей. Таким образом, когда Ж. подробно описал нам свой способ обыскивания комнат в квартире Д., я чувствовал полное доверие к тому, что он сделал удовлетворительный обыск — поскольку это касалось его усилий.

— Поскольку это касалось его усилий? — сказала я.

— Да, — отвечал Дюпен. — Меры, принятые им, были не только лучшими в своем роде, но и выполнены были с безусловным совершенством. Если бы письмо было спрятано в пределах их сыска, эти молодчики, без сомнения, нашли бы его.

Я лишь рассмеялся, но он, по-видимому, говорил совершенно серьезно.

— Меры, таким образом, — продолжал он, — были хороши в своем роде и были хорошо выполнены, недостаток же их заключался в том, что они были неприменимы к данному случаю и к данному человеку. Известный ряд высоконаходчивых приемов является у префекта некоторого рода прокрустовым ложем<sup>2</sup>, к которому он насильственно приспособляет свои замыслы. Но он беспрестанно заблуждается оттого, что он слишком глубок или слишком мелок в таком-то деле, и не один школьник рассуждает, как он. Я знал одного мальчика восьми лет, успешное угадывание которого при игре «в чет и нечет» возбуждало всеобщее восхищение. Это игра простая, и играют в нее шариками. Игрок держит в своей руке известное число этих пустячков и спрашивает другого, четное это число или нечетное. Если догадка верна, догадавшийся выигрывает камешек, если неверна — теряет. Мальчик, о котором я говорю, выиграл все шарики, имевшиеся в школе. Конечно, он имел какой-нибудь принцип угадания, и принцип этот заключался в простом наблюдении и смеривании хитрости его состязателей. Например, его противник — совершенный простака, — держа шарики и зажав их в руке, спрашивает, чет или нечет? Наш школьник отвечает «нечет» и проигрывает. Но при повторной игре он выигрывает, ибо он тогда говорит себе: «В первом случае у простака был чет, и весь запас его хитрости заключается лишь в том, чтобы во

втором случае сделать нечет, я скажу поэтому „нечет“, он говорит «нечет» и выигрывает. С простаком, который на степень выше, чем первый, он рассуждает так: «Этот молодчик видит, что в первом случае я сказал „нечет“, во втором случае он, по первому побуждению, предложит себе переменить чет на нечет, как сделал первый простака, но затем второй его мыслью будет внушение, что это слишком простая перемена, и наконец, он решится оставить как прежде. Я скажу поэтому „чет“, он говорит «чет» и выигрывает. Итак, весь способ размышления у этого школьника, которого его товарищи называют счастливым, — что он, в конце концов, из себя представляет?

— Он представляет из себя, — сказал я, — отождествление ума того, кто рассуждает, с умом его противника.

— Именно так, — сказал Дюпен. — И когда я спросил мальчика, каким образом он достигает *полного* отождествления, в котором состоял его успех, он ответил мне следующее: «Когда я хочу узнать, насколько умен или насколько глуп кто-нибудь, насколько он добр или насколько зол, или какие у него мысли в данную минуту, я придаю выражению моего лица, по возможности, тот самый в сущности оттенок, который есть в выражении *его* лица, и затем жду, какие мысли и какие чувства возникнут в моем уме или сердце, как бы для согласования с этим выражением». Этот ответ школьника лежит в основании всей ложной глубины, которая была найдена у Ларошфуко, Лабрюйера, Макиавелли и Кампанеллы<sup>3</sup>.

— И отождествление ума того, кто рассуждает, — сказал я, — зависит, если я понимаю вас правильно, от точности, с которою оценивается ум противника.

— Практическая оценка зависит от этого, — отвечал Дюпен, — и префект вместе со своей когортой ошибается так часто, во-первых, благодаря недостатку такого отождествления, и, во-вторых, благодаря дурной оценке, или благодаря отсутствию оценки того ума, с которым они имеют дело. Они рассматривают лишь свои *собственные* замыслы находчивости, и, отыскивая что-нибудь скрытое, они соображают лишь те способы скрыть, которые применили бы *они*. В этом они правы весьма — поскольку их собственная находчивость есть верное отображение находчивости *толпы*; но, когда хитрость какого-нибудь отдельного мошенника отлична по ха-

рактеру от их собственной, мошенник, конечно, сражает их. Это случается всегда, когда такая хитрость выше их собственной, и очень часто, когда она ниже. Они не разнообразят принципа при своих расследованиях; в лучшем случае, когда их побуждает какая-нибудь необычная крайность, какое-нибудь чрезвычайное вознаграждение, они расширяют или преувеличивают свои старые способы *практики*, не касаясь своих принципов. Что, например, было сделано в этом доме Д. для видоизменения принципа действия? Что означают все эти пробуравливания, ощупывания, зондирования, и рассматривания через микроскоп, все эти разделения плоскостей здания на зарегистрированные квадратные дюймы — как не простое преувеличение в *применении* одного принципа, или нескольких принципов расследования, которые основаны на известном ряде представлений, касающихся человеческой находчивости, — представлений, к которым префект за долгую свою служебную рутину привык? Разве вы не видите, что он считает за признанное, что *все* люди, пряча письмо, прибегают — ну, не в точности к отверстию, пробуравленному в ножке кресла — но, по крайней мере, к *какой-нибудь* необычной дырке, или к уголку, указанному той же самой системой мыслей, которая побудила бы человека прятать письмо в пробуравленной ножке кресла? И не видите ли вы также, что такие изысканные уголки для прятания вещей применяются лишь в заурядных случаях, и к ним прибегают лишь заурядные умы, ибо во всех тех случаях, где прячут вещь, этот способ ее спрятать, способ укрыть ее *в нарочно отысканном* уголке, с самого начала возможно предположить, и с самого начала на него наталкиваются, и, таким образом, открытие этого уголка зависит вовсе не от остроты разума, а целиком от простой тщательности, терпения, и решимости ищущих, и там, где возникает важный случай, или, что сводится к тому же в полицейских глазах, — там, где вознаграждение основательное, упомянутые качества *никогда* не избегали случая быть примененными? Вы поймете теперь, что я разумел, говоря, что, если бы украденное письмо было спрятано где-нибудь в пределах розысков префекта — другими словами, если бы принцип, примененный при укрытии его, был включен в принципы префекта — письмо было бы, конечно, найдено, это вне сомнения. Однако же, сей чи-

новник подвергся полной мистификации, и отдаленным источником его поражения является предположение, что министр — полоумный, потому что он снижал репутацию поэта. Все полоумные — поэты, префект это *чувствует*, и он лишь повинен в *non distributio medii*, в неверном логическом расчленении, выведя отсюда умозаключение, что все поэты полоумные.

— Но разве он действительно поэт? — спросил я. — Я знаю, что у него есть брат, и оба они были отмечены в литературе. Министр, сколько помню, написал весьма ученое сочинение о дифференциальном исчислении. Он математик, а не поэт.

— Вы ошибаетесь, я знаю его хорошо: он и то, и другое. Как поэт и математик, он должен рассуждать хорошо; как просто математик, он не мог бы рассуждать вовсе, и, таким образом, был бы в полном распоряжении у префекта.

— Вы удивляете меня этими мнениями, — сказал я, — весь мир, в данном случае, против вас. Вы же не хотите свести к нулю правильно выношенную мысль столетий. Математически разум давно рассматривался, как разум *par excellence*.

— «Il y a a parier — отвечал Дюпен, цитируя Шамфора<sup>4</sup>, — que touto idue publique, toute convention rezue, est une sottise, car elle a convenu au plus grand pombre»\*. Математики, я с вами согласен, сделали все, что могли, чтобы распространить общепринятую ошибку, на которую вы указываете, и которая оттого, что она распространена как истина, не перестала быть ошибкой. С искусством, достойным лучшей участи, они, например, захотели употреблять термин «анализ» в применении к алгебре. Первые виновники в этом особенном обмане есть французы; но, если известный термин представляет важность, если слова заимствуют свою ценность из применения их, тогда «анализ» можно переводить — «алгебра», приблизительно так же, как в латинском языке *ambitus* означает *амбиция*, *religio* — *религия*, или *homines honesti* — честные люди.

---

\* Можно биться об заклад, что всякая общественная мысль, всякая принятая условность есть глупость, ибо она подошла к наибольшему числу (*фр.*). — *Примеч. пер.*

— Я тут вижу возможность ссоры, — сказал я, — с некоторыми алгебраистами города Парижа — но продолжайте.

— Я оспариваю применимость и, таким образом, ценность того разума, который культивирован каким-либо иным особым образом, кроме чистой отвлеченной логики. Я оспариваю, в особенности, разум, воспитанный на изучении математики. Математика есть знание формы и количества, математическое рассуждение есть лишь просто логика в применении к наблюдению над формой и количеством. Большая ошибка заключается в предположении, что даже истины того, что именуется *чистой* алгеброй, суть истины отвлеченные, или общие. И эта ошибка столь огромна, что я поражен той всеобщностью, с которою ее принимают. Математические аксиомы *не* суть аксиомы общей истины. Что верно в *отношении* — формы и количества, — часто грубо неверно в применении к морали, например. В этой последней области знания весьма обычно является неверным, что сумма частей равна целому. В химии также аксиома терпит фиаско. При рассмотрении мотива она терпит фиаско потому, что два мотива, каждый с определенной ценностью, будучи соединенными, не имеют, необходимо, ценности, равной сумме их отдельных ценностей. Есть многочисленные другие математические истины, которые суть лишь истины в пределах *соотношения*. Но математик, по привычке, обращается с *конечными истинами* так, как если бы они имели абсолютно общую применимость — как весь мир, на самом деле, относительно их и воображает. Брайант<sup>5</sup> в своей весьма ученой «Мифологии» упоминает об аналогичном источнике ошибки, когда он говорит, что «хотя в языческие вымыслы более не верят, все-таки мы постоянно забываемся и делаем из них выводы, как из существующих реальностей». С алгебраистами, однако, кои сами — язычники, дело обстоит так, что в языческие вымыслы *верят*, и из них делают выводы, не столько благодаря измене памяти, сколько в силу необъяснимого затмения умов. Словом, я никогда не встречал просто математика, которому можно было бы доверять за пределами корней и уравнений, или такого, который втайне не держался бы как за Символ Веры за то, что  $x^2 + px$  абсолютно и безусловно равны  $q$ . Скажите одному из этих джентльменов, если вам угодно, в виде опыта, что, на ваш взгляд, могут

существовать случаи, когда  $x^2 + px$  не целиком равны  $q$ , и, толковав ему то, что вы разумеете, возможно скорее спасайтесь из пределов его досягаемости, так как, без сомнения, он попытается вас поколотить.

— Я хочу сказать, — продолжал Дюпен, между тем как я только рассмеялся на его последнее замечание, — что, если бы министр был не более как математиком, префекту не понадобилось бы давать мне этот чек. Я знал его, однако, за математика и поэта, и я принял меры, соответственные с его способностями, и с обстоятельствами, в которых он находился. Я знал, что он человек придворный, кроме того, и что он смелый *интриган*. Такой человек, рассудил я, не мог не знать обычных полицейских способов действовать. Он не мог не предвидеть — и события доказали, что он предвидел — подстерганий, которым он подвергся. Он должен был предусмотреть, размышляя я, тайный обыск своей квартиры. Его частые уходы из дому по ночам, которые префект приветствовал, как вспомогательные средства успеха, я считал лишь *хитростью* с целью доставить полиции возможность произвести полный обыск, и таким образом возможно скорее внушить убеждение — к которому Ж., действительно, и пришел, — что письма в квартире нет. Я чувствовал также, что вся цепь мысли, которую я с некоторым затруднением только что перед вами развернул, касательно неизменного принципа полицейских мероприятий при отыскивании скрываемых предметов — я чувствовал, что вся эта цепь мысли неизбежно должна была пройти в уме министра. Она должна была победительно внушить ему пренебрежение ко всем обычным *уголкам*, в которые прячут. Он не мог быть, размышляя я, столь слабым, чтобы не увидеть, что самые запутанные и отдаленные уголки его квартиры были бы так же открыты, как самые обыкновенные его шкафы, для глаз, проб, буравчиков и микроскопов префекта. Я видел, словом, что он будет приведен самым предметом к *простоте*, если он не прибегнет к ней умышленно, по добровольному выбору. Вы вспомните, быть может, как отчаянно хохотал префект, когда во время первого нашего разговора я высказал предположение, что, быть может, эта тайна смущает его как раз потому, что она *так* очевидна.

— Да, — ответил я, — я хорошо помню, как он веселился. Я поистине думал, что он умрет в судорогах.

— Мир вещественный, — продолжал Дюпен, — изобилует самыми строгими аналогиями с миром невещественным; и таким образом, некоторый оттенок истины был дан той риторической догме, что метафора, или уподобление, может усиливать довод так же, как украшать описание. Принцип *силы инерции*, например, кажется тождественным в физике и метафизике. Как в первой верно то, что большее тело приводится в движение с большей трудностью, чем меньшее, и что последующая *скорость движения* соизмерима с этой трудностью, так во второй верно то, что разумы больших способностей, будучи более сильными, более постоянными и более подверженными случайностям в своем движении, чем разумы низшей степени, менее легко приводятся в движение, более затруднены, и более полны колебания при самых первых шагах своего поступательного хода. Затем; замечали ли вы когда-нибудь, какие из магазинных вывесок привлекают наиболее внимание?

— Я никогда об этом не размышлял, — сказал я.

— Есть игра угадываний, — продолжал он, — в нее играют по географической карте. Один игрок просит другого угадать задуманное слово — название города, реки, провинции или империи — словом, какое-нибудь название, имеющееся на пестрой и спутанной поверхности карты. Новичок в этой игре обыкновенно старается затруднить своих противников, выбирая наиболее мелко напечатанные имена, а искусившийся выбирает такие слова, которые крупным шрифтом проходят от одного конца карты к другому. Такие слова так же, как вывески и уличные объявления, сделанные слишком широкими буквами, ускользают от наблюдения, благодаря именно тому, что они слишком очевидны; и здесь физический недосмотр в точности схож с недосмотром моральным, благодаря которому разум пропускает *такие* соображения, которые слишком назойливо и слишком осязательно очевидны. Но это пункт, который, по-видимому, несколько выше или ниже понимания префекта. Он никогда не считал вероятным или возможным, чтобы министр выложил письмо как раз под носом у целого мира, с целью наилучшим образом возбранить некоторой части этого мира усмотреть его.

Но чем более я размышлял о смелой, дерзкой, и четко-разбирающей находчивости Д., чем более я размышлял о том факте, что данный документ всегда должен был быть *под рукой*, чтобы им можно было воспользоваться при первом же случае, — и о той решительной очевидности, полученной префектом, что он не был спрятан в пределах обычных поисков этой достойной особы — тем более я убеждался, что министр прибег к широкому и мудрому средству не скрывать его вовсе.

Преисполненный такими мыслями, я запасся зелеными очками, и в одно прекрасное утро совершенно неожиданно зашел на министерскую квартиру. Я застал Д. дома, зевающим, бездельничающим, и преданным всяким пустякам, как обыкновенно, и притязующим на последнюю степень скуки. Он, быть может, самый энергичный человек, какой только ныне живет, но это только тогда, когда никто его не видит.

Чтобы поквитаться с ним, я стал жаловаться на мои слабые глаза и скорбеть о необходимости носить очки, под прикрытием коих я осторожно и тщательно осмотрел все апартаменты, делая вид в то же время, что я лишь слежу за беседой моего хозяина.

Я уделил особое внимание большому письменному столу, около которого он сидел и на котором в беспорядке лежали разные письма и другие бумаги, один, или два музыкальных инструмента, и несколько книг. Здесь, однако, после долгого и весьма тщательного расследования, я не увидел ничего, что могло бы вызывать какое-нибудь особенное подозрение.

Наконец, глаза мои, осматривая всю комнату кругом, упали на дрянную филигранную решеточку для визитных карточек, которая свешивалась на грязной синей ленте с небольшого выступа, как раз посреди верхушки камина. В этой решетке, в которой было три или четыре отделения, было пять-шесть визитных карточек и одно-единственное письмо. Это последнее было очень засалено и скомкано. Оно было почти разорвано надвое посередине — как будто в первую минуту у собственника было намерение разорвать его совершенно, как ненужное, но намерение тотчас же изменилось, или задержалось. На письме была широкая, черная печать, с шифром Д., весьма явственным, и оно было адресовано мелким женским почерком самому министру Д. Письмо было

брошено небрежно и даже, как казалось, с пренебрежением, в одно из верхних отделений решетки.

Едва только я заметил это письмо, как составил заключение, что это именно то самое, чего я ищу. Конечно, по виду оно резко отличалось от того, подробное описание которого префект нам читал. Здесь печать была большая и черная, с шифром Д.; там она была маленькая и красная, и с герцогским гербом фамилии С. Здесь адрес — министру — был написан мелким женским почерком; там адрес, некоторой царственной особы, был написан почерком очень смелым и решительным; один лишь размер составлял пункт сходства. Но *резкий характер* этих различий, столь чрезвычайный, — то, что письмо было загрязнено, засалено, и надорвано, — столь несогласный с настоящими методическими привычками Д., и столь указывающий на намерение обмануть наблюдателя, внушить ему мысль о ничтожности документа, — все это, вместе с самым назойливым положением данного документа, находившегося прямо перед глазами каждого проходящего, и бывшего, таким образом, в полном соответствии, что я уже раньше установил, — все это, говорю я, весьма сильно подкрепляло подозрение того, кто пришел с намерением подозревать.

Я продлил мой визит как только было возможно, и в то время как я поддерживал самый оживленный разговор с министром о предмете, который, как я знал, всегда вызывал в нем самый оживленный интерес, внимание мое было, в действительности, приковано к этому письму. При этом рассматривании я запомнил его внешний вид и его положение в решетке; и, наконец, сделал открытие, окончательно устранившее какие-либо малейшие сомнения, которые я еще мог иметь. Рассматривая края бумаги, я заметил, что они более стерты, чем это казалось необходимым. Они имели вид *сломаный*, который получается, когда твердую бумагу, после того как ее сложили и разгладили, сложили вновь в обратном направлении такими же складками, и образуя такие же края, как это было первоначально. Это открытие было достаточным. Для меня было ясно, что письмо было вывернуто, как перчатка, внутренней стороной наружу, вновь положено в конверт, и снова запечатано. Я распростился с министром

и немедленно удалился, оставив у него на столе мою золотую табакерку.

На следующее утро я зашел за табакеркой, и мы с оживлением продолжили наш разговор. В то время как мы так разговаривали, под самыми окнами квартиры министра раздался громкий выстрел, как бы из пистолета, и за ним последовал целый ряд страшных криков и воплей испуганной толпы. Д. бросился к окну, раскрыл его и стал смотреть на улицу. Я в это время подошел к решетке для карточек, взял письмо, положил его к себе в карман, и положил на его место *факсимиле* (поскольку дело касалось внешнего вида), которое я заботливо приготовил у себя дома — изобразив шифр Д. весьма искусно, с помощью печати, сделанной из хлебного мякиша.

Суматоха на улице была вызвана полоумным поведением некоего человека с мушкетом. Он выстрелил из него, находясь в толпе, среди женщин и детей. Оказалось, однако, что в ружье не было пули, и чудачку предоставили идти своей дорогой, сочтя его за сумасшедшего или пьяного. Когда он ушел, Д. отошел от окна, куда я за ним последовал тотчас же, после того как завладел надлежащим предметом. Вскоре после этого я распростился с ним. Мнимый сумасшедший был мной подкуплен.

— Но какая у вас была цель, — спросил я, — когда вы на место письма положили его факсимиле? Не лучше ли бы было во время первого же визита напрямки захватить его и отбыть?

— Д., — отвечал Дюпен, — человек отчаянный и человек сильный. В квартире его, кроме того, нет недостатка в слугах, преданных его интересам. Если бы я сделал безумную попытку, о которой вы говорите, я мог не выйти от него живым. Добрые парижане могли бы вовсе ничего не услышать обо мне. Но, кроме того, я имел здесь свое особое соображение. Вы знаете мои политические предрасположения. В данном случае, я действую как сторонник заинтересованной дамы. В течение восемнадцати месяцев она была игрушкой в руках министра. Теперь он игрушка в ее руках, ибо, не зная, что письмо более не находится в его обладании, он будет делать свои вымогательства так, как если бы письмо еще было у него. Таким образом, он неизбежно совершит сам, и немедленно, свое политическое крушение. Его падение будет, кроме того, столь же стремительно, как неуклюже. Весьма удобно

говорить о *facilis descensus Averni\**, но во всех разрядах вскарабкивания, как Каталани<sup>7</sup> говорит о пении, гораздо легче взобраться, нежели спуститься. В данном случае, я не питаю сочувствия — во всяком случае не испытываю сострадания — к тому, кто нисходит. Этот господин есть *monstrum horrendum*, чудовище, достойное отвращения, беспринципный человек, отмеченный гением. Признаюсь, однако, что я очень хотел бы знать точный характер его мыслей, когда, будучи на это вызван той, кого префект именует «некоторая известная особа», он вынужден будет вскрыть письмо, которое я ему оставил в его решетке для карточек.

— Как, разве вы туда поместили что-нибудь особенное?

— Почему нет! Это имело бы не вполне благоприличный вид, если бы внутри была лишь белая бумага — это было бы оскорбительно. Д. однажды сыграл со мной в Вене скверную шутку, и в наилучшем расположении духа я ему сказал, что я это припомню. Таким образом, зная, что он будет испытывать некоторое любопытство касательно того, кто перехитрил его, я подумал, что было бы жаль не дать ему ключа. Он хорошо знаком с моим почерком, и как раз посреди белой страницы я переписал следующие слова —

Un dessein si funeste  
*S'il n'est digne d'Atrûe, est digne de Thyeste\*\*.*

Вы найдете это в «Атрепе» Кребийона<sup>8</sup>.

## ЗОЛОТОЙ ЖУК

Хо-хо! Он пляшет, как безумный!  
Его тарантул укусил.

«Все не правы»<sup>1</sup>

Несколько лет тому назад я сблизился с мистером Вильямом Леграном. Он происходил из старой гугенотской семьи, и некогда был богат; но ряд злоключений привел его к нище-

\* О легком нисшествии в Преисподнюю<sup>6</sup> (лат.). — Примеч. пер.

\*\* Замысел столь пагубный, если недостоин Атрея, то достоин Фиеста (фр.). — Примеч. пер.

те. Дабы избегнуть унижений, следствующих за разорением, он покинул Новый Орлеан, город своих предков, и поселился на острове Сэлливана, близ Чарлстона в Южной Каролине.

Остров этот весьма особенный. Почти весь он состоит из морского песку и имеет приблизительно около трех миль в длину, ширина его нигде не достигает более четверти мили. От материка он отделен еле заметной бухточкой, которая прокладывает себе путь, просачиваясь сквозь ил и глухие заросли камыша, обычное местопребывание болотных курочек. Растительность здесь, как и можно было бы предполагать, скудная, или во всяком случае карликовая. Нет там деревьев сколько-нибудь значительной величины. На западной окраине, там, где находится крепость Моултри<sup>2</sup> и несколько жалких деревянных строений, населенных в течение лета беглецами из Чарлстона, укрывающихся от пыли и лихорадок, можно встретить колючую пальмочку; но весь остров, за исключением этого западного пункта и линии сурового белого побережья, покрыт густыми зарослями душистой мирты, столь ценимой английскими садоводами. Кустарник часто достигает здесь вышины пятнадцати — двадцати футов, и образует поросль, почти непроницаемую, и наполняющую воздух пряным своим ароматом.

В самой глубине этой чащи, недалеко от восточной окраины острова, т. е. самой отдаленной, Легран собственноручно построил себе маленькую хижину, в которой он жил, когда впервые, совершенно случайно, я познакомился с ним. Это знакомство вскоре выросло в дружбу — так как, без сомнения, в этом отшельнике было что-то, что могло возбудить интерес и уважение. Я увидел, что он был хорошо воспитан, обладал необычными силами ума, но заражен был человеконенавистничеством и подвержен болезненным сменам восторга и меланхолии. У него было с собой много книг, но он редко пользовался ими. Его главным развлечением было охотиться и ловить рыбу, или бродить вдоль бухты и среди мирт, в поисках за раковинами и энтомологическими образцами; его коллекции этих последних мог бы позавидовать всякий Сваммердам<sup>3</sup>. В этих экскурсиях его обыкновенно сопровождал старый негр, называвшийся Юпитером, который был отпущен на свободу раньше злополучного перево-

рота в семье, но ни угрозы, ни обещания не могли заставить его отказаться от того, что он почитал своим правом — по пятам следовать всюду за своим юным «массой Виллом»\*. Вполне вероятно, что родственники Леграна, считавшие его немного тронутым, согласились примириться с упрямством Юпитера, имея в виду, оставить его как бы стражем и надсмотрщиком за беглецом. На той широте, где лежит остров Сэлливана, зимы редко бывают суровыми, и даже к концу года редко случается, что надо топить. Однако в середине октября 18... выдался день необычайно холодный. Перед самым закатом солнца я пробирался сквозь вечнозеленую чащу к хижине моего друга, которого не видал уже несколько недель. Я обитал в то время в Чарлстоне, в девяти милях от острова, и путь туда и обратно был сопряжен с меньшими удобствами, чем в настоящее время. Подойдя к хижине, я постучался как обыкновенно, и не получая ответа, стал искать ключ там, где, как я знал, он был спрятан, отпер дверь и вошел. Яркий огонь пылал в очаге. Это было неожиданностью и отнюдь не неприятной. Я сбросил пальто, придвинул кресло к потрескивающим дровам и стал терпеливо дожидаться прибытия хозяев.

Они пришли вскоре после наступления сумерек и встретили меня самым радушным образом. Юпитер, смеясь и улыбаясь до ушей, хлопотал над изготовлением болотных курочек к ужину. Легран находился в одном из своих припадков — как иначе могу я назвать это? — восторга. Он нашел неведомую двустворчатую раковину, образующую новый род, и, еще лучше того, с помощью Юпитера он ловил и поймал-таки жука-*скарабея*, который, как он утверждал, был еще не известен ученому сообществу, и о котором ему хотелось узнать мое мнение завтра.

— А почему же не сегодня вечером? — спросил я, потирая руки перед огнем и мысленно посылая к черту все породы жуков.

— Ах, если бы я только знал, что вы здесь! — сказал Легран, — но я так давно не видал вас; и как мог я предвидеть, что из всех ночей вы выберете именно сегодняшнюю,

---

\* «Massa Will», т. е. «Master William», хозяин Вильям, или господин Вильям. — *Примеч. пер.*

чтобы посетить меня. Возвращаясь домой, я встретил лейтенанта Г., из крепости, и поступил легкомысленно, одолжив ему жука; потому-то вам и не придется увидеть его ранее завтрашнего утра. Оставайтесь здесь эту ночь, а я пошлю за ним Юпитера на восходе солнца. Это самое чудесное, что есть в мироздании!

— Что! Восход солнца?

— Да нет же! Жук! Он блестящего золотого цвета, величины приблизительно с большой орех, с двумя черными, как смоль, пятнышками на одном конце спины, и с пятном еще побольше на другом конце. *Усики* у него...

— Что там *усики*, масса Виль, не в усиках, доложу вам, дело, — прервал его тут Юпитер, — этот жук — золотой жук, из чистого золота, весь целиком и внутри, и всюду, только не крылья. Я в жизни своей не видел жука даже и на половину такой тяжести.

— Хорошо, положим, что ты прав, Юп, — сказал Легран несколько более серьезно, как мне показалось, чем того требовал случай, — но все же это не причина, чтобы ты сжег дичь? Достаточно увидеть этот цвет, — тут он обратился ко мне, — для того, чтобы подтвердить слова Юпитера. Вы никогда не увидите металлического блеска более ослепительного, чем блеск его надкрыльев. Но об этом вы не можете судить до завтра. А пока я постараюсь дать вам некоторое представление о его форме.

Говоря это, он уселся за небольшим столом, на котором было перо и чернила, но бумаги не было. Он поискал ее в ящике, но не нашел.

— Не беспокойтесь, — сказал он наконец, — этого будет достаточно. — И он вытащил из жилетного кармана клочок чего-то, что показалось мне куском очень грязного пергамента, и сделал на нем очень грубый набросок пером. Пока он был занят этим, я продолжал сидеть у огня, так как мне все еще было очень холодно. Когда рисунок был окончен, он протянул мне его, не вставая. В то время как я брал его, послышалось громкое рычание, сопровождавшееся царапаньем в дверь. Юпитер открыл ее, и огромная, ньюфаундлендской породы собака, принадлежащая Леграну, ворвалась в комнату, бросилась мне на плечи и стала осыпать меня своими ласками, как и в предыдущие свои посещения я выказал ей мно-

го внимания. Когда она напрыгалась, я посмотрел на бумагу и, сказать правду, был немало озадачен тем, что нарисовал мой друг.

— Хорошо! — сказал я после того, как смотрел на рисунок в течение нескольких минут, — должен признаться: *это* престранный *скарабей*, для меня он совсем неизвестный. Я не видал ничего даже подобного ему — разве только череп, или мертвую голову — на которые он походит более, чем на что-то другое, что мне случалось наблюдать.

— На мертвую голову! — повторил Легран как эхо. — О да, конечно, есть что-то на это похожее, несомненно. Два верхние черные пятна смотрят как глаза, да? А более продолговатое, ниже, как рот, правда? И затем форма всего его — овальна.

— Может быть, это так, — сказал я, — но я боюсь, Легран, что вы не художник. Я должен подождать, пока не увижу самого жука, если мне нужно составить какое-нибудь представление о его внешнем виде.

— Хорошо, — сказал он, несколько задетый, — мне показалось, я рисую порядочно — по крайней мере, должен был бы хорошо рисовать, так как у меня были хорошие учителя, и я лью себя надеждой, что уже не совсем я тупоголовый.

— Но, мой милый друг, — сказал я, — вы шутите тогда; это довольно удачный *череп*, могу сказать даже — *превосходный* череп, согласующийся с общими представлениями о таких физиологических образцах — и ваш жук был бы самым удивительным из всех жуков в мире, если бы он походил на это. Что же, мы могли бы извлечь из такого намека весьма душещипательное суеверие. Я предполагаю, что вы назовете ваше насекомое *scarabeus caput hominis*, жук — человеческая голова, или что-нибудь в этом роде. В книгах по естественной истории много подобных названий. Но где усики, о которых вы говорили?

— Усики! — сказал Легран, который, как казалось, без причины горячился по поводу данного предмета, — я уверен, вы должны видеть *усики*. Я сделал их такими же явственными, как у настоящего жука, и я думаю этого вполне достаточно.

— Хорошо, хорошо, — сказал я, — быть может, вы сделали их, но все же я их не вижу. — И я протянул ему бумагу, не

прибавив ничего больше, ибо не желал окончательно вывести его из себя; все же я был очень озадачен оборотом дела; я был ошеломлен его дурным настроением — что же касается жука, то положительно, на нем *не было* видно *усиков*, и общий вид имел очень большое сходство с мертвой головой.

Он взял обратно свою бумагу с очень недовольным видом и готов был скомкать ее, очевидно, чтобы бросить в огонь, когда случайный взгляд, брошенный им на рисунок, как казалось, внезапно приковал его внимание. В один миг лицо его сильно покраснело — потом страшно побледнело. В течение нескольких минут он продолжал подробно изучать рисунок. Наконец он встал, взял со стола свечу и отправился в самый отдаленный конец комнаты, где уселся на корабельном сундуке. Здесь он снова начал с взволнованным любопытством рассматривать бумагу, поворачивая ее во все стороны. Он ничего не говорил, однако и его поведение весьма изумляло меня; но я считал благоразумным не обострять возрастающей его капризности каким-либо замечанием. Вдруг он вынул из бокового кармана портфель, бережно положил туда бумагу и, спрятав все в письменный стол, запер его на ключ. Теперь он сделался спокойнее в своих манерах, но прежний вид восторга совершенно его покинул. Однако он казался не столько сердитым, сколько сосредоточенным. Чем ближе был вечер, тем более и более погружался он в мечтательность, из которой никакое мое оживление, ни шутка не могли его вывести. У меня было намерение провести ночь в хижине, как это часто случалось раньше, но, видя настроение, в котором находился хозяин, я счел за лучшее распрощаться с ним. Он не сделал никакого движения, чтобы удержать меня, но, когда я уходил, пожал мне руку даже более сердечно, чем обыкновенно.

Прошло около месяца после этого (и за это время я ничего не слышал о Легране), как вдруг в Чарлстоне меня посетил его слуга, Юпитер. Я никогда не видал старого доброго негра таким расстроенным, и испугался, не случилось ли с моим другом какого-либо серьезного несчастья.

— Ну как, Юп? — сказал я, — что нового? Как поживает господин?

— Сказать правду, масса, ему совсем не так хорошо, как могло бы быть.

— Нехорошо! Мне очень прискорбно слышать это. На что же он жалуется?

— Вот то-то и оно! Он никогда не жалуется ни на что, а все же он очень болен.

— *Очень* болен, Юп! Что же вы не сказали мне этого сразу? Он в постели?

— Нет, не то, не то! Его нигде не найти — вот тут-то и горе. Сильно мое сердце беспокоит бедный масса Виль.

— Юпитер, я хотел бы понять хоть сколько-нибудь то, о чем ты говоришь. Ты сказал, что хозяин твой болен. Разве он не сказал, что у него болит?

— Ах, масса, совсем напрасно ломать себе голову над этим — масса Виль говорит, что *ничего с ним*. Почему же он бродит тогда взад и вперед задумавшись, смотрит себе под ноги, повесив голову и подняв плечи, и весь белый как гусь? И потом, он все пишет цифры.

— Что он делает, Юпитер?

— Пишет цифры с фигурами на грифельной доске, с самыми смешными фигурами, какие я только видел. Скажу вам, это начинает меня пугать. За ним нужен глаз да глаз. Тут вот на днях он сбежал от меня с утра и пропал весь божий день. Я нарочно вырезал хорошую палку, чтобы проучить его хорошенько, когда он вернется, только я дурак — не мог решиться — такой он был жалкий на вид.

— Ну и что же? Да после всего, я думаю, тебе лучше не быть слишком строгим с беднягой. Уж не бей его, Юпитер, — пожалуй, он бы и не вынес этого, но не можешь ли ты установить, что вызвало его недуг, эту перемену в нем? С ним случилась какая-нибудь неприятность с тех пор, как я не видал вас?

— Нет, масса, с того дня ничего страшного не случилось, боюсь, это случилось *раньше* — как раз в тот день, когда вы были там.

— Как? Что вы хотите сказать?

— Да вот, масса, хочу сказать про жука — вот и все.

— Про что?

— Про жука — уверен я, твердо уверен, что масса Виль был укушен в голову этим золотым жуком.

— Какое же основание у тебя, Юпитер, для этого предположения?

— Клешней довольно, масса, и рта еще в прибавку. Никогда я не видывал такого чертовского жука — он толкается ногами и кусает все, что ни подойдет к нему. Масса Виль поймал его быстро, да тотчас же и выпустил. Скажу вам — тогда-то он и был укушен. Рот у этого жука — вот что мне не нравится уж очень. Сам я потому пальцами взять его не захотел, а в кусочек бумажки поймал. Завернул его в бумагу и кусочек ее засунул ему в рот — вот как было дело.

— И ты думаешь, что действительно твой господин был укушен жуком, и что он захворал от укуса?

— Я ничего не думаю об этом — я *знаю* это. Что же его тогда заставляет все время видеть во сне золото, ежели это не золотой жук его укусил? Я уже и раньше слышал об этих золотых жуках.

— Но откуда ты знаешь, что ему снится золото?

— Откуда я знаю? Потому что он говорит об этом во сне — вот откуда я это знаю.

— Хорошо, Юп, может быть ты и прав, но какой счастливой случайности я обязан чести твоего сегодняшнего посещения?

— В чем дело, масса?

— У тебя какое-нибудь поручение ко мне от мистера Леграна?

— Нет, масса, у меня нет какого-нибудь поручения, но есть вот это письмо, — и Юпитер вручил мне записку, в которой было следующее:

«Мой дорогой!

Отчего я не видал вас так долго? Надеюсь, вы не были настолько безрассудны, чтобы обидеться на некоторую мою резкость; но нет, это невероятно.

За то время, что я не видал вас, у меня было много причин для беспокойства. Мне нужно сообщить вам нечто, но не знаю, как вам это сказать, и даже нужно ли вообще говорить.

В течение нескольких дней я был не совсем здоров, и мой бедный старик Юп надоедает мне почти до нестерпимости своими добрыми заботами. Поверите ли? На днях он принес огромную палку, дабы наказать меня за то, что я улизнул от него, и провел день *solus*, в полном одиночестве, среди холмов на материке. И поистине я думаю, что только мой больной вид спас меня от палочных ударов.

С тех пор как мы не виделись, я не прибавил ничего нового к своей коллекции.

Если вы можете, устройтесь каким-нибудь образом, приходите сюда с Юпитером. *Приходите*. Я хочу видеть вас *сегодня же вечером* по очень важному делу. Уверяю вас, что дело это *величайшей* важности. Всегда ваш,

*Вильям Легран».*

В тоне этой записки было что-то, что заставило меня очень забеспокоиться. Весь ее стиль совершенно отличался от обычной манеры Леграна. О чем мог он мечтать? Какая новая причуда овладела его легко возбуждающимся мозгом? Какое такое «дело величайшей важности» могло у него быть? Рассказ Юпитера не предвещал ничего доброго. Я боялся, что постоянное давление несчастий в конце концов расстроило разум моего бедного друга. Потому, не колеблясь ни минуты, я стал собираться, чтобы сопровождать негра.

Придя к берегу, я заметил косу и три лопаты, по-видимому, совершенно новые, лежавшие на дне лодки, в которой мы должны были отплыть.

— Что все это значит, Юп? — спросил я.

— Это коса, масса, и лопаты.

— Совершенно верно; но зачем они тут?

— Косу и лопаты масса Виль велел купить мне для него в городе. И черт знает сколько за них денег я должен был дать.

— Но во имя всего таинственного, что же твой «масса Виль» хочет делать с этой косой и лопатами?

— А уже *этого-то* я не знаю, и черт меня побери, если он сам это знает. Но это все пришло от жука.

Видя, что мне ничего не добиться от Юпитера, вся мысль которого, казалось, поглощена была «жуком», я шагнул в лодку и развернул парус. С попутным сильным ветром мы быстро вошли в небольшой залив к северу от крепости Мултри, и, сделав переход мили в две, пришли к хижине.

Было около трех часов пополудни, когда мы прибыли. Легран ждал нас в сильном нетерпении. Он сжал мне руку с нервной стремительностью, которая встревожила меня и подтвердила мои уже возникшие опасения. Лицо его было бледно даже до призрачности, и его глубокосидящие глаза сверкали неестественным блеском. После некоторых вопро-

сов касательно его здоровья, я спросил его, не зная, о чем лучше заговорить, получил ли он жука от лейтенанта Г.

— О, да, — ответил он, сильно покраснев, — я взял его обратно на следующее же утро. Ни за что теперь не расстанусь я с этим *скарабеем*. Знаете, Юпитер совершенно прав относительно него!

— Каким образом? — спросил я с дурным предчувствием в сердце.

— Предполагаю, что это жук из *настоящего золота*.

Он сказал это с видом такой глубокой серьезности, что я почувствовал себя невыразимо угнетенным.

— Этот жук составит мою фортуна, — продолжал он с торжествующей улыбкой, — ему предназначено восстановить меня в моих фамильных владениях. Удивительно ли поэтому, что я так дорожу им? Если судьба сочла за нужное даровать мне его, мне нужно только надлежащим образом им воспользоваться, и я достигну золота, указателем которого он является. Юпитер, принеси мне этого *скарабея*!

— Что! Жука, масса? Не очень-то мне хочется трогать его — возьмите-ка уже его себе сами.

Тогда Легран встал с серьезным и торжественным видом, и принес мне насекомое из-под стеклянного колпака, под которым оно находилось. Это был красивый *скарабей*, в то время совершенно еще неизвестный естествоиспытателям — с научной точки зрения, конечно, большая ценность. У него было два круглых черных пятна на одном конце спины и другое, более продолговатое, ближе к другому краю. Надкрылья были особенно тверды и глянцевиты и были очень похожи на блестящее золото. Вес насекомого был весьма примечательный, и, принимая все это во внимание, я не мог слишком осуждать Юпитера за его мнение касательно жука; но что касается того, что Легран был согласен с этим мнением, почему он это делал, я никоим образом не мог бы этого сказать.

— Я послал за вами, — сказал он каким-то высокоторжественным тоном, когда я закончил рассматривать жука. — Я послал за вами, чтобы спросить вашего совета и помощи для исполнения предначертания Провидения и жука.

— Мой дорогой Легран, — воскликнул я, прерывая его, — вы, наверное, нездоровы, и вам нужно было бы принять ка-

кие-нибудь меры. Ложитесь в постель, а я останусь с вами несколько дней, пока вы не поправитесь. У вас жар и...

— Пощупайте мой пульс, — сказал он.

Я пощупал его пульс и, по правде сказать, не нашел никакого признака жара.

— Но вы можете быть больны и без жара. Позвольте мне хоть раз дать вам настоящий совет. Прежде всего лягте в постель. Затем...

— Вы ошибаетесь, — прервал он, — мне хорошо, насколько это может быть при том возбуждении, в каком я нахожусь. Если вы действительно желаете мне блага, то вы захотите облегчить это возбуждение.

— А как это сделать?

— Очень просто. Юпитер и я, мы отправляемся в некоторую экспедицию в холмы, на материк, и в этой экспедиции нам понадобится помощь такого лица, на которое мы можем вполне положиться. Вы единственный, кому мы доверяем. Удастся ли нам это, нет ли, но то возбуждение, которое вы видите во мне, во всяком случае утихнет.

— Я очень хочу служить вам во всем, — ответил я, — но можете ли вы сказать, имеет ли этот дьявольский жук какое-либо отношение к вашей экспедиции в холмы?

— Да, имеет.

— В таком случае, Легран, я не могу принять участия в столь нелепом предприятии.

— Мне жаль — очень жаль, — так как нам придется предпринять это одним.

— Попытаться предпринять это одним! Человек этот поистине безумен! Но постойте! Сколько времени вы думаете отсутствовать?

— Вероятно, всю ночь. Мы выйдем сейчас же, и возвратимся во всяком случае с восходом солнца.

— А можете ли вы обещать мне вашей честью, что когда пройдет ваш каприз, и дело с жуком (Господи Боже мой!) будет улажено к вашему удовольствию, вы вернетесь домой и будете в точности следовать моим советам, как если бы я был вашим врачом?

— Да, я обещаю; а теперь идем, ибо нам нельзя терять времени.

С тяжелым сердцем я последовал за моим другом. Мы вышли около четырех часов — Легран, Юпитер, собака и я. Юпитер взял с собой косу и лопаты, которые он захотел непременно нести сам, как мне показалось, больше из боязни отдать один из этих инструментов своему господину, чем от избытка усердия или услужливости. Он был зол и упрям до крайности, и единственные слова, которые вырвались у него во время всей этой прогулки, были: «Этот проклятый жук!» Что касается меня, мне были поручены два потайные фонаря, между тем как Легран удовольствовался *скарабеем*, который был привязан на бечевке; он крутил ее, размахивая ею взад и вперед, пока шел, с видом заклинателя. Когда я заметил этот последний признак безумия моего друга, я с трудом мог удержаться от слез. Я думал, что во всяком случае лучше потакать его капризу, по крайней мере теперь или до тех пор, пока я не смогу принять какие-либо более энергичные меры с надеждой на успех. Между тем я старался, но совершенно напрасно, выпытать у него, в чем цель нашей экскурсии. После того как ему удалось убедить меня сопровождать его, он, казалось, не хотел поддерживать разговора о чем-нибудь менее важном, и на все мои вопросы не удостоивал меня другим ответом, кроме как «Увидим!». Мы пересекли на ялике бухту у крайнего выступа острова, и, взбираясь на высоту противоположного берега материка, направились к северо-западу через местность страшно дикую и пустынную, где не видно было следов человеческой ноги. Легран шел очень решительно, останавливался изредка то тут, то там для того, чтобы сообразоваться с некоторыми, как казалось, его собственными отметинами, оставленными им здесь раньше.

Мы шли так приблизительно около двух часов, и солнце как раз заходило, когда мы вошли в область еще более мрачную, чем та, какую мы когда-либо доселе видели. Это было что-то вроде плоскогорья вблизи вершины почти недоступного холма, покрытого густым лесом сверху донизу, там и сям в беспорядке были рассеяны огромные глыбы, они лежали, по-видимому, непрочно на земле, и нередко должны были бы упасть вниз в долину, если бы их не задерживали деревья, в которые они упирались. Глубокие овраги вились во

всех направлениях и придавали этой картине характер еще более мрачной торжественности.

Природная площадка, на которую мы вскарабкались, густо заросла кустами терновника, через них (мы увидели это определенно) нам было бы невозможно пробраться без косы; и Юпитер под руководством своего господина стал прочищать для нас дорожку к подножию исполински высокого тюльпанового дерева<sup>4</sup>, которое возвышалось среди восьми или десяти дубов, находившихся на одном с ним уровне, и превосходило их все, а также и все другие деревья, которые я до того времени видел, красотой листвы и формы, широким распространением своих ветвей, и общим величественным видом. Когда мы приблизились к дереву, Легран обернулся к Юпитеру и спросил его, думает ли он, что он может на него взобраться. Бедный старик, казалось, был слегка ошеломлен этим вопросом, и несколько мгновений ничего не отвечал. Наконец, он приблизился к огромному стволу, медленно обошел его кругом, и осмотрел с тщательным вниманием. Когда он окончил свое исследование, он сказал просто:

— Да, масса, Юп взберется на любое дерево, какое он когда-либо в жизни видел.

— Так взбирайся, и скорее, а то скоро совсем стемнеет, и нам ничего не будет видно.

— Как высоко нужно мне влезть, масса? — спросил Юпитер.

— Взбирайся по главному стволу сначала, а потом я скажу тебе, куда направиться, — послушай, стой! Возьми этого жука с собою.

— Жука, масса Виль! Золотого жука! — воскликнул негр, пятясь назад в страхе, — для чего мне нужно брать жука на дерево? Да будь я проклят, если я это сделаю!

— Если ты боишься, Юп, большой-пребольшой негр, взять в руку безвредного маленького мертвого жука — что же, ты можешь держать его на бечевке — но, если ты не возьмешь его с собой так или иначе, я буду принужден размозжить тебе голову вот этой лопатой.

— Что же тут разговаривать, масса? — сказал Юп, очевидно, пристыженный настолько, что согласился, — всегда вам нужно поднять шум, когда вы говорите со старым негром. Пошутил ведь я только. *Мне* бояться жука! Буду я думать о

жуке! — Тут он осторожно взялся за самый крайний конец бечовки, и, держа насекомое так далеко от своей особы, как только это позволяли обстоятельства, приготовился влезать на дерево.

В молодости тюльпановое дерево, *Liriodendron Tulipiferum*, самое великолепное из американских лесных деревьев, имеет ствол необычайно гладкий и нередко поднимается на большую высоту без боковых ветвей; но в зрелом его возрасте кора его делается неровной и сучковатой, ибо на стволе появляется множество коротких ветвей. Таким образом, в данном случае, взобраться на него казалось более трудным, нежели это было на самом деле. Обхватывая огромный цилиндр насколько возможно плотнее руками и коленями, придерживаясь руками за одни выступы и становясь босыми ногами на другие, Юпитер после одной или двух неудачных попыток, едва-едва не свалившись, вскарабкался, наконец, на первое большое разветвление, и, казалось, считал, что все дело по существу уже закончено. *Риск* этого свершения действительно теперь миновал, хотя все же влезавший находился на высоте шестидесяти или семидесяти футов от земли.

— В какую мне теперь сторону идти, масса Виль? — спросил он.

— Следуй по самой толстой ветви — по той, что с этой стороны, — сказал Легран. Негр повиновался ему сразу, и, по видимости, лишь с малыми затруднениями поднимался все выше и выше, пока наконец совсем нельзя было различать его мелькавшую скорчившуюся фигуру среди густой листвы, закрывавшей его. Теперь его голос был слышен как некоторое ауканье.

— Сколько еще мне нужно лезть?

— Как высоко ты находишься? — спросил Легран.

— Так высоко, — отвечал негр, — что могу видеть небо сквозь вершину дерева.

— Не занимайся небом, а слушай внимательно, что я тебе скажу. Посмотри вниз на ствол и сосчитай сучья, которые под тобой с этой стороны. Сколько сучьев ты миновал?

— Раз, два, три, четыре, пять — я влез выше пяти толстых сучьев с этой стороны!

— Тогда поднимись еще на один сук выше.

Через несколько минут снова послышался голос, возвещавший, что седьмой сук был достигнут.

— Теперь, Юп, — вскричал Легран, видимо, сильно взволнованный, — я бы хотел, чтобы ты продвинулся по этому суку вперед, насколько только ты сможешь. Если ты увидишь что-нибудь необыкновенное, дай мне знать.

За это время то маленькое сомнение, которое я еще старался сохранить относительно сумасшествия моего бедного друга, оставило меня окончательно. Я не мог не сделать заключения, что он поражен безумием, и начинал серьезно беспокоиться о том, как бы увести его домой. В то время как я раздумывал, что лучше предпринять, голос Юпитера послышался снова.

— Очень страшно идти дальше по этому суку — этот сук сухой весь до конца.

— Ты говоришь, что это *сухой* сук, Юпитер? — вскричал Легран дрожащим голосом.

— Да, масса, он сух, как дверной гвоздь, пропащее дело — тут уже жизни нет никакой.

— Боже мой, Боже мой, что же мне делать? — спросил Легран, по-видимому, в большой тревоге.

— Что делать, — сказал я, обрадованный случаем вставить слово, — вернуться домой и лечь спать. Пойдем теперь — будьте добрым товарищем. Становится поздно, и притом вспомните ваше обещание.

— Юпитер, — закричал он, не обращая на меня ни малейшего внимания, — ты слышишь меня?

— Да, масса Виль, я слышу вас все так же ясно.

— Тогда попробуй дерево твоим ножом, и посмотри, думаешь ли ты, что сук *очень* гнилой.

— Гнилой, масса, препорядочно гнилой, — ответил через несколько мгновений негр, — но не настолько уже гнилой, как мог бы быть. Могу попытаться пройти немножко дальше по суку один — это верно.

— Один! Что ты хочешь сказать?

— Да что же — я говорю о жуке. *Ужасно* тяжелый этот жук. Если бы я его бросил, тогда сук выдержал бы, не ломаясь, как раз вес одного негра.

— Вот чертов плут, — воскликнул Легран, по-видимому, весьма облегченный, — что ты хочешь сказать этим вздором?

Если ты только бросишь жука, я сверну тебе шею. Смотри же, Юпитер, ты слышишь меня?

— Да, масса, никакой нет надобности кричать таким манером на бедного негра.

— Хорошо! Теперь слушай! Если ты решишься пойти по суку вперед, не рискуя, так далеко, как только ты сможешь, и не бросишь жука — я подарю тебе серебряный доллар тотчас же, как ты слезешь.

— Иду, иду, масса Виль — вот я уже тут, — ответил весьма поспешно негр, — я почти что на самом конце теперь.

— На самом конце! — пронзительно прокричал Легран. — Ты хочешь сказать, что ты на самом конце этого сука?

— Скоро буду там, масса, — о-о-о-ох! Господи боже мой! Что *это* тут на дереве?

— Ну, — закричал Легран с великой радостью, — что такое?

— Да ничего — только тут череп — кто-то оставил свою голову здесь на дереве, и вороны склевали все мясо до кусочка.

— Череп, ты говоришь! Хорошо! Как он прикреплен на суку? — как он на нем держится?

— Хорошо держится, масса; нужно посмотреть. Очень это удивительно, честное слово — тут большой толстый гвоздь в черепе, он-то его и держит на дереве.

— Хорошо, Юпитер, сделай все так, как я скажу, — ты слышишь?

— Да, масса.

— Теперь будь внимателен! — найди левый глаз у черепа.

— Гм! Гм! вот хорошо! тут совсем нет левого глаза.

— Будь проклята твоя глупость. Можешь ты отличить свою правую руку от левой?

— Да, знаю — все это я знаю — моя левая рука та, которой я надрезал дерево.

— Наверное! ты левша; и левый твой глаз с той же стороны, как твоя левая рука. Теперь, я думаю, ты можешь найти левый глаз на черепе, или то место, где находился левый глаз. Нашел ты его?

Здесь последовала продолжительная пауза. Наконец, негр спросил:

— Левый глаз черепа с той же стороны, как и левая рука его? — потому что у черепа совсем нет руки, ни чуточки — да

это ничего! Я нашел теперь левый глаз — тут вот левый глаз! что мне с ним делать?

— Пропусти через него жука настолько, насколько достанет веревка. Но будь осторожен, не выпусти ее конца.

— Все это сделано, масса Виль; очень простая вещь пропустить жука через дырку — посмотреть на него снизу, как он там!

В продолжение этой беседы Юпитера совсем не было видно; но жук, которого он опускал, был теперь виден на конце бечевки, блестел как шарик полированного золота в последних лучах заходящего солнца, из коих некоторые еще слабо освещали возвышенность, на которой мы стояли. *Скарабей* свисал совершенно четко с некоторых ветвей, и если бы ему было предоставлено упасть, он упал бы к нашим ногам. Легран немедленно же взял косу и расчистил кругообразное пространство в три или четыре ярда в диаметре, как раз под насекомым, и, окончив это, приказал Юпитеру отпустить бечевку и спуститься с дерева.

Воткнув с большой точностью деревянный клин в землю в то самое место, куда упал жук, мой друг вынул из своего кармана землемерную ленту. Прикрепив один конец ее к тому краю ствола, который был ближе к деревянному клину, он развертывал ее, пока она не достигла клина, и продолжал дальше развертывать ее в направлении, уже определенном двумя точками — дерева и клина, на протяжении пятидесяти футов, — меж тем как Юпитер косою расчищал терновник. В точке, которую он нашел таким образом, был вбит второй клин, и кругом него, как центра, был начертан грубый круг, около четырех футов в диаметре. Взяв теперь сам лопату и дав одну лопату Юпитеру, а другую мне, Легран попросил нас приняться за копанье возможно скорее.

Сказать правду, у меня никогда не было особенного вкуса к подобному удовольствию, а в этом частном случае я бы весьма желал избежать его совсем, ибо ночь уже надвигалась, и я чувствовал большую усталость от всех усилий, которые уже были сделаны; но я не видел никакого способа избежать этого и боялся своим отказом расстроить душевное равновесие моего бедного друга. Если бы я мог, на самом деле, рассчитывать на помощь Юпитера, у меня

не было бы колебания, и я попытался бы увести сумасшедшего домой силой; но я слишком хорошо знал характер старого негра, чтобы надеяться на его помощь при каких бы то ни было обстоятельствах в случае личного столкновения с его господином. У меня не было сомнения, что этот последний был заражен одним из неисчислимых суеверий Юга касательно зарытых кладов, и что его выдумка была подкреплена этой находкой *скарабея*, или, быть может, даже упрямым утверждением Юпитера, что это «жук из настоящего золота».

Ум, склонный к безумию, вполне мог поддаться подобным влияниям — особенно, если они согласовались с его излюбленными предвзятыми мыслями, — и потом я вспомнил речь бедняги относительно того, что этот жук есть «указатель его фортуны». В целом, я был сильно огорчен и обеспокоен, но под конец решил примириться с необходимостью — копать с доброй волей и таким образом поскорее убедить мечтателя с полной наглядностью в обманности его мечтаний.

Фонари были зажжены, и мы принялись за работу с усердием, достойным более разумной цели; и когда свет упал на наши фигуры и орудия, я не мог не подумать о том, какую живописную группу мы представляли, и какой странной и подозрительной показалась бы наша работа кому-нибудь, кто случайно наткнулся бы на нас.

Мы рыли очень стойко около двух часов. Мало было говорено, и главным нашим затруднением был лай собаки, которая относилась с непомерным интересом к тому, что мы делали. Под конец лай этот сделался настолько громким, что мы стали бояться, что он может привлечь сюда каких-нибудь бродяг, находящихся поблизости; или скорее это было большим опасением Леграна; что касается меня, я был бы обрадован всяким вмешательством, которое дало бы мне возможность увести беспокойного странника домой. Наконец, лай был успешно заглушен Юпитером, который, выскочив из ямы, с самым решительным видом связал морду собаки одной из своих подтяжек и затем вернулся, торжествуя поспеиваясь, к своей работе.

Когда истекло положенное время, мы достигли глубины пяти футов, но и теперь не было никакого признака клада.

Последовала большая пауза, и я начал надеяться, что фарс кончен, меж тем Легран, хотя, по-видимому, очень обескураженный, отер лоб, задумчиво взял свою лопату и начал снова. Мы взрыли весь круг в четыре фута в диаметре, и теперь слегка расширили границу и пошли еще далее на два фута в глубину.

Тем не менее ничего не появлялось. Искатель золота, которого я искренно жалел, выкарабкался, наконец, из ямы и с горькой безнадежностью, запечатленной в каждой черте его лица, стал медленно и неохотно надевать свою куртку, которую он снял перед началом работы. Я между тем не делал никакого замечания. Юпитер, по знаку своего господина, начал собирать орудия. Окончив это и развязав собаку, мы направились к дому в глубоком молчании.

Мы сделали, может быть, около двенадцати шагов в этом направлении, как вдруг Легран с громкими проклятиями бросился на Юпитера и схватил его за шиворот. Негр, пораженный, открыл глаза и рот во всю их ширину, уронил лопаты, и упал на колени.

— Ты негодяй, — сказал Легран, шипя и выталкивая каждый слог сквозь стиснутые зубы, — ты адский черный мерзавец! Говори, приказываю я тебе! Отвечай мне тотчас же без уловок! Который — который твой левый глаз?

— Ах, Боже мой, масса Виль! разве не этот, наверно, мой левый глаз? — возопил испуганный Юпитер, прижимая руку к своему *правому* зрительному органу и придерживая его с отчаянным упрямством, как будто в неминуемой опасности, что господин его попытается выбить ему глаз.

— Я так и думал! — я знал это! ура! — выкрикнул Легран, выпустив негра и проделывая разные прыжки и курбеты к великому изумлению своего слуги, который, встав с колен, молча переводил взгляд со своего господина на меня и потом с меня на своего господина.

— Пойдем! мы должны вернуться, — сказал последний, — игра еще не проиграна, — и он опять направился по дороге к тюльпановому дереву.

— Юпитер, — сказал он, когда мы достигли подножия его, — пойдй сюда! Череп был пригвожден на суку лицом вверх или же лицом к ветви?

— Лицо было кверху, масса, так что вороны могли выклевать глаза без всякой помехи.

— Хорошо, а через этот или через тот глаз ты пропустил жука? — Здесь Легран потрогал один, потом другой глаз Юпитера.

— Это был вот этот глаз, масса, — левый глаз — как вы мне сказали, — и тут негр указал на свой правый глаз.

— Хорошо, — мы должны, значит, начать снова.

Здесь мой друг, в безумии которого я увидел, или думал, что вижу, некоторые указания на метод, переставил деревянный клин, отмечавший точку, куда упал жук, в другое место на три дюйма к западу от первого его положения. Разложив теперь землемерную ленту от ближайшей точки ствола к клину, как и раньше, и продолжая расстилать ее по прямой линии на протяжении пятидесяти футов, он нашел некоторую точку на расстоянии нескольких ярдов от того места, где мы копали.

Вокруг новой точки был теперь очерчен круг немного шире, чем раньше, и мы вновь принялись работать лопатами. Я был ужасно истомлен, но, едва отдавая себе отчет, что произвело перемену в моих мыслях, я не чувствовал больше такого отвращения к навязанной мне работе. Я был необъяснимо заинтересован — более того, даже возбужден. Может быть, было что-то во всем экстравагантном поведении Леграна — род какого-то провидения или обдуманности, что производило на меня впечатление. Я копал с жаром и время от времени действительно ловил себя на том, что смотрел с чем-то похожим на ожидание воображаемого клада, призрак которого свел с ума несчастного моего товарища. В то время как фантастические мысли вполне охватили меня, и когда мы работали, быть может, уже около полутора часов, мы вновь были прерваны громким воем собаки. Ее беспокойство в первом случае, очевидно, бывшее проявлением шаловливости или каприза, приобрело более резкий и серьезный характер. На вторичную попытку Юпитера завязать ей морду она выказала яростное сопротивление и, прыгнув в яму, стала бешено копать землю своими когтями. Через несколько секунд она раскопала массу человеческих костей, которые образовали два полных скелета, перемешанных с несколькими металлическими пуговицами и с чем-то, что казалось

сгнившей, обратившейся в пыль шерстяной материей. Один или два взмаха лопаты подняли на поверхность лезвие большого испанского ножа, и, когда мы стали копать дальше, показались три или четыре разбросанные золотые и серебряные монеты.

При виде этого Юпитер с трудом мог сдержать свою радость, но лицо его господина выражало величайшее разочарование. Все же он попросил нас продолжать наши старания, и, едва он произнес эти слова, как я споткнулся и упал вперед, попав носком сапога в большое железное кольцо, которое было наполовину в разрытой земле.

Мы снова ревностно принялись за работу, и никогда не проводил я десяти минут в таком напряженном возбуждении. В продолжение этого промежутка времени мы целиком откопали продолговатый деревянный сундук, который, судя по его полной сохранности и удивительной твердости, был, вероятно, подвергнут какому-нибудь минерализирующему процессу, быть может, была использована двухлористая ртуть. Сундук этот был трех с половиной футов длины, трех ширины и двух с половиной глубины. Он был плотно скреплен полосами из кованого железа, заклепанными и являвшими кругом своего рода решетками. С каждой стороны сундука ближе в крышке было по три железных кольца — всего навсего шесть, — ухватившись за которые сундук могли бы крепко держать шесть человек. Наши крайние соединенные усилия лишь дали нам возможность сдвинуть его в его ложе. Мы тотчас увидели невозможность поднять такой большой груз. По счастью, единственно, чем придерживалась крышка, были два выдвижные засова. Мы вытащили их, дрожа и задыхаясь от напряженного беспокойства. В одно мгновение клад неисчислимой ценности, сверкая, лежал перед нами. Когда свет фонаря упал в яму, из нее от беспорядочной кучи золота и драгоценностей брызнул яркий блеск, который совершенно ослепил наши глаза.

Я не буду пытаться описывать чувства, с которыми я смотрел. Величайшее удивление было, конечно, господствующим. Легран казался истощенным от возбуждения и проговорил только несколько слов. Лицо Юпитера в течение нескольких минут было смертельно бледным, насколько только это возможно по природе вещей, то есть насколько лицо

негра может побледнеть. Он казался ошеломленным — он был как пораженный громом. Наконец, он упал на колени в яме, и, засунув голые руки по локоть в золото, оставался так, как бы наслаждаясь роскошеством ванны. Наконец с глубоким вздохом он воскликнул, как бы обращаясь к самому себе:

— И все это пришло от золотого жука! От красивого золотого жука! От бедного маленького жука, а я-то его бранил самым поносным образом! И тебе не стыдно за себя, негр? — отвечай-ка мне!

Наконец, сделалось необходимым, чтобы я пробудил и хозяина и слугу и указал им, что нужно унести клад. Становилось уже поздно, и нам надлежало приложить усилия, дабы мы могли отнести все домой до рассвета. Было трудно сказать, что нужно было сделать, и много времени было потеряно на обсуждения — так спутаны были мысли у всех. Наконец, мы разгрузили сундук, вынув две трети содержимого, и тогда нам удалось, хотя с некоторым трудом, вытащить его из ямы. Вынутые вещи мы положили в кусты, и сторожить их была оставлена собака, которой Юпитер приказал ни под каким предлогом не трогаться с места и не открывать рта, пока мы не вернемся. Затем мы с сундуком поспешно направились к дому; благополучно, но страшно усталые, мы достигли хижины в час ночи. Мы были так утомлены, что было бы не в человеческих силах сейчас же продолжать работу. Мы пробыли дома до двух и поужинали, после чего вновь отправились к холмам, взяв с собой три крепких мешка, которые, по счастью, нашлись под рукой. Немного раньше четырех мы прибыли к яме, разделили между собой по возможности поровну остальную добычу, и, оставив яму незасыпанной, снова отправились к дому, где вторично сложили нашу золотую ношу, как раз тогда, когда первые слабые лучи зари засветились на востоке над вершинами деревьев.

Мы были теперь совершенно разбиты; но напряженное возбуждение, овладевшее нами, не давало нам отдохнуть. После беспокойного сна в продолжение трех или четырех часов мы поднялись, как будто бы сговорившись, чтобы осмотреть сокровища.

Сундук был полон до краев, и весь день, и большую часть следующей ночи мы внимательно изучали его содержимое. Там не было ничего похожего на порядок или распределение. Все было навалено как попало. Тщательно разобрав все, мы увидели себя обладателями богатства большего даже, чем мы предполагали сначала. Монет было гораздо более, чем на четыреста пятьдесят тысяч долларов — оценивая их насколько возможно точно по курсу того времени. Серебра во всем этом не было вовсе. Все было золото старого времени и очень разнообразное — французские, испанские и немецкие монеты с несколькими английскими гинеями, и несколькими монетами, каких раньше нам никогда ни приходилось видеть. Там было несколько больших тяжелых монет, таких стертых, что мы совсем не могли разобрать на них надписей. Американских денег там не было. Оценить стоимость драгоценностей нам было гораздо труднее. Тут были бриллианты — некоторые из них необыкновенно большие и красивые — сто десять в общем, и ни одного маленького; восемнадцать рубинов замечательного блеска; триста десять изумрудов, все очень красивые; двадцать один сапфир с одним опалом. Эти камни были все выломаны из своей оправы, и брошены в беспорядке в сундук. Сами же оправы, которые мы отделили от другого золота, казалось, были избиты молотками, как будто для того, чтобы не быть узанными. Кроме всего этого там было большое количество украшений из цельного золота: около двухсот массивных колец и серег; великолепные цепочки — числом тридцать, насколько я припомню; восемьдесят три очень тяжелые и большие распятия; пять золотых кадилниц большой цены; огромная золотая чаша для пунша, разукрашенная богато вычеканенными виноградными листьями и вакхическими фигурами; две рукоятки мечей превосходной рельефной работы и много других более мелких вещей, которых я припомнить не могу. Вес всех этих ценностей превышал триста пятьдесят английских фунтов; и в эту смету я не включил еще сто девяносто семь чудесных золотых часов, из коих три стоили каждые по пятисот долларов. Некоторые из них были очень стары и негодны, как счетчики времени, ибо их ход пострадал более или менее от ржавчины — но все они были богато украшены камнями и

находились в оправе большой ценности. В эту ночь мы оценили все содержимое сундука в полтора миллиона долларов; а после вторичного пересмотра драгоценностей и украшений (некоторые мы оставили для себя лично) мы нашли, что еще очень низко оценили клад.

Когда, наконец, мы окончили наш осмотр, и напряженное возбуждение несколько улеглось, Легран, видя, что я горю нетерпением разрешить эту необыкновеннейшую загадку, подробным образом рассказал мне все обстоятельства, связанные с ней.

— Вы помните, — сказал он, — ту ночь, когда я показал вам грубый набросок *скарабея*, который я сделал. Вы помните также, что я был очень обижен на вас за то, что вы утверждали, будто мой рисунок походит на мертвую голову. Когда вы в первый раз сделали это замечание, я подумал, что вы шутите; но потом я вспомнил странные пятнышки на спине жука и допустил, что ваше замечание действительно имело некоторое основание. Все же насмешка над моими рисовальными способностями раздражала меня — так как я считаю порядочным художником — и потому, когда вы протянули мне кусок пергамента, я был готов скомкать его и с гневом бросить в огонь.

— Кусок бумаги, хотите вы сказать, — сказал я.

— Нет; тут большое было сходство с бумагой, и сначала я так и думал, но, когда я начал рисовать на этом куске, я увидел сейчас же, что это кусок очень тонкого пергамента. Как вы помните, он был совершенно грязен. Хорошо. Когда я готов был уже скомкать его, мой взгляд упал на рисунок, который вы рассматривали, и вы можете себе представить мое удивление, когда я действительно увидел изображение мертвой головы как раз на том самом месте, где, как мне показалось, я нарисовал жука. Первое мгновение я был слишком изумлен, чтобы думать правильно. Я знал, что мой рисунок в мелочах очень отличался от этого — однако тут было некоторое сходство в общих очертаниях. Тогда я взял свечу, и, усевшись в другом конце комнаты, стал рассматривать пергамент более тщательно. Перевернув его, я увидел мой собственный рисунок на обратной стороне точно таким, как я его сделал. Первым моим чувством было теперь простое удивление на это действительно замечательное сходство общих очерта-

ний — на странное совпадение, заключавшееся в том неизвестном для меня факте, что тут был череп на обратной стороне пергамента, как раз под моим изображением *скарабея*, и что череп этот, не только очертанием, но и размером, мог так точно походить на мой рисунок. Я говорю, что странность этого совпадения на мгновение совершенно ошеломила меня. Это обычное действие таких совпадений. Ум старается установить соотношение — последовательность причины и следствия — и, будучи бессилён сделать это, подвергается известного рода временному параличу. Но когда я опомнился от этого оцепенения, во мне постепенно зародилось убеждение, которое поразило меня даже гораздо более, чем самое совпадение. Я точно и ясно начал припоминать, что рисунка *не было* на пергаменте, когда я делал мой набросок *скарабея*. Я совершенно уверился в этом, ибо припомнил, что сначала я повернул его на одну, потом на другую сторону, ища более чистого места. Если бы череп был там, конечно, я не преминул бы заметить это. Тут действительно была какая-то тайна, и я чувствовал, что ее невозможно изъяснить; но даже в этот самый миг мне показалось, что в самых отдаленных и тайных уголках моего ума слабо засветилось подобное мерцанию светлячка представление об истине, которое приключением прошедшей ночи было приведено к такому блестящему разрешению. Я немедленно встал, и, осторожно убрав пергамент, отложил все дальнейшие размышления, до тех пор пока не буду один.

Когда вы ушли, и Юпитер крепко заснул, я предался более методичному исследованию этого дела. Прежде всего я стал соображать, каким образом пергамент попал в мои руки. То место, где мы нашли *скарабея*, было на берегу материка, около мили на восток от острова и лишь на небольшом расстоянии над уровнем прилива. Когда я поймал его, он жестоко меня укусил, что заставило меня выпустить его. Юпитер с обычной ему осторожностью, прежде чем схватить насекомое, которое полетело по направлению к нему, посмотрел вокруг себя, ища листа, или чего-либо в этом роде, чем бы взять его. В это самое время взгляд его, так же как и мой, упал на кусок пергамента, который я принял за бумагу. Он лежал наполовину зарытый в песок, один уголок торчал наружу. Около того места, где мы нашли его, я заметил облом-

ки судна, которые, по-видимости, были длинной корабельной лодкой. Как казалось, обломки лежали тут с очень давнего времени, ибо в них с трудом можно было усмотреть сходство с лодочными ребрами.

Хорошо. Юпитер поднял пергамент, завернул в него жука и отдал его мне. Вскоре мы направились обратно к дому, и по дороге встретили лейтенанта Г. Я показал ему насекомое, и он попросил у меня позволения взять его к себе в крепость. Я согласился; он сунул его в свой жилетный карман, без пергамента, в котором тот был завернут и который я продолжал держать в руке моей, пока он рассматривал жука. Может быть, он опасался, что я передумаю, и счел, прежде всего, за наилучшее увериться в добыче — вы знаете, как восторженно он относится ко всему, что касается естественной истории. В то же самое время, совсем бессознательно, я, должно быть, положил пергамент в мой собственный карман.

Вы помните, что, когда я подошел к столу, намереваясь сделать рисунок жука, я не нашел бумаги там, где она обыкновенно лежала. Я заглянул в ящик и там не нашел ничего. Я пошарил у себя в карманах, в надежде найти какое-нибудь старое письмо, когда рука моя наткнулась на пергамент. Я так точно и так подробно описываю способ, которым он попал в мое обладание; ибо все эти обстоятельства произвели на меня особенно сильное впечатление.

Без сомнения, вы сочтете меня за мечтателя — но я уже установил род *соотношения*. Я соединил два звена большой цепи. Лодка, лежащая на берегу, и недалеко от нее пергамент — *не бумага* — с черепом, нарисованным на нем. Вы, конечно, спросите: «Где тут соотношение?» Я отвечу, что череп, или мертвая голова, это — хорошо известная эмблема пиратов. Флаг с мертвой головой поднят во всех морских схватках.

Я сказал вам, что лоскуток был пергамент, а не бумага. Пергамент вещь прочная — почти не гибнущая. Дела мало-важные редко препоручают на хранение пергаменту: ибо для простого обыкновенного рисунка или писания он далеко не так удобен, как бумага. Эта мысль внушила мне некоторые предположения — доводы для составления заключений о мертвой голове. Я также не преминул заметить *форму* перга-

мента. Несмотря на то, что один из его углов был уничтожен какой-либо случайностью, можно было видеть, что первоначальная его форма была продолговатая. Это был один из таких свитков, который мог быть выбран для меморандума — для записи чего-нибудь такого, что не должно было быть забыто и что надлежало тщательно сохранить.

— Но, — прервал я, — вы говорите, что черепа *не* было на пергаменте, когда вы делали набросок жука. Как же вы устанавливаете какое-либо соотношение между лодкой и черепом — если этот последний, по вашему собственному уверению, был нарисован (бог весть как и кем), после того как вы сделали ваш набросок *скарабея*?

— А! Вокруг этого-то и вертится вся тайна; хотя в данном пункте мне сравнительно нетрудно было получить разъяснение. Путь мой был верен, и мог привести лишь к одному отдельному результату. Я рассуждал, например, так: когда я рисовал *скарабея*, черепа не было видно на пергаменте. Когда я кончил рисунок, и передал его вам я внимательно наблюдал за вами, пока вы переворачивали его. *Вы* поэтому не нарисовали черепа, а другого никого не было, чтобы сделать это. Значит, это не было сделано с человеческой помощью, и тем не менее это было сделано.

Но, дойдя до этого пункта моих размышлений, я постарался припомнить и *вспомнил* с полной ясностью все малейшие обстоятельства, которые имели место в упомянутое время. Погода была холодная (о, редкое и счастливое событие!), и огонь горел в очаге. Я был разгорячен прогулкой, и сел около стола. Вы же придвинули стул совсем вплоть к камину. Как раз когда я вложил пергамент в вашу руку и когда вы собрались рассматривать его, вбежал Вольф, — ньюфаундленд, — и прыгнул вам на плечи. Лево́й рукой вы ласкали его, и отстраняли, между тем как вашу правую руку, держащую пергамент, вы уронили небрежно между ваших колен, и в непосредственной близости от огня. Одно мгновение я думал, что пламя охватило его, и хотел уже предостеречь вас, но, прежде чем я успел заговорить, вы отодвинули его и начали рассматривать. Когда я обсудил все эти подробности, я ни минуты не колебался, что *тепло* вызвало на свет божий тот череп на пергаменте, который я видел нарисованным на нем. Вы хорошо осведомлены, что существуют химические

препараты и существовали в незапамятные времена, которыми возможно писать на бумаге или пергаменте так, что буквы делаются видимыми только тогда, когда их подвергнут действию огня. Иногда употребляются цафра<sup>5</sup>, растворенная в *aqua regia*\* и разбавленная в четырехкратном количестве воды сравнительно со своим весом; в результате получается зеленый цвет. Королек кобальта, растворенный в нашатырном спирте, дает красный цвет. Эти цвета пропадают более или менее скоро, после того как материал, на котором пишут, остынет, но опять делаются видимыми при нагревании.

Я снова стал рассматривать мертвую голову с большим тщанием. Внешние ее очертания — очертания рисунка наиболее близкие к краям пергаменты — были гораздо более *явственны*, чем другие. Было очевидно, что действие тепла было несовершенно или неровно. Я тотчас зажег огонь и подверг каждую часть пергаменты действию сильного жара. Сначала единственным результатом было усиление бледных линий черепа. При продолжении опыта на углу узкой полосы, противоположной, по диагонали от того места, где была начерчена мертвая голова, появилось изображение чего-то, что я сначала принял за козу. При более тщательном исследовании я убедился, однако, что тут было намерение изобразить козленка.

— Ха-ха! — сказал я, — конечно, я не имею права смеяться над вами — полтора миллиона монет слишком серьезная вещь, чтобы шутить — но вы не сможете установить третье звено в вашей цепи — вы не найдете никакого особенного соотношения между вашими пиратами и козами. Пираты, как вы знаете, не имеют ничего общего с козами; это больше касается фермеров.

— Но я вам сказал, что это была фигура *не* козы.

— Ну, хорошо, козленок — но это почти что то же самое.

— Почти что, но не совсем, — сказал Лэгран. — Вы, быть может, слышали о некоем *капитане* Кидде<sup>7</sup>. Я тотчас же стал смотреть на изображение животного, как на род игры слов или иероглифической подписи\*\*. Я говорю — подпись, пото-

---

\* *Aqua regia* — «царская водка»<sup>6</sup> (лат.). — *Примеч. ред.*

\*\* *Kid* — козленок (англ.). — *Примеч. пер.*

му что положение животного на пергаменте внушало эту мысль. Мертвая голова в углу, противоположном по диагонали, имела также вид клейма или печати. Но я был огорчен отсутствием всего остального — самого тела моего воображаемого инструмента — текста для моего контекста.

— Я полагаю, вы надеялись найти письмо между штемпелем и подписью?

— Что-то в этом роде. Дело в том, что я почувствовал себя под неудержимым впечатлением предчувствия какой-то огромной удачи, которая вот уже тут. Мне трудно сказать, почему. Быть может, в конце концов, это было скорее желанием, нежели действительной верой; но, знаете ли, глупые слова Юпитера, о том, что жук — из чистого золота, имели удивительное действие на мое воображение. И потом этот ряд совпадений — они были *такие* необыкновенные. Заметили ли вы, что все это случилось в тот самый *единственный* из всего года день, в который было, или могло быть, настолько холодно, что нужно было затопить, и что без огня, или без содействия собаки, в тот самый миг, в который она появилась, я никогда не узнал бы о мертвой голове, и никогда не сделался бы обладателем клада.

— Но продолжайте — я весь горю нетерпением.

— Хорошо. Вы слышали, конечно, множество разных рассказов — тысячу смутных слухов относительно кладов, зарытых где-то на берегу Атлантики Киддом и его сообщниками. Эти слухи должны были иметь какое-либо основание в самой действительности. И то, что эти слухи существовали так долго и были такими постоянными, могло проистекать, как мне казалось, лишь из того обстоятельства, что клад *оставался* схороненным. Если бы Кидд на время только спрятал свою добычу, и потом взял ее обратно, эти слухи вряд ли дошли бы до нас в настоящей их неизменной форме. Заметьте, что все рассказы говорят об искателях золота, а не о нашедших золото. Если бы пират взял обратно свои деньги, этим все дело было бы исчерпано. Мне кажется, что какой-нибудь случай — скажем, потеря записи, указывающей местонахождение клада — лишил его возможности отыскать клад, и что это происшествие сделалось известным его товарищам, которые иначе не могли бы ничего знать о спрятанном кладе и

которые старались совершенно напрасно его найти, ибо не имели руководства, и это все распространило данные слухи, которые стали теперь такими известными. Слыхали ли вы когда-нибудь о каком-либо значительном кладе, открытом на берегу?

— Никогда.

— Но Киддом было скоплено чрезвычайно много, это хорошо известно. Я был потому уверен, что земля доныне хранит эти сокровища; и вряд ли вы будете удивлены, если я скажу вам, что я испытывал надежду, которая граничила с уверенностью, что пергамент, столь странно найденный, заключал в себе утраченную запись местонахождения клада.

— Но как же вы поступили дальше?

— Я снова поднес пергамент к огню после того, как увеличил жар; но ничего не появлялось. Возможно, подумал я, что слой грязи на нем был причиной неудачи; итак, я осторожно сполоснул пергамент теплой водой, и, сделав это, положил его в жестяную кастрюлю, черепом вниз, и поставил ее в печь с раскаленными угольями. Через несколько минут, когда кастрюля была основательно нагрета, я вынул свиток, и, к моей несказанной радости, нашел, что он был накраплен в различных местах тем, что, как казалось, было цифрами, расположенными по строкам. Опять я положил его в кастрюлю, и оставил его так еще на некоторое время. Когда я вынул его, весь он был такой, каким вы видите его теперь.

Здесь Легран, вновь нагрев пергамент, представил мне его для осмотра. Следующие знаки были грубо начерчены красными чернилами между мертвой головой и козленком:

53##+305))6\*;4826)4#.)4#);806\*;48+8||60))85;;]8\*::\*#8+8  
3(88)5\*+;46(;88\*96\*?;8)\*#(;485);5\*+2:\*#(;4956\*2(5\*=4)8||8\*;  
4069285);)6+8)4##;1#9;48081;8:8#1;48+85;4)485+528806\*81  
(#9;48;(88;4(#?34 ;48)4#;161;;188;#?;

— Но, — сказал я, возвращая ему свиток, — я в таких же потемках, как и раньше. Если бы все сокровища Голконды\* ожидали меня за разрешение этой загадки, я вполне уверен, что не был бы способен получить их.

---

\* Город в Индии, богатый бриллиантами. — *Примеч. пер.*

— И однако же, — сказал Легран, — разгадка отнюдь не так трудна, как это может вам представиться при первом беглом взгляде на письма. Эти знаки, как каждый легко может догадаться, составляют шифр, т. е. в них скрыто известное значение: но по тому, что известно о Кидде, я не могу считать его способным построить более или менее сложную тайнопись. Я с самого начала подумал, что эта запись — из простейших образцов — все же такая, что она должна была казаться грубому уму матроса совершенно неразрешимой без ключа.

— И вы действительно разрешили ее?

— Легко; я разрешал другие, в тысячу раз более отвлеченные. Обстоятельства и известные склонности ума заставили меня интересоваться такими загадками, и весьма можно сомневаться, способна ли человеческая изобретательность построить такого рода загадку, которую человеческая находчивость, при правильном применении, не могла бы разрешить. Действительно, установив сначала связь и удобочитаемость знаков, я едва ли даже и думал о трудности разоблачения их смысла.

В данном случае — так же, впрочем, как во всех других случаях тайнописи — первый вопрос касается *языка* шифра; ибо принципы разрешения, раз дело идет лишь о простых шифрах, зависят здесь особенно от своеобразного характера каждого языка, и им они видоизменяются. Вообще, здесь нет иного выбора, как опыт (направляемый вероятностями), данный каждым языком, ведомым тому, кто пытается найти разрешение, пока не будет найден надлежащий язык. Но в шифре, нас интересующем, всякая трудность была устранена подписью. Игра слов на слове «Кидд» не могла быть ни в каком другом языке, кроме английского. Без этого соображения я начал бы свою пробу с испанского и французского, как с языков, на которых скорее всего могла быть записана тайна такого рода пиратом испанского происхождения. В данном случае, я предположил, что тайнопись была английской.

Как вы можете заметить, здесь нет разделений между словами. Если бы они были разделены, задача сравнительно была бы легкой. В этом случае я бы начал с сопоставления и анализа самых коротких слов, и если бы попало

слово из одной буквы, как это часто бывает («я» или «и», например), я считал бы загадку разрешенной. Но так как там не было разделений, моим первым шагом было определить господствующие буквы, так же как и те, которые встречаются наиболее редко. Сосчитав все, я построил следующую таблицу:

Знак	8	встречается	34 раза
»	;	»	27 раз
»	4	»	19 »
»	)	»	16 »
»	#	»	15 »
»	*	»	14 »
»	5	»	12 »
»	6	»	11 »
»	+	»	8 »
»	1	»	7 »
»	0	»	6 »
»	9 и 2	»	5 »
»	: и 3	»	4 раза
»	?	»	3 »
»		»	2 »
»	= и ]	»	1 раз.

В английском языке буква, которая встречается чаще всего — *e*. Потом они идут в такой последовательности: *a, o, i, d, h, n, r, s, t, u, y, c, f, g, l, m, w, b, k, p, q, x, z*. *E* так особенно главенствует, что редко можно встретить отдельную, сколько-нибудь длинную, фразу, в которой оно не было бы господствующей буквой.

Хорошо. Теперь мы имеем в самом начале основание для чего-то большего, чем простая догадка. Общее пользование таблицей может быть применено вполне ясно — но в этом особенном шифре мы только отчасти будем прибегать к ее помощи. Так как наш господствующий знак 8, мы начнем с того, что возьмем его — как *e* обыкновенной азбуки. Чтобы проверить это предположение, посмотрим, часто ли 8 встречается вдвойне, так как *e* дублируется очень часто в английском — например, в таких словах, как *meet, fleet, speed, seen, been, agree* и т. д. В данном случае мы видим это повторение

не менее пяти раз, несмотря на то, что криптограмма очень короткая.

Возьмем же 8, — как *e*. Изю всех слов в речи «the» самое употребительное; посмотрим, следовательно, не найдем ли мы повторения каких-нибудь трех знаков в тождественном порядке сочетания, чтобы последний из них был 8. Если мы найдем повторения таких букв, так расположенных, они, по всей вероятности, составят слово «the». По рассмотрении, мы находим не менее, чем семь таких сочетаний, знаки эти ;48. Мы можем поэтому предположить что ; означает *t*, 4 означает *h*, и 8 означает *e* — последнее вполне подтверждено. Это большой шаг вперед.

Но, установив одно отдельное слово, мы можем установить еще более важный пункт, т. е. различные начала и окончания других слов. Возьмем, например, последний случай — тот, в котором сочетание ;48 встречается недалеко от конца шифра. Мы знаем, что ; непосредственно следующее есть начало какого-нибудь слова, и из шести знаков, следующих за этим «the», мы знаем не менее пяти. Заменим эти знаки изображающими их буквами, которые мы уже знаем, оставив место для неизвестных

*t-eeth*

Тут мы должны будем сразу отделить «*th*», которое не может составлять части слова, начинающегося первым *t*, ибо пробуя по порядку буквы всей азбуки в применении к пробелу, мы видим, что никакое слово не может быть образовано, у которого это *th* было бы частицей. Таким образом, мы сосредоточиваемся на

*t-ee*

и, вновь как раньше перебирая, если это нужно, азбуку, мы доходим до слова «tree» (дерево), как единственного подходящего. Таким образом, мы получаем другую букву — *r*, изображаемую знаком (, в ближайшем соприкосновении со словами

*the tree*

Встречая немного дальше эти же слова, мы вновь видим сочетание знаков ;48 и берем его как *окончание* того, что непосредственно предшествует ему. Таким образом, мы имеем следующее расположение:

the tree ; 4 (## ? 34 the

или, заменив обыкновенными буквами знаки, которые нам уже известны, читаем это так:

the tree thr ## ? 3h the

Теперь, если мы на месте неизвестных нам букв оставим пробелы, или заменим их точками, мы читаем следующее:

the tree thr... h the

и слово *through*\* делается очевидным тотчас же. Но это открытие дает нам три новые буквы *o*, *u* и *g*, изображенные ##? и 3.

Внимательно отыскивая теперь в шифре сочетание известных нам знаков, мы находим недалеко от начала следующее сочетание:

83 ( 88 или egree,

которое, конечно, есть окончание слова *degree* (степень; градус) и которое дает нам другую букву *d*, изображаемую через +.

Четырьмя буквами далее за словом *degree* мы видим сочетание:

; 48 (; 88\*

Переводя известные знаки, а неизвестные изображая точками, как раньше, мы читаем следующее:

th. rtee

сочетание, которое тотчас внушает слово *thirteen* (тринадцать), и опять дает нам две новые буквы *i* и *n*, обозначаемые как 6 и \*.

Обратившись теперь к началу тайнописи, мы находим сочетание:

53 ## +

Переводя как раньше знаки, мы получаем:

good

которые удостоверяют нас, что первая буква есть *a* и что первые два слова суть

A good (хороший).

---

\* Через (англ.). — Примеч. ред.

Теперь пора нам расположить наш ключ, поскольку он открыт, в порядке таблицы, чтобы избежать путаницы. Это будет так:

5	означает	<i>a</i>
+	»	<i>d</i>
8	»	<i>e</i>
3	»	<i>g</i>
4	»	<i>h</i>
6	»	<i>i</i>
*	»	<i>n</i>
#	»	<i>o</i>
(	»	<i>r</i>
;	»	<i>t</i>

Таким образом, мы имеем не менее десяти наиболее употребительных букв, и бесполезно было бы продолжать дальнейшее изображение подробностей разгадки. Я достаточно сказал, чтобы убедить вас, что шифр такого рода может быть легко разрешен, и чтобы дать вам некоторое понимание *способа* его развития. Но будьте уверены, что образчик, находящийся перед нами, принадлежит к простейшим образцам тайнописи. Теперь остается только дать вам полный перевод знаков на пергаменте в том виде, как они разгаданы. Вот они:

*«A good glass in the bishop's hostel in the devil's seat forty-one degrees and thirteen minutes northeast and by north main branch seventh limb east side shoot from the left eye of the death's head a bee line from the tree through the shot fifty feet out».*

«Хорошее стекло в доме епископа на чертовом стуле сорок один градус и тринадцать минут к северо-востоку и на север главная ветвь седьмой сук восточная сторона бросить сквозь левый глаз мертвой головы по пчелиной линии с дерева навывлет пятьдесят футов».

— Но, — сказал я, — загадка, по-видимому, в таком же плохом положении, как и до сих пор. Как возможно исторгнуть какой-нибудь смысл из всего этого жаргона о «чертовых стульях», «мертвых головах», и «домах епископа»?

— Согласен, — ответил Легран, — что дело это все еще кажется серьезным, если на него смотрят беглым взглядом. Моей первой заботой было угадать естественное разделение фразы, которое разумел тайнописец.

— Вы говорите, поставить знаки препинания?

— Что-нибудь в этом роде.

— Но как было возможно сделать это?

— Я подумал, что это был намеренный умысел пишущего — поставить слова эти вместе без разделений, дабы таким образом увеличить трудность разгадки. Но не слишком острый человек в преследовании такой цели почти наверное перейдет меру. Когда в ходе его работы он подходит к перерыву в содержании, который, конечно, будет требовать паузы или точки, он будет иметь чрезмерную склонность в этом самом месте ставить буквы ближе друг к другу, чем обычно. Если вы станете рассматривать манускрипт, то здесь вы легко найдете пять случаев такого рода необыкновенно тесного писания. Опираясь на такое указание, я сделал разделение следующим образом:

*«A good glass in the Bishop's hostel in the Devil's seat — forty one degrees and thirteen minutes — northeast and by north — main branch seventh limb east side — shoot from the left eye of the death's head — a bee line from the tree through the shot fifty feet out».*

«Хорошее стекло в доме епископа на чертовом стуле — сорок один градус и тринадцать минут — к северо-востоку и на север — главная ветвь седьмой сук восточная сторона — бросить сквозь левый глаз мертвой головы — по пчелиной линии с дерева на вылет пятьдесят футов».

— Все же и при таком разделении, — сказал я, — я остаюсь в потемках.

— Я также был несколько дней в потемках, — сказал Лэгран. — В продолжение этого времени я усердно расспрашивал в окрестностях острова Сэлливана о каком-либо здании под названием Bishop's Hotel (дом епископа), ибо я, конечно, не заботился о вышедшем из употребления слове «hostel» (hotel — дом)\*. Не получив никакого сведения по этому поводу, я почти уже готов был расширить сферу поисков и делать их более систематично, как однажды утром, совсем внезапно меня осенила мысль, что этот «Bishop's Hotel» мог иметь какое-нибудь отношение к какой-либо старинной

---

\* В применении к обителищу человека зажиточного. — *Примеч. пер.*

фамилии Бессопы (Bessor), которая с незапамятных времен владела старым замком около четырех миль к северу от острова. Я отправился поэтому на ту сторону к плантациям и возобновил мои расспросы среди старых негров той местности. Наконец, одна из самых старых женщин сказала, что она слыхала о таком месте, которое называлось *Замок Биссопа*, и что может проводить меня туда, но что это не был замок или гостиница, а высокая скала.

Я предложил хорошо заплатить ей за ее хлопоты, и после некоторого колебания она согласилась сопровождать меня к этому месту. Мы нашли его без большого труда, и, отпустив ее, я начал исследовать это место. «Замок» состоял из беспорядочного собрания скал и утесов, один из которых особенно выделялся своей вышиной, так же как и отъединенным искусственным видом. Я взобрался на его вершину и тут почувствовал некоторое недоумение, что теперь предпринять.

Меж тем как я был погружен в размышления, мой взгляд упал на узкий выступ на восточной стороне утеса, может быть одним ярдом ниже вершины, на которой я стоял. Этот выступ выдавался на восемнадцать дюймов, и был не более одного фута ширины. Углубление в утесе, как раз над ним, придавало ему грубое сходство с одним из тех стульев с вогнутой спинкой, которые были у наших предков. Я не усомнился в том, что это и был «чертов стул», на который намекал манускрипт, и теперь мне казалось что я овладел всей тайной загадки.

«Хорошее стекло», я знал, не могло относиться ни к чему иному, как только к телескопу; ибо слово «стекло» редко употребляется моряками в каком-либо ином смысле. Теперь я был уверен, что нужно было пользоваться подозрной трубой, и с определенной точки, *недопускавшей* никакого *изменения*. Я не сомневался также, что выражение «сорок один градус и тринадцать минут» и «северо-восток и к скверу» означали направление для наведения стекла. Очень взволнованный всеми этими открытиями, я поспешил домой, раздобыл подозрную трубу и возвратился к утесу.

Я спустился вниз к выступу, и заметил, что держаться на нем было возможно лишь сидя в одном определенном положении. Этот факт подтвердил возникшее во мне предположение. Я стал смотреть в подозрную трубу. Конечно, «сорок

один градус и тринадцать минут» не могли относиться ни к чему иному, кроме высоты над видимым горизонтом, ибо горизонтальное направление было ясно указано словами, «северо-восточный и к северу». Это последнее направление я сразу установил с помощью карманного компаса; потом, наставив стекло приблизительно под углом в сорок один градус высоты, насколько я мог сделать это догадкой, я стал осторожно передвигать его вверх и вниз, пока внимание мое не было остановлено круглым просветом, или отверстием, в листе большого дерева, превышавшего своих сотоварищей на всем этом пространстве. В средоточии этого просвета я заметил белую точку, но сначала не мог разобрать, что это было. Наведя фокус подзорной трубы, я опять стал смотреть, и теперь убедился, что это был человеческий череп.

При этом открытии я так возликовал, что считал загадку разрешенной; ибо слова «главная ветвь, седьмой сук, восточная сторона» могли относиться только к положению черепа на дереве, между тем как «на вылет из левого глаза мертвой головы» допускало также только одно объяснение по отношению к отыскиванию зарытого клада. Я понял, что указание повелевало пропустить пулю через левый глаз черепа, и что пчелиная линия, или, другими словами, прямая линия, протянутая от ближайшей точки ствола «на вылет» (или устремленная к месту, куда упадет пуля), и отсюда протянутая на расстояние пятидесяти футов, указала бы некоторое определенное место — и около этого-то места, как я по крайней мере полагал, *возможно*, что сложены спрятанные сокровища.

— Все это, — сказал я, — чрезвычайно ясно, и, хотя вамысловато, все же просто и понятно. Когда вы оставили Дом Епископа, что было дальше?

— Когда я тщательно заметил местоположение дерева, я вернулся домой. В тот самый миг, однако же, как я оставил «чертов стул», круглое отверстие исчезло, и после я не мог увидеть ни признака его, как бы я ни повертывался. Что мне показалось верхом изобретательности во всем этом деле, так это тот факт (повторяя опыт, я убедился, что это было так), что круглое отверстие, о котором мы говорили, видно было лишь с одной достижимой точки, именно даваемой этим узким выступом на лицевой стороне утеса.

В этой экспедиции к Дому Епископа меня сопровождал Юпитер, который, без сомнения, заметил в продолжение нескольких недель мой отсутствующий вид и особенно заботился о том, чтобы не оставлять меня одного. Но на следующий день, встав очень рано, я ухитрился улизнуть от него, и отправился в холмы отыскивать дерево. После больших хлопот, я нашел его. Когда к ночи я вернулся домой, мой слуга собирался меня побить. Со всем остальным в этом происшествии, я думаю, вы осведомлены так же хорошо, как и я.

— Я полагаю, — сказал я, — вы ошиблись точкой при первой попытке сделать раскопку, благодаря глупости Юпитера, который пропустил жука через правый глаз черепа вместо левого.

— Конечно. Эта ошибка сделала разницу приблизительно в два дюйма с половиной относительно «на вылет» — то есть положения клина, ближайшего к дереву; и если бы клад находился *под* местом падения «на вылет» — ошибка была бы маловажная; но «вылет», вместе с ближайшей точкой дерева, был нужен как точки для того, чтобы установить линию направления; конечно, ошибка, хотя и малая вначале, увеличилась по мере того, как мы продолжали линию, и по истечении времени мы отошли на пятьдесят футов, что совершенно заставило нас потерять след. Но без моего глубоко засевшего убеждения, что сокровища были зарыты где-то здесь, вся наша работа оказалась бы напрасной.

— Но все ваши пышные фразы и ваше размахивание жуком — как это было необыкновенно странно! Я был уверен, что вы сошли с ума. И почему вы настаивали на том, чтобы пропустите через череп жука вместо пули?

— Ну, говоря откровенно, я чувствовал себя несколько раздосадованным вашими явными подозрениями относительно здравого состояния моего ума, и решил хорошенько наказать вас, по-своему, небольшой дозой умеренной мистификации. Поэтому я размахивал жуком, поэтому я велел спустить его с дерева. Ваше замечание относительно его веса внушило мне эту мысль.

— Да, я понимаю; а теперь остается один пункт, который интригует меня. Что нам думать о скелетах, найденных в яме?

— Это вопрос, на который я так же мало могу ответить, как и вы. Все же, мне кажется, есть только одно правдоподобное объяснение этого — и, однако, ужасно подумать о такой жестокости, которая возникает в моем воображении. Ясно, что Кидду — если это действительно Кидд схоронил этот клад, в чем я не сомневаюсь — ясно, что ему должны были помогать в его работе. Но, когда работа была окончена, он, должно быть, счел нужным удалить всех участников своей тайны. Двух ударов киркой было, может быть, достаточно, в то время как его помощники работали в яме: а может быть, тут понадобилась и целая дюжина — кто скажет?

## НЕСКОЛЬКО СЛОВ С МУМИЕЙ

*Пир* предыдущего вечера был несколько слишком силен для моих нервов. У меня была преподлая головная боль, и на меня напала отчаянная сонливость. Поэтому, вместо того чтобы выйти и провести вечер вне дома, как я предполагал, ничего мне не оставалось более разумного сделать, как перехватить кусочек на ужин да и отправляться немедленно в постель.

*Легкий* ужин, конечно. Валлийский кролик мне весьма любезен. Более одного фунта зараз, однако, не всегда можно рекомендовать. Все же существенного возражения против двух не может быть. И в действительности между двумя и тремя — в наличности лишь одна единица разницы. Я отважился, быть может, на четыре. Моя жена настаивает на пяти; но, ясно, она смешала два совершенно различные обстоятельства. Абстрактное число пять, я охотно допускаю; но конкретно это имеет отношение к бутылкам темного стаута<sup>1</sup>, без которого, как без приправ, валлийского кролика должно избегать.

Завершив таким образом скромную трапезу и надев мой ночной колпак, с безмятежной надеждой пользоваться им до полудня следующего дня, я поместил мою голову на подушку и с помощью спокойной совести немедленно впал в глубокую дремоту.

Но когда надежды человечества исполнялись? Навряд ли я всхрапнул и в третий раз, как у наружной двери бешено зазвонил звонок, и затем нетерпеливо заколотил молоточек, который разбудил меня сразу. Минуту спустя, и в то время

как я еще протирал свои глаза, жена моя бросила мне прямо в лицо записку старого моего друга, доктора Поннонера. Она гласила:

«Милый добрый друг, приходите ко мне во что бы то ни стало, как только вы получите это. Приходите и подействуйте нашей радости. Наконец, благодаря упорной дипломатии, я получил согласие директоров Городского Музея на мое исследование мумии — вы знаете, какую я разумею. Я получил разрешение развернуть ее покровы и вскрыть ее, если это окажется желательным. При этом будет лишь несколько друзей — вы, конечно. Мумия в данное время в моем доме, и мы начнем развешивать ее сегодня в одиннадцать часов ночи.

Всегда ваш *Поннонер*».

В то время как я достиг «Поннонера», меня поразила мысль, что я настолько пробудился, насколько это может быть нужно человеку. Я выскочил из постели в экстатическом порыве, опрокидывая все по дороге, оделся с быстротой, поистине волшебной, и со всех ног поспешил к доктору.

Там я нашел весьма оживленное общество, которое уже собралось. Все ждали меня с большим нетерпением; мумия была положена во всю длину на обеденном столе, и, в тот миг как я вошел, исследование началось.

Это была одна из мумий, привезенных несколько лет тому назад капитаном Артуром Сабреташем, двоюродным братом Поннонера, из гробницы близ Элейтиаса в Либийских горах, что на значительном расстоянии выше Фив на Ниле. Гроты в этом месте, хотя менее пышны, чем Фивские гробницы, представляют более высокий интерес по причине того, что они дают более разъяснений частной жизни египтян. Покой, из которого был взят наш образчик, как говорили, был весьма богат такими разъяснениями, стены его были целиком покрыты фресками и барельефами, между тем как статуи, вазы и мозаика с богатыми узорами указывали на великий достаток покойника.

Сокровище было сложено в музей как раз в том самом виде, в каком капитан Сабреташ нашел его, то есть гроб не был потревожен. Восемь лет он так стоял, подверженный лишь

внешне публичному рассмотрению. Таким образом, мы имели теперь целую мумию в нашем распоряжении, и для тех, кто знает, как редко — насколько редко сокровища древности достигают наших берегов разграбленными, — сразу будет очевидно, что мы имели достаточное основание поздравить себя с благой нашей удачей.

Приблизившись к столу, я увидел на нем просторный ларь, или ящик, футов семь в длину и, пожалуй, три фута в ширину, при двух с половиной футах глубины. Он был продолговатый, не гробообразный. Относительно материала сперва было предположено, что это дерево сикомора (*platapus*)<sup>2</sup>, но, сделав надрез, мы убедились, что это был картон, или, точнее говоря, *папье-маше*, сделанное из папируса. Все было густо орнаментировано картинками, изображавшими похоронные сцены и другие траурные замыслы, а между ними в самых разнообразных положениях были рассеяны некоторые ряды иероглифических знаков, обозначавших, без сомнения, имя покойного. По счастливой случайности, мистер Глиддон<sup>3</sup> был в числе собравшихся, и для него не было никакой трудности перевести надписания, которые были чисто фонетическими, и составляли слово *Алламистакео*.

Нам лишь с некоторым трудом удалось вскрыть этот ящик без повреждений, но когда, наконец, нам это удалось, мы увидели второй ящик, гробообразный и значительно меньший в размерах, чем внешний, но в точности походящий на него во всех других отношениях. Промежуток между обоими был наполнен камедью, которая до известной степени исказила краски внутреннего ларя.

Открыв этот последний (что мы сделали совершенно легко), мы достигли третьего ящика; он был тоже гробообразный, и ничем не отличался от второго, кроме материала, каковой был кедром, и еще испускал сильный и чрезвычайно ароматический дух, свойственный этому дереву. Между вторым и третьим ящиком не было промежутка, один вполне подходил к другому.

Сдвинув третий ящик, мы нашли и вынули самое тело. Мы думали, что увидим его, как обычно, закутанным в многочисленные льняные свертки или перевязи, но вместо этого мы увидели некоторого рода футляр, сделанный из папируса и облицованный слоем гипса, густо раззолоченного и распи-

санного красками. Живопись представляла замыслы, связанные с различными предполагаемыми обязанностями души, и ее представление различным божествам с многочисленными тождественными человеческими фигурами, которые, весьма вероятно, разумелись, как портрет тех, кто был забальзамирован. От головы до ног простиралась подобная колонне или перпендикулярная надпись в фонетических иероглифах, давая опять имя покойного и его титулы и имена, и имена и титулы его родных.

Вокруг шеи, таким образом освобожденной от покрывки, было ожерелье из цилиндрических стеклянных бус, различных по цвету и так расположенных, что они образовывали лики божеств, скарабея, и пр., с крылатым диском. Вокруг талии, в наиболее узком ее месте, было подобное же ожерелье или пояс.

Снявши папирус, мы нашли, что тело в превосходной сохранности, без малейшего запаха. Цвет красноватый. Кожа твердая, гладкая, и глянцевитая. Зубы и волосы были в добром состоянии. Глаза (как казалось) были вынуты и на место их вставлены стеклянные, которые были очень красивы и удивительно жизнеподобны, исключая лишь несколько слишком неподвижный взгляд. Пальцы и ногти были блестяще позолочены.

Благодаря красноте верхней кожицы, мистер Глиддон высказал мнение, что бальзамирование было осуществлено всецело с помощью горной смолы; но, поцарапав поверхность стальным инструментом и бросив в огонь таким образом получившийся порошок, мы убедились, что запах камфары и других благовонных смол сделался совершенно явственным.

Мы очень тщательно осмотрели тело, ища обычные отверстия, через которые извлекались внутренности, но, к нашему удивлению, мы не могли найти ни одного. Ни один из сочленов этого общества не знал еще в то время, что цельные мумии без отверстий встречаются нередко. Мозг обычно извлекали через нос; внутренности через надрез в боку; тело после этого брили, мыли, и солили; засим оставляли его на несколько недель, и тогда начиналась, собственно говоря, операция бальзамирования.

Так как ни следа никакого отверстия не было найдено, доктор Понноннер стал готовить инструменты для диссекции, когда я заметил, что было уже два часа слишком. Тогда все условились отложить внутреннее исследование до ближайшего вечера, и мы уже готовы были разойтись, как кто-то высказал мысль об опыте с вольтовым столбом<sup>4</sup>.

Применение электричества к мумии, исторический возраст которой был три или четыре тысячи лет, было мыслью, по крайней мере, если не очень мудрой, все же достаточно оригинальной, и мы все сразу за нее ухватились. На одну десятую всерьез и на девять десятых в шутку, мы приготовили батарею в кабинете доктора, и отнесли туда египтянина.

Лишь после значительных хлопот нам удалось обнажить некоторые части височного мускула, которые, как казалось, отличались менее каменной затверделостью, нежели другие части тела, но которые, как мы предполагали, конечно, не дали никаких указаний на гальваническую восприимчивость, будучи приведены в соотношение с электрической проволокой. Этот первый опыт казался на самом деле решительным, и, весело хохоча на собственную нашу вздорность, мы прощались, желая друг другу спокойной ночи, как вдруг мои глаза, устремившись на глаза мумии, были к ним немедленно прикованы в изумлении. Действительно, одного быстрого взгляда мне было достаточно, чтобы убедиться, что глазные яблоки, бывшие, как все предположили, из стекла, и ранее отличавшиеся известным диким неподвижным взглядом, были теперь настолько прикрыты веками, что лишь небольшая часть *tunica albuginea*\* оставалась видимой.

Вскрикнув, я обратил внимание на этот факт, и он стал очевидным для всех.

Я не могу сказать, что я был *встревожен* данным феноменом, потому что «встревожен» в данном случае неточное слово. Возможно, однако, что без темного стаута я мог бы оказаться несколько нервным. Что касается остальных членов компании, они поистине не приложили никаких усилий скрыть свой прямой испуг, овладевший ими. Доктор Понноннер явился человеком, достойным сострадания. Мистер Глиддон каким-то особенным способом сделался невиди-

---

\* *Tunica albuginea* — белки глаз (лат.). — *Примеч. ред.*

мым. Мистер Силк Букингем, я полагаю, вряд ли дерзнет отрицать, что он на четвереньках отправился под стол.

После первого толчка изумления, мы, однако, решили, как само собой разумеется, продолжать дальнейшее исследование. Наше внимание было направлено теперь на большой палец правой ноги. Мы сделали надрез над внешней областью *os sesamoideum pollicis pedis*\*, и таким образом достигли основания *abductor*\*\* мускула. Приспособив батарею, мы применили электрический ток к рассеченным нервам — как вдруг, движением чрезвычайно жизнеподобным, мумия сперва выпрямила правое колено настолько, что почти привела его в соприкосновение с животом, и потом, выпрямив ногу, с непостижимой силой дала пинок доктору Понноннеру, который имел такое действие, что устремил этого джентльмена, как стрелу из катапульты, через окно вниз на улицу.

Мы ринулись наружу *en masse*\*\*\*, чтобы принести изуродованные останки жертвы, но имели счастье встретить его на лестнице, поспешающим вверх с неизъяснимою рьяностью, до краев наполненным самой пламенной философией, и более чем когда-нибудь запечатлевшим в уме своем необходимость продолжать наши опыты со всей строгостью и рвением.

Это по его совету, согласно с сим, мы сделали тотчас же глубокий надрез на кончике носа пациента. Между тем как доктор сам, наложив на него насильственные руки, притянул его в самое пылкое соприкосновение с электрической проволокой.

Морально и физически — образно и буквально — эффект был электрический. Во-первых, тело открыло свои глаза и замигало очень быстро, продолжая это делать в течение нескольких минут, как это делает мистер Барнес<sup>5</sup> в пантомиме; во-вторых, оно чихнуло; в-третьих, оно уселось, выпрямившись; в-четвертых, оно потрясло своим кулаком перед лицом доктора Понноннера; в-пятых, обращаясь к господам

---

\* *Os sesamoideum pollicis pedis* — сесамовидная кость большого пальца ноги (лат.). — *Примеч. ред.*

\*\* *Abductor* — абдуктор (лат.) — мышца, осуществляющая отведение конечности или ее части. — *Примеч. ред.*

\*\*\* *En masse* — все вместе (фр.). — *Примеч. ред.*

Глиддону и Букингему, оно заговорило с ними на превосходнейшем египетском, таким образом:

— Я должен сказать, джентльмены, что я столько же удивлен, сколько оскорблен вашим поведением. От доктора Поннонера ничего лучшего ждать было нельзя. Это — злосчастный жирный дурачок, который ничего лучшего не *знает*. Я жалею его и прощаю ему. Но вы, мистер Глиддон — и вы, Силк — вы, который путешествовали и жили в Египте, так что можно было бы подумать, что вы там родились в хорошей семье — вы, говорю я, бывший среди нас столько, что вы говорите по-египетски так же хорошо, как, думаю я, вы пишете на вашем родном языке — вы, кого я всегда был расположен считать самым прочным другом мумий — поистине, я ожидал более джентльменского поведения от *вас*. Что должен я думать о том, что вы спокойно стоите и смотрите на меня, когда со мной так некрасиво обходятся? Что должен я предполагать, раз вы позволяете всякому Тому, Дику, и Харри разоблачать меня от моих гробов и от моих одеяний, в этом злосчастно-холодном климате? В каком свете (говоря по существу) должен я рассматривать вашу помощь и вашу поддержку, оказанную вами этому жалкому негодяйчику, доктору Поннонеру, потянувшему меня за нос?

Подумают, конечно, что, услышав такой спич, при подобных обстоятельствах, мы или все направились к дверям, или попадали в истерику, или всем обществом упали в обморок. Чего-нибудь одного из этих трех можно было, говорю я, ожидать. На самом деле, любое из всех этих различий поведения, или все они вместе, вполне приемлемым образом могли осуществиться. И, клянусь, я совершенно не знаю, как или почему не осуществили мы ни одного, ни другого, ни третьего. Но, быть может, истинную причину нужно искать в духе века, который прямо поступает по правилу противоположностей, и в том, что ныне признается, как разрешение всего, путь парадокса и невозможности. Или, быть может, после всего, это только чрезвычайно естественный и как бы само собой разумеющийся вид мумии лишил все ее слова страшности. Как бы там ни было, факты ясны, и ни один из сочленов нашего общества не явил какой-либо особой дрожи, и не выказал, что ему кажется, чтобы что-нибудь было тут особенно вне порядка.

Что касается меня, я был убежден, что все было all right\*, как следует, и я лишь отошел в сторону, за пределы достижения египетского кулака. Доктор Понноннер засунул свои руки в карманы брюк, жестоко посмотрел на мумию, и сделался необыкновенно красен в лице. Мистер Глиддон погладил бакенбарды и поправил воротник своей рубашки. Мистер Букингом повесил голову и положил большой палец своей правой руки в левый угол своего рта.

Египтянин смотрел на него некоторое время с суровым лицом, и, наконец, с презрительной усмешкой сказал:

— Почему же вы ничего не говорите, мистер Букингом? Слышали вы, что я вас спросил или нет? *Выньте* ваш палец изо рта!

Тут мистер Букингом слегка вздрогнул, выпул большой палец своей правой руки из левого угла своего рта, и, в виде компенсации, ввел большой палец левой своей руки в правый угол вышеупомянутого отверстия.

Не будучи в состоянии получить какой-нибудь ответ от мистера Букингема, сия фигура повернулась в сердцах к мистеру Глиддону, и тоном, не допускающим возражения, потребовала от нас в общих выражениях сказать, чего мы все хотим.

Мистер Глиддон ответил подробно, фонетически; и, если бы в американских типографиях имелся иероглифический шрифт, мне бы доставило истинное удовольствие запечатлеть здесь в оригинале всю эту превосходную речь целиком.

Я воспользуюсь также данным случаем, чтобы заметить, что вся последующая беседа, в которой мумия принимала участие, велась на первобытном египетском языке через посредство (поскольку это касалось меня и других не путешествовавших членов общества) — через посредство, говорю я, господ Глиддона и Букингема, как переводчиков. Эти джентльмены говорили на родном языке мумии с неподражаемой беглостью и изяществом; но я не мог не заметить, что два путешественника (без сомнения, благодаря введению образов вполне современных, и, конечно, совершенно новых для чужеземца) вынуждены были иногда пользоваться чувственными образами с целью выяснить какой-либо особый смысл

---

\* All right — все хорошо, нормально (англ.). — *Примеч. ред.*

говоримого. Мистер Глиддон, например, не мог в одну минуту заставить египтянина понять термин «политика» до тех пор, пока куском угля он не нарисовал маленького господишчика с нарывным носом, с продранными локтями, стоящим на чурбане, с левою ногою, отодвинутою назад, с правой рукой, устремленной вперед, со сжатым кулаком, с глазами вытаращенными и обращенными к небу, и со ртом открытым под углом в девяносто градусов. Точно таким же образом мистер Букингом не мог изъяснить безусловно современную идею «виг»\*, пока (по совету доктора Поннонера) он не сделался очень бледен в лице, и не согласился снять свое собственное головное украшение.

Легко поймут, что речь мистера Глиддона была посвящена, главным образом, обширным благодеяниям для знания, проистекающим из развертывания и распотрошения мумий; извинениям в этом смысле за какие-либо беспокойства, которые могли быть причинены ему в частности, отдельной мумии, называемой Алламистакео; и заключению, в виде простого намека (ибо вряд ли это могло быть рассматриваемо как что-нибудь большее), что после того как эти мелочи ныне изъяснены, было бы вполне, пожалуй, подходящим продолжать начатое исследование. Тут доктор Поннонер приготовил свои инструменты.

Касательно последних внушений оратора, у Алламистакео, по-видимости, имелись известные сомнения, связанные с указаниями совести, сущность которых я не вполне отчетливо понял; но он заявил о полном своем удовлетворении представленными оправданиями, и, сойдя со стола, пожал всем руки по очереди.

Когда эта церемония окончилась, мы немедленно занялись возмещением ущербов, которые наш пациент потерпел от скальпеля. Мы зашили ему рану на виске, положили бандаж на ногу и прилепили квадратный дюйм черного пластыря к кончику его носа.

Было замечено тогда, что у графа (таков, по-видимому, был титул Алламистакео) легкий приступ озноба — без сомнения от холода. Доктор немедленно направился к своему

---

\* «Whig» — буквально от *англ.* «парик». Прозвище представительной партии либералов. — *Примеч. пер.*

гардеробу, и вскоре вернулся, неся черный парадный фрак, сшитый по лучшему покрою Дженнинга, небесно-голубые тартановые панталоны со штрипками, розовую рубашку из индийской бумажной материи, бархатный жилет с отворотами, белое пальто-сак, трость с загнутою ручкой, шляпу без полей, патентованные кожаные сапоги, лайковые перчатки соломенного цвета, лорнет, пару бакенбард и галстук каскадом. Благодаря различию в росте между графом и доктором (пропорция двух к единице), возникло некоторое затруднение при надевании этих одежд и обуви на особу египтянина; но, когда все было приведено в порядок, можно было сказать, что он хорошо одет. Мистер Глиддон протянул ему поэтому свою руку, и подвел его к удобному креслу около камина, между тем как доктор позвонил и приказал подать сигары и вино.

Разговор вскоре стал оживленным. Было выражено, конечно, большое любопытство, касательно несколько примечательного факта, что Алламестакео все еще был в живых.

— Я бы подумал, — заметил мистер Букингем, — что вам давно уже пора было умереть.

— Как, — отвечал граф, весьма удивленный, — мне всего лишь немного более семисот лет! Отец мой жил тысячу лет, и, когда он умирал, он вовсе не был впавшим в детство.

Последовал быстрый обмен вопросов и вычислений, с помощью которых стало очевидно, что при оценке древности мумии были допущены грубые ошибки. Прошло пять тысяч пятьдесят лет с несколькими месяцами, с тех пор как он был доверен катакомбам Элейтиаса.

— Но мое замечание, — возразил мистер Букингем, — не относилось к вашему возрасту во время погребения (я охотно соглашусь, на самом деле, что вы еще человек молодой), я намекал лишь на безмерность времени, в течение которого, согласно собственным вашим показаниям, вы должны были быть заделаны в асфальт.

— Во что? — спросил граф.

— В асфальт, — настаивал мистер Букингем.

— Ах, да; я имею некоторое слабое представление о том, что вы разумеете; это могло бы, без сомнения, вполне отвечать надлежащей цели, но, в мое время, мы вряд ли употребляли что-нибудь другое, кроме двухлористого ртути.

— Но что мы в особенности лишены возможности понять, — сказал доктор Понноннер, — это, — как могло случиться, что, будучи мертвы и схоронены в Египте пять тысяч лет тому назад, вы ныне здесь совсем живы, и у вас такой здоровый превосходный вид?

— Если бы я был, как говорите вы, *мертв*, — отвечал граф, — более чем вероятно, что мертвым бы я и продолжал быть доселе; ибо я вижу, что вы еще находитесь в младенчестве гальванизма, и не можете с его помощью совершать того, что было заурядною вещью среди нас, в старые дни. Но дело в том, что я впал в каталепсию, и лучшие мои друзья решили, что я мертв, или должен быть мертв; соответственно с этим они забальзамировали меня тотчас же — я полагаю, вы осведомлены касательно главных приемов бальзамирования?

— Каким образом? Вообще нет.

— А, понимаю, — прискорбное состояние невежества! Хорошо, но дело в том, что я не могу именно сейчас входить в подробности; необходимо, однако, изъяснить, что бальзамирование (точно говоря) означало в Египте — задержать на неопределенное время все животные отправления, подверженные данному процессу. Я употребляю слово «животные» в самом широком его смысле, включая в это понятие не только телесное, но и духовное и *жизненное* бытие. Я повторяю, что руководящая основа бальзамирования состояла у нас в немедленной задержке, — и в сохранении этой задержки на длительное время, — *всех* животных отправлений того, кто подвергался данному процессу. Чтоб быть кратким, — в каком бы состоянии данный человек ни был во время бальзамирования, в этом состоянии он и оставался. Теперь, так как доброй моей судьбе было угодно, чтобы во мне текла кровь Скарабея<sup>6</sup>, я был забальзамирован *живым*, как вы меня сейчас видите.

— Кровь Скарабея! — воскликнул доктор Понноннер.

— Да. Скарабей был *эмблемой* или *гербом* весьма знатного и очень редкого патрицианского рода. Иметь в жилах «кровь Скарабея» — это просто значит быть одним из представителей рода, коего Скарабей есть *эмблема*. Я говорю образно.

— Но что все это имеет общего с тем, что вы сейчас живы?

— Дело в том, что в Египте было всеобщим обычаем вынимать из тела внутренности и мозг, прежде чем его бальзамиро-

вать; одна только семья Скарабеев не согласовалась с этим обычаем. Если бы, поэтому, я не был Скарабеем, я был бы без внутренностей и без мозга; а без этих двух жить неудобно.

— Я понимаю, — сказал мистер Букингем, — и предполагаю, что все мумии, которые попадают нам в руки *цельными*, принадлежат к расе Скарабеев.

— Без сомнения.

— Я думал, — сказал мистер Глиддон очень мягко, — что Скарабей был одним из египетских богов.

— Один из египетских *чего?* — воскликнула мумия, вскакивая с места.

— Богов, — повторил путешественник.

— Мистер Глиддон, я поистине удивлен, слыша, что вы говорите в таком стиле, — сказал граф, снова садясь. — Никакой народ на земле никогда не признавал более, чем *одного бога*. Скарабей, Ибис и пр. были у нас (как подобные создания были у других) символами или *посредниками*, через которых мы возносили почитание Творцу, слишком величественному, чтобы можно было к нему подойти более непосредственно.

Тут возникла пауза. Наконец, собеседование было возобновлено доктором Понноннером.

— Таким образом, не невероятно, судя по тому, что вы изъяснились, — сказал он, — что в катакомбах близ Нила есть еще другие мумии из племени Скарабея в состоянии жизненности.

— Об этом не может быть вопроса, — отвечал граф, — все Скарабеи, случайно забальзамированные заживо, суть живы. Даже некоторые из тех, что *умышленно* были так забальзамированы, могли быть забыты своими душеприказчиками, и еще пребывают в гробницах.

— Не будете ли вы добры объяснить, — сказал я, — что вы разумеете под словами «были умышленно так забальзамированы»?

— С большим удовольствием, — сказала мумия, неторопливо осмотрев меня в свой лорнет — ибо это был первый раз, что я дерзнул обратиться к графу с непосредственным вопросом. — С большим удовольствием. Обычная длительность жизни человека в мое время была около восьмисот лет. Немногие умирали до завершения возраста в шестьсот лет, раз-

ве какой-нибудь самый чрезвычайный случай; немногие жили долее, чем десяток столетий; но восемь столетий считались естественным пределом. После открытия основы бальзамирования, как я уже описал ее вам, нашим философам пришло в голову, что похвальная любознательность может быть удовлетворена, и в то же время интересы науки весьма подвинуты, если жить до этого естественного предела частями. Относительно истории опыт, действительно, показал, что нечто в этом роде было необходимо. Например, историк, достигши возраста в пятьсот лет, мог написать книгу с большим тщанием, и затем предоставить себя забальзамировать неукоснительным образом, оставив точные инструкции своим душеприказчикам *pro tempore*\*, что они должны позаботиться об оживлении его по истечении известного периода — скажем, пятисот или шестисот лет. Возобновляя существование по истечении такого срока времени, он неизменно находил свое великое произведение обратившимся в некоторого рода записную книжку, где заметки нагромождены наудачу, то есть превратившимся в известного рода литературную арену для противоречивых догадок, загадок, и личных драк целой орды ожесточенных комментаторов. Эти догадки, и прочее, существовавшие под именем примечаний или исправлений, так всецело облекали, искажали и загромождали текст, что автор должен был с фонарем глядеть туда-сюда, чтобы отыскать собственную свою книгу. Когда же она находилась, она никогда не была достойной заботы поисков. После того как она сплошь бывала написана заново, историк считал безусловной своей обязанностью немедленно исправить ее с точки зрения личного своего знания и осведомленности, касающихся временных преданий той эпохи, в которой он первоначально жил. Этот процесс писания заново и личного исправления, время от времени осуществлявшийся отдельными мудрецами, имел то действие, что помешал нашей истории выродиться в полный вымысел.

— Прошу прощения, — сказал доктор Понноннер в эту минуту, мягко кладя свою ладонь на руку египтянина, — прошу прощения, сэр, могу ли я притязать прервать вас на одно мгновение?

---

\* *Pro tempore* — на время (лат.). — *Примеч. ред.*

— О, конечно, *сэр*, — отвечал граф, приосаниваясь.

— Я хотел только предложить вам один вопрос. Вы упомянули о личных поправках историка, вносимых в *предания*, касающиеся собственной его эпохи. Прошу сказать, *сэр*, средним счетом, какая пропорция из всей этой Каббалы оказывалась обыкновенно справедливой?

— Каббала, как вы хорошо определили это, *сэр*, обыкновенно была наравне с рассказываемыми фактами в самой истории незаписанной; то есть, можно сказать, что при каком бы то ни было обстоятельстве не было ни в той, ни в другой, ни одной йоты, которая не была бы целиком и радикально ложной.

— Но, так как совершенно ясно, — продолжал доктор, — что, по крайней мере, пять тысяч лет прошло со времени вашего погребения, я считаю достоверным, что в вашей истории этого периода, если не в ваших преданиях, с достаточной точностью говорилось об одном предмете всемирного интереса, о сотворении Мира, которое имело место, как, я полагаю, вы знаете, лишь около десяти столетий перед тем.

— *Сэр!* — сказал граф Алламистакео.

Доктор повторил свое замечание, но лишь после значительных добавочных истолкований можно было заставить чужеземца понять его. Наконец, с колебанием, Алламистакео сказал:

— Идеи, вами развиваемые передо мной, признаюсь, крайне новы для меня. В мое время я никогда не знал никого, кто поддерживал бы столь особливую фантазию, что вселенная (или этот мир, если вам угодно) когда-либо имела какое-либо начало. Я помню, что однажды, и только однажды, я слышал какой-то отдаленный намек, сделанный человеком больших умозрительных способностей, касательно происхождения *человеческого рода*; и этот человек употребил то самое слово *Адам* (или Красная Земля), которым вы пользуетесь. Он употреблял его, однако, в родовом смысле, применяя его к самопроизвольному зарождению плодоносной почвы (совершенно так же, как зарождаются тысячи низших *родов* созданий) — к самопроизвольному зарождению, говорю я, пяти огромных орд человек, одновременно возникших в пяти различных и почти равных делениях земного шара.

Здесь вся компания вообще пожала плечами, а человека два коснулись своего лба с весьма значительным видом. Мистер Силк Букингем, сперва быстро глянув на затылок, а потом на темя Алламестакео, сказал следующее:

— Большая длительность человеческой жизни в ваше время, вместе с применявшейся иногда практикой проводить ее, как вы изъяснили, долями, должна была, действительно, поощрять сильную склонность к всеобщему развитию и накоплению знания. Я полагаю поэтому, что отличительно-низшими достижениями древних египтян во всех особых отделах знания сравнительно с современным человечеством, особенно же с янки, мы всецело обязаны более значительной толщине египетского черепа.

— Я снова признаюсь, — отвечал граф, с большою мягкостью, — что я несколько не понимаю вас: прошу — какие особые отделы знания вы разумеете?

Тут все наше общество, соединенными голосами, исчислило подробно выводы френологии<sup>7</sup> и чудеса животного магнетизма.

Выслушав нас до конца, граф начал рассказывать нам разные анекдоты, сделавшие очевидным, что прообразы Галля и Шпурцгейма<sup>8</sup> процветали и отцвели в Египте так давно, что были почти забыты, и что маневры Месмера<sup>9</sup> были на самом деле лишь презренными проделками в сравнении с положительными чудесами фивских ученых, которые создавали блох и много других подобных вещей.

Я спросил графа, способны ли были представители его народа вычислять затмения. Он улыбнулся несколько презрительно, и сказал, что да.

Это несколько обескуражило меня, но я начал предлагать другие вопросы касательно его астрономических познаний, как вдруг один из членов общества, не открывавши до этого своего рта, шепнул мне на ухо, что за сведениями по этому предмету я лучше могу обратиться к некоему Птолемею<sup>10</sup>, так же, как к некоторому Плутарху, *De facie lunae*\*.

Я спросил тогда мумию о зажигательных стеклах и сферических и вообще о выделке стекла; но я еще не окончил вопросов, как молчаливый член общества опять тихонько

---

\* «О лике, видимом на Луне»<sup>11</sup> (лат.). — Примеч. ред.

тронул меня за локоть, и попросил меня ради бога заглянуть в Диодора Сицилийского<sup>12</sup>. Что касается графа, он просто спросил меня в виде ответа, имеются ли у нас, современных, такие микроскопы, которые сделали бы нас способными вырезать камен в стиле египтян. Пока я думал о том, как я должен ответить на этот вопрос, маленький доктор Понноннер скомпрометировал себя весьма необыкновенным образом.

— Посмотрите на нашу архитектуру! — воскликнул он, к великому негодованию обоих путешественников, которые щипали его до синяков и кровоподтеков без всяких результатов.

— Посмотрите, — воскликнул он с энтузиазмом, — на Боулинг Грин<sup>13</sup> в Нью-Йорке, где играют в шары! Или, если это слишком обширно для созерцания, поглядите на Капитолий в Вашингтоне, в округе Колумбия! — И добрый медицинский человечек начал подробно исчислять, ничего не пропуская, пропорции упомянутого здания. Он объяснил, что один портик был украшен не менее чем двадцатью четырьмя колоннами, пять футов в диаметре, и десять футов отстояния.

Граф сказал, что, к сожалению, он не может вспомнить в данную минуту точных размеров какого-либо из главных зданий города Азнака<sup>14</sup>, коего основания заложены в ночи времен, но развалины которого еще стояли в эпоху его погребения на обширной песчаной равнине, к западу от Фив. Он вспомнил, однако, (говоря о портиках), что один, присоединенный к второстепенному дворцу в предместье, именуемом Карнак<sup>15</sup>, состоял из ста сорока четырех колонн, каждая тридцать семь футов окружности, в двадцати пяти футах отстояния. Приближались к этому портику от Нила, через аллею в две мили длины, состоявшую из сфинксов, статуй, и обелисков в двадцать, в шестьдесят, и в сто футов вышины. Самый дворец (насколько он мог припомнить) в одном направлении имел две мили длины, а целиком мог иметь около семи миль в окружности. Стены его были богато разрисованы сплошь, изнутри и извне, иероглифами. Он не притязал бы *утверждать*, что даже пятьдесят или шестьдесят капитолиев доктора могли быть выстроены в пределах этих стен, но он отнюдь не уверен, что двести или триста их не могли бы быть туда втиснуты с некоторым затруднением. Этот дворец в Карнаке был незначительным небольшим зданием, в конце

концов. Он (граф), однако, не мог бы по совести отказать в непосредственной интересности, великолепии, и превосходстве Боулинг Грин, как его описывает доктор. Ничего подобного, он должен сознаться, не было видано ни в Египте, ни где бы то ни было в другом месте.

Тут я спросил графа, что он может сказать о наших железных дорогах.

— Ничего особенного, — ответил он. — Они скорее слабоваты, скорее дурно задуманы, и неуклюже выполнены. Они, конечно, не могут идти в сравнение с обширными, ровными, прямыми, снабженными сетью железных желобков, шоссе-ными дорогами, по которым египтяне доставляли целые храмы и большие обелиски в полтораста футов вышины.

Я заговорил о наших гигантских механических силах.

Он согласился, что мы кое-что знаем в этом, но спросил, что бы я сделал, чтобы приладить лопатки под пятою свода на притолках хотя бы малого дворца в Карнаке.

Этот вопрос я решил за лучшее не слышать, и спросил его, имеет ли он представление об артезианских колодцах; но он только поднял свои брови, между тем как мистер Глиддон весьма сурово мне мигнул, и сказал, понизив голос, что недавно инженеры, которым было поручено пробуравить почву для добытия воды в Великом Оазисе<sup>16</sup>, нашли таковой.

Я тогда упомянул о нашей стали, но чужеземец поднял нос, и спросил меня, могла ли бы наша сталь выполнить четкие резные работы, которые видимы на Обелисках и которые были сделаны целиком острыми инструментами из меди.

Это смутило нас так сильно, что мы сочли за лучшее изменить атаку, направившись в область метафизики. Мы послали за экземпляром книги, именуемой «Dial» (Циферблат), и прочли оттуда главы две о чем-то, что не очень ясно, но что бостонские ученые именуют великим движением или прогрессом.

Граф лишь сказал, что великие движения были чудовищно заурядною вещью в его дни; что же касается прогресса, он одно время был положительным ущербом, но он никогда не прогрессировал.

Мы заговорили тогда о великой красоте и значительности демократии, и весьма хлопотали о том, как бы внушить

графу должное впечатление выгод, которыми мы пользуемся, живя в стране, где есть подача голосов *ad libitum*\*, и нет короля.

Он слушал с заметным интересом, и казался немало позабавленным. Когда мы кончили, он сказал, что давно тому назад было что-то подобное. Тринадцать египетских провинций все сразу решили быть свободными, и явить, таким образом, великолепный пример остальному человечеству. Они собрали своих мудрецов, и состряпали самую остроумную конституцию, какую только можно вообразить. Некоторое время они управлялись великолепно, только их обычай хвастаться был чрезмерен. Все кончилось, однако, тем, что тринадцать этих государств, с присоединением пятнадцати или двадцати других, выродились в самый ненавистный и невыносимый деспотизм, о каком когда-либо было слышно на земле.

Я спросил, как было имя этого тирана-узурпатора.

Насколько граф мог припомнить, оно было *Чернь*.

Не зная, что сказать на это, я возвысил голос и воскорбел о египетском незнании пара.

Граф посмотрел на меня с большим удивлением, но ничего не ответил. Молчаливый джентльмен, однако, сильно ударил меня своими локтями в ребра — сказав мне, что я достаточно явил себя для одного раза — и спросил, неужели я такой дурачок, чтобы не знать, что современная паровая машина произошла из открытия Герона, через посредничество Соломона де-Ко<sup>17</sup>.

Мы были теперь в неминуемой опасности полного поражения; но, как того хотела добрая наша звезда, доктор Понноннер, собравшись с силами, вернулся к нам на помощь, и спросил, неужели жители Египта могли бы серьезно соперничать с людьми современными в имеющих всеобщую важность подробностях туалета.

Граф при этом глянул вниз на штрипки своих панталон, и затем, взяв конец полы своего фрака, он в течение нескольких мгновений держал его близко у своих глаз. Наконец, он выпустил его из рук, и рот его постепенно расширился от уха до уха; но я не припомню, чтобы он сказал что-нибудь в виде ответа.

---

\* *Ad libitum* — свободно (лат.). — *Примеч. ред.*

Тут к нам вернулась бодрость духа, доктор же, приблизившись к мумии с большим достоинством, пожелал узнать истинную правду, ссылаясь на честь джентльмена: в *какое-либо* время, ведали или нет египтяне производством пастилок Поннонера или пилюль Брандрета?

Мы ждали ответа с глубокой тревогой, но напрасно. Он не возник. Египтянин покраснел и повесил свою голову. Никогда торжество не было более законченным, никогда поражение не было принято с меньшим достоинством. Поистине, я не мог вынести зрелища унижения бедной мумии. Я дотянулся до моей шляпы, поклонился чопорно и отбыл.

Придя домой, я увидел, что уже было четыре часа с лишком, и тотчас же отправился в постель. Сейчас десять часов утра. Я встал в семь и занесу эти заметки для блага моей семьи и человечества. Сию первую я больше не увижу. Моя жена сварливица. Правду сказать, я сердечно устал от этой жизни и от девятнадцатого столетия вообще. Я убежден, что все в нем неладно. Кроме того, я весьма любопытно узнаю, кто будет президентом в 2045-м году. Поэтому, как только я побреюсь и проглочу чашку кофе, я тотчас же направлюсь к Поннонеру и велю себя забальзамировать столетия на два.

# СТИХОТВОРЕНИЯ

## БОРОН

Как-то в полночь, в час угрюмый, полный тягостною думой,  
Над старинными томами я склонялся в полусне,  
Грезам странным отдавался, вдруг неясный звук раздался,  
Будто кто-то постучался — постучался в дверь ко мне.  
«Это верно, — прошептал я, — гость в полночной тишине,  
Гость стучится в дверь ко мне».

Ясно помню... Ожиданья... Поздней осени рыданья...  
И в камине очертанья тускло тлеющих углей...  
О, как жаждал я рассвета! Как я тщетно ждал ответа  
На страданье, без привета, на вопрос о ней, о ней,  
О Леноре, что блистала ярче всех земных огней,  
О светилах прежних дней.

И завес пурпурных трепет издавал как будто лепет,  
Трепет, лепет, наполнявший темным чувством сердце мне.  
Непонятный страх смиряя, встал я с места, повторяя:  
«Это только гость, блуждая, постучался в дверь ко мне,  
Поздний гость приюта просит в полуночной тишине, —  
Гость стучится в дверь ко мне».

подавив свои сомненья, победивши опасенья,  
Я сказал: «Не осудите замедленья моего!»  
Этой полночью ненастной я вздремнул, и стук неясный  
слишком тих был, стук неясный, — и не слышал я его,

Я не слышал — тут раскрыл я дверь жилища моего:  
Тьма, и больше ничего.

Взор застыл, во тьме стесненный, и стоял я изумленный,  
Снам отдавшись, недоступным на земле ни для кого;  
Но как прежде ночь молчала, тьма душе не отвечала,  
Лишь — «Ленора!» — прозвучало имя солнца моего,  
Это я шепнул, и эхо повторило вновь его, —  
Эхо, больше ничего.

Вновь я в комнату вернулся — обернулся — содрогнулся, —  
Стук раздался, но слышнее, чем звучал он до того.  
«Верно, что-нибудь сломилось, что-нибудь пошевелилось,  
Там за ставнями забилось у окошка моего,  
Это ветер, — усмирю я трепет сердца моего, —  
Ветер, больше ничего».

Я толкнул окно с решеткой, — тотчас важною походкой  
Из-за ставней вышел Ворон, гордый Ворон старых дней,  
Не склонился он учтиво, но, как лорд, вошел спесиво,  
И, взмахнув крылом лениво, в пышной важности своей,  
Он взлетел на бюст Паллады, что над дверью был моей,  
Он взлетел — и сел над ней.

От печали я очнулся и невольно усмехнулся,  
Видя важность этой птицы, жившей долгие года.  
«Твой хохол ошипан славно, и глядишь ты презабавно, —  
Я промолвил, — но скажи мне: в царстве тьмы, где Ночь  
всегда,  
Как ты звался, гордый Ворон, там, где Ночь царит всегда?»  
Ворон каркнул: «Никогда».

Птица ясно отвечала, и хоть смысла было мало,  
Подивился я всем сердцем на ответ ее тогда.  
Да и кто не подивится, кто с такой мечтой сроднится,  
Кто поверить согласится, чтобы где-нибудь когда —  
Сел над дверью — говорящий без запинки, без труда —  
Ворон с кличкой: «Никогда».

И, взирая так сурово, лишь одно твердил он слово,  
Точно всю он душу вылил в этом слове «никогда»,

И крылами не взмахнул он, и пером не шевельнул он,  
Я шепнул: «Друзья сокрылись вот уж многие года,  
Завтра он меня покинет, как Надежды, навсегда».  
Ворон каркнул: «Никогда».

Услыхав ответ удачный, вздрогнул я в тревоге мрачной,  
«Верно, был он, — я подумал, — у того, чья жизнь — Беда,  
У страдальца, чьи мученья возрастали, как теченье  
Рек весной, чье отречение от Надежды навсегда  
В песне вылилось — о счастье, что, погибнув навсегда,  
Вновь не вспыхнет никогда».

Но, от скорби отдыхая, улыбаясь и вздыхая,  
Кресло я свое придвинул против Ворона тогда,  
И, склонясь на бархат нежный, я фантазии безбрежной  
Отдался душой мятежной: «Это — Ворон, Ворон, да.  
Но о чем твердит зловещий этим черным „Никогда“,  
Страшным криком „Никогда“».

Я сидел, догадок полный и задумчиво-безмолвный,  
Взоры птицы жгли мне сердце, как огнистая звезда,  
И с печалью запоздалой, головой своей усталой,  
Я прильнул к подушке алой, и подумал я тогда:  
Я — один, на бархат алый — та, кого любил всегда,  
Не прильнет уж никогда.

Но, постой, вокруг темнеет, и как будто кто-то веет,  
То с камильницей небесной Серафим пришел сюда?  
В миг неясный упоенья я вскричал: «Прости, мученье!  
Это Бог послал забвенье о Леноре навсегда,  
Пей, о, пей скорей, забвенье, о Леноре навсегда!»  
Каркнул Ворон: «Никогда».

И вскричал я в скорби страстной: «Птица ты, иль дух  
ужасный,  
Искусителем ли послан, или грозой прибит сюда, —  
Ты пророк неустрашимый! В край печальный, нелюдимый,  
В край, Тоскою одержимый, ты пришел ко мне сюда!  
О, скажи, найду ль забвенье, я молю, скажи, когда?»  
Каркнул Ворон: «Никогда».



Сани мчатся, мчатся в ряд,  
Колокольчики звенят,  
Звезды слушают, как сани, убегая, говорят,  
И, внимая им, горят,  
И мечтая, и блистая, в небе духами парят;  
И изменчивым сияньем,  
Молчаливым обаяньем,  
Вместе с звоном, вместе с пеньем, о забвеньи говорят.

## II

Слышишь к свадьбе звон святой,  
Золотой!  
Сколько нежного блаженства в этой песне молодой!  
Сквозь спокойный воздух ночи  
Словно смотрят чьи-то очи  
И блестят,  
Из волны певучих звуков на луну они глядят.  
Из призывных дивных келий,  
Полны сказочных веселий,  
Нарастая, упадая, брызги светлые летят.  
Вновь потухнут, вновь блестят,  
И роняют светлый взгляд  
На грядущее, где дремлет безмятежность нежных снов,  
Возвещаемых согласьем золотых колоколов!

## III

Слышишь, воющий набат,  
Точно стонет медный ад!  
Эти звуки, в дикой муке, сказку ужасов твердят.  
Точно молят им помочь,  
Крик кидают прямо в ночь,  
Прямо в уши темной ночи  
Каждый звук,  
То длиннее, то короче,  
Выкликает свой испуг, —  
И испуг их так велик,  
Так безумен каждый крик,  
Что разорванные звоны, неспособные звучать,

Могут только биться, виться, и кричать, кричать, кричать!  
Только плакать о пощаде,  
И к пылающей громаде  
Вопли скорби обращать!  
А меж тем огонь безумный,  
И глухой и многошумный,  
Все горит,  
То из окон, то по крыше,  
Мчится выше, выше, выше,  
И как будто говорит:  
Я хочу  
Выше мчаться, разгораться, встречу лунному лучу,  
Иль умру, иль тотчас-тотчас вплоть до месяца взлечу!  
О, набат, набат, набат,  
Если б ты вернул назад  
Этот ужас, это пламя, эту искру, этот взгляд,  
Этот первый взгляд огня,  
О котором ты вещаешь, с плачем, с воплем, и звеня!  
А теперь нам нет спасенья,  
Всюду пламя и кипенье,  
Всюду страх и возмущенье!  
Твой призыв,  
Диких звуков несогласность  
Возвещает нам опасность,  
То растет беда глухая, то спадает, как прилив!  
Слух наш чутко ловит волны в перемене звуковой,  
Вновь спадает, вновь рыдает медно-стонущий прибой!

#### IV

Похоронный слышен звон,  
Долгий звон!  
Горькой скорби слышны звуки, горькой жизни кончен сон.  
Звук железный возвещает о печали похорон!  
И невольно мы дрожим,  
От забав своих спешим  
И рыдаем, вспоминаем, что и мы глаза смежим.  
Неизменно-монотонный,  
Этот возглас отдаленный,  
Похоронный тяжкий звон,

Точно стон,  
Скорбный, гневный,  
И плачевный,  
Вырастает в долгий гул,  
Возвещает, что страдалец непробудным сном уснул.  
В колокольных кельях ржавых,  
Он для правых и неправых  
Грозно вторит об одном:  
Что на сердце будет камень, что глаза сомкнутся сном.  
Факел траурный горит,  
С колокольни кто-то крикнул, кто-то громко говорит,  
Кто-то черный там стоит,  
И хохочет, и гремит,  
И гудит, гудит, гудит,  
К колокольне припадает,  
Гулкий колокол качает,  
Гулкий колокол рыдает,  
Стонет в воздухе немом  
И протяжно возвещает о покое гробовом.

### АННАБЕЛЬ-ЛИ

Это было давно, это было давно  
В королевстве приморской земли:  
Там жила и цвела та, что звалась всегда,  
Называлась Аннабель-Ли,  
Я любил, был любим, мы любили вдвоем,  
Только этим мы жить и могли.

И, любовью дыша, были оба детьми  
В королевстве приморской земли.  
Но любили мы больше, чем любят в любви, —  
Я и нежная Аннабель-Ли.  
И, взирая на нас, серафимы небес  
Той любви нам простить не могли.

Оттого и случилось когда-то давно  
В королевстве приморской земли, —  
С неба ветер повеял холодный из туч,

Он повеял на Аннабель-Ли;  
И родные толпою печальной сошлись  
И ее от меня унесли,  
Чтоб навеки ее положить в саркофаг,  
В королевстве приморской земли.  
Половины такого блаженства узнать  
Серафимы в раю не могли, —  
Оттого и случилось (как ведомо всем  
В королевстве приморской земли), —  
Ветер ночью повеял холодный из туч  
И убил мою Аннабель-Ли.

Но, любя, мы любили сильней и полней  
Тех, что старости бремя несли, —  
Тех, что мудростью нас превосшли, —  
И ни ангелы неба, ни демоны тьмы  
Разлучить никогда не могли,  
Не могли разлучить мою душу с душой  
Обольстительной Аннабель-Ли.

И всегда луч луны навевает мне сны  
О пленительной Аннабель-Ли:  
И зажжется ль звезда, вижу очи всегда  
Обольстительной Аннабель-Ли;  
И в мерцаньи ночей я все с ней, я все с ней,  
С незабвенной — с невестой — с любовью моей —  
Рядом с ней распростерт я вдали,  
В саркофаге приморской земли.

## УЛЯЛЮМ

Небеса были серого цвета,  
Были сухи и скорбны листы,  
Были сжаты и смяты листы.  
За огнем отгоревшего лета  
Ночь пришла, сон глухой черноты,  
Близь туманного озера Обер,  
Там, где сходятся ведьмы на пир,  
Где лесной заколдованный мир,

Возле дымного озера Обер,  
В зачарованной области Вир.

Там однажды, в аллее Титанов,  
Я с моею Душою блуждал,  
Я с Психеей, с Душою блуждал.  
В эти дни трепетанья вулканов  
Я сердечным огнем побеждал,  
Я спешил, я горел, я блистал —  
Точно серные токи на Яник,  
Бороздящие горный оплот,  
Возле полюса, токи, что Яник  
Покидают, струясь от высот.

Мы менялися лаской привета,  
Но в глазах затаилася мгла,  
Наша память неверной была,  
Мы забыли, что умерло лето,  
Что октябрьская полночь пришла,  
Мы забыли, что осень пришла,  
И не вспомнили озеро Обер,  
Где открылся нам некогда мир,  
Это дымное озеро Обер,  
И излюбленный ведьмами Вир.

Но когда уже ночь постарела,  
И на звездных небесных часах  
Был намек на рассвет в небесах, —  
Что-то облачным сном забелело  
Перед нами, в неясных лучах,  
И внезапно предстал серебристый  
Полумесяц, двурогой чертой,  
Полумесяц Астарты лучистый,  
Очевидный двойной красотой.

Я промолвил: «Астарта нежнее  
И теплей, чем Диана, она —  
В царстве вздохов, и вздохов полна:  
Увидав, что, в тоске не слабея,

Здесь душа затомилась одна, —  
Чрез созвездие Льва проникая,  
Показала она в облаках  
Путь к забвенной тиши в небесах,  
И чело перед Львом не склоняя,  
С нежной лаской в горящих глазах,  
Над берлогою Льва возникая,  
Засветилась для нас в небесах».

Но Психея, свой перст поднимая,  
«Я не верю, — промолвила, — в сны  
Этой бледной богини Весны.  
О, не медли, — в ней бледность больная!  
О, бежим! Поспешим! Мы должны!»  
И в испуге, в истоме бессилья,  
Не хотела, чтоб дальше мы шли,  
И ее ослабевшие крылья  
Опускались до самой земли —  
И влачились — влачились в пыли.

Я ответил: «То страх лишь напрасный,  
Устремимся на трепетный свет,  
В нем кристальность, обмана в нем нет.  
Сибиллически ярко-прекрасный,  
В нем Надежды манящий привет,  
Он сквозь ночь нам роняет свой след.  
О, уверуем в это сиянье,  
Так зовет оно вкрадчиво к снам,  
Так правдивы его обещанья  
Быть звездой путеводною нам,  
Быть призывом, сквозь ночь, к Небесам!»

Так ласкал, утешал я Психею  
Толкованием звездных судеб,  
Зоркий страх в ней утих и ослеп.  
И прошли до конца мы аллею,  
И внезапно увидели склеп,  
С круговым начертанием склеп.  
«Что гласит эта надпись?» — сказал я,

И, как ветра осеннего шум,  
Этот вздох, этот стон услышал я:  
«Ты не знал? Улялюм — Улялюм —  
Здесь могила твоей Улялюм».

И сраженный словами ответа,  
Задрожав, как на ветке листы,  
Как сухие под ветром листы,  
Я вскричал: «Значит, умерло лето,  
Это осень и сон черноты,  
Небеса потемневшего цвета.  
Ровно — год, как на кладбище лета  
Я здесь ночью октябрьской блуждал,  
Я здесь с ношею мертвой блуждал.  
Эта ночь была ночь без просвета,  
Самый год в эту ночь умирал, —  
Что за демон сюда нас зазвал?  
О, я знаю теперь, это — Обер,  
О, я знаю теперь, это — Вир,  
Это — дымное озеро Обер  
И излюбленный ведьмами Вир».

## МОЕЙ МАТЕРИ

*(К мистрисс Клемм, матери жены Эдгара По, Виргинии)*

Когда в Раю, где дышит благодать,  
Нездешнюю любовью томимы,  
Друг другу нежно шепчут серафимы,  
У них нет слов нежней, чем слово Мать.

И потому-то пылко возлюбила  
Моя душа тебя так звать всегда,  
Ты больше мне, чем мать, с тех пор когда  
Виргиния навеки опочила.

Моя родная мать мне жизнь дала,  
Но рано, слишком рано умерла.  
И я тебя как мать люблю, — но Боже!

Насколько ты мне более родна,  
Настолько, как была моя жена  
Моей душе — моей души дороже!

\* \* \*

Из всех, кому тебя увидеть — утро,  
Из всех, кому тебя не видеть — ночь,  
Полнейшее исчезновение солнца,  
Изъятого из высоты Небес, —  
Из всех, кто ежечасно, со слезами,  
Тебя благословляет за надежду,  
За жизнь, за то, что более, чем жизнь,  
За возрождение веры схороненной,  
Доверья к Правде, веры в Человечность,  
Из всех, что, умирая, прилегли  
На жесткий одр Отчаянья немого  
И вдруг вскочили, голос твой услышав,  
Призывно-нежный зов: «Да будет свет!»,  
Призывно-нежный голос, воплощенный  
В твоих глазах, о, светлый серафим, —  
Из всех, кто пред тобою так обязан,  
Что молятся они, благодаря, —  
О, вспомяни того, кто всех вернее,  
Кто полон самой пламенной мольбой,  
Подумай сердцем, это он взывает  
И, создавая беглость этих строк,  
Трепещет, сознавая, что душою  
Он с ангелом небесным говорит.

## СОН ВО СНЕ

Пусть останется с тобой  
Поцелуй прощальный мой!  
От тебя я ухожу,  
И тебе теперь скажу:  
Не ошиблась ты в одном, —

Жизнь моя была лишь сном.  
Но мечта, что сном жила,  
Днем ли, ночью ли ушла,  
Как виденье ли, как свет,  
Что мне в том, — ее уж *нет*.  
*Все*, что зрится, мнится мне,  
Все есть только сон во сне.

Я стою на берегу,  
Бурю взором стерегу.  
И держу в руках своих  
Горсть песчинок золотых.  
Как они ласкают взгляд!  
Как их мало! Как скользят  
Все — меж пальцев — вниз, к волне,  
К глубине — на горе мне!  
Как их бег мне задержать,  
Как сильнее руки сжать?  
Сохранится ль хоть *одна*,  
Или все возьмет волна?  
Или то, что зримо мне,  
*Все* есть только сон во сне?

## ЭЛЬДОРАДО

Между гор и долин  
Едет рыцарь один,  
Никого ему в мире не надо.  
Он все едет вперед,  
Он все песню поет,  
Он замыслил найти Эльдorado.

Но в скитаньях — один  
Дожил он до седин,  
И погасла былая отрада.  
Ездил рыцарь везде,  
Но не встретил нигде,  
Не нашел он нигде Эльдorado.

И когда он устал,  
Пред скитальцем предстал  
Странный призрак — и шепчет: «Что надо?»  
Тотчас рыцарь ему:  
«Расскажи, не пойму,  
Укажи, где страна Эльдорадо?»

И ответила Тень:  
«Где рождается день,  
Лунных Гор где чуть зрима громада.  
Через ад, через рай,  
Все вперед поезжай,  
Если хочешь найти Эльдорадо!»

### ЧЕРВЬ-ПОБЕДИТЕЛЬ

Во тьме безутешной — блистающий праздник  
Огнями волшебный театр озарен.  
Сидят серафимы, в покровях, и плачут,  
И каждый печалью глубокой смущен.  
Трепещут крылами и смотрят на сцену,  
Надежда и ужас проходят, как сон,  
И звуки оркестра в тревоге вздыхают,  
Заоблачной музыки слышится стон.

Имея подобие Господа Бога,  
Снуют скоморохи туда и сюда;  
Ничтожные куклы приходят, уходят,  
О чем-то бормочут, ворчат иногда;  
Над ними нависли огромные тени,  
Со сцены они не уйдут никуда,  
И крыльями Кондора веют бесшумно,  
С тех крыльев незримо слетает — Беда!

Мишурные лица! Но знаешь, ты знаешь,  
Причудливой пьесе забвения нет.  
Безумцы за Призраком гонятся жадно,  
Но Призрак скользит, как блуждающий свет;  
Бежит он по кругу, чтоб снова вернуться

В исходную точку, в святилище бед;  
И много Безумия в драме ужасной,  
И Грех в ней завязка, и Счастья в ней нет.

Но что это там? Между гаеров пестрых  
Какая-то красная форма ползет,  
Оттуда, где сцена окутана мраком!  
То червь, — скоморохам он гибель несет.  
Он корчится! — корчится! — гнусною пастью  
Испуганных гаеров алчно грызет,  
И ангелы стонут, и червь искаженный  
Багряную кровь ненасытно сосет.

Потухли огни, догорало сиянье!  
Над каждой фигурой, дрожащей, немой,  
Как саван зловещий, крутится завеса,  
И падает вниз, как порыв грозовой —  
И ангелы, с мест поднимаясь, бледнеют,  
Они утверждают, объятые тьмой,  
Что эта трагедия Жизнью зовется,  
Что Червь-Победитель — той драмы герой!

## ГОРОД НА МОРЕ

Здесь Смерть себе воздвигла трон,  
Здесь город, призрачный, как сон,  
Стоит в уединенье странном,  
Вдали на Западе туманном,  
Где добрый, злой, и лучший, и злодей  
Прияли сон — забвение страстей.  
Здесь храмы и дворцы и башни,  
Изъеденные силой дней,  
В своей недвижности всегдашней,  
В нагроможденности теней,  
Ничем на наши не похожи.  
Кругом, где ветер не дохнет,  
В своем невозмутимом ложе,  
Застыла гладь угрюмых вод.

Над этим городом печальным,  
В ночь безысходную его,  
Не вспыхнет луч на Небе дальном.  
Лишь с моря, тускло и мертво,  
Вдоль башен бледный свет струится,  
Меж капищ, меж дворцов змеится,  
Вдоль стен, пронзивших небосклон,  
Бегущих в высь, как Вавилон,  
Среди изваянных беседок,  
Среди растений из камней,  
Среди видений бывших дней,  
Совсем забытых напоследок,  
Средь полных смутной мглой беседок,  
Где сетью мраморной горят  
Фиалки, плющ и виноград.

Не отражая небосвод,  
Застыла гладь угрюмых вод.  
И тени башен пали вниз,  
И тени с башнями слились,  
Как будто вдруг, и те, и те,  
Они повисли в пустоте.  
Меж тем как с башни — мрачный вид!  
Смерть исполинская глядит.

Зияет сумрак смутных снов  
Разверстых капищ и гробов,  
С горящей, в уровень, водой;  
Но блеск убранства золотой  
На опочивших мертвецах,  
И бриллианты, что звездой  
Горят у идолов в глазах,  
Не могут выманить волны  
Из этой водной тишины.  
Хотя бы только зыбь прошла  
По гладкой плоскости стекла,  
Хотя бы ветер чуть дохнул  
И дрожью влагу шевельнул.  
Но нет намека, что вдали,  
Там где-то дышат корабли,

Намека нет на зыбь морей,  
Не страшных ясностью своей.  
Но чу! Возникла дрожь в волне!  
Пронесся ропот в вышине!  
Как будто башни, вдруг осев,  
Разъяли в море сонный зев, —  
Как будто их верхи, впотьмах,  
Пробел родили в Небесах.  
Краснее зыбь морских валов,  
Слабей дыхание Часов.  
И в час, когда, стена в волне,  
Сойдет тот город к глубине,  
Прияв его в свою тюрьму,  
Восстанет Ад, качая тьму,  
И весь поклонится ему.

## ПРИМЕЧАНИЯ

### ХОП-ФРОГ (HOP-FROG)

Первая публикация в газете «The Flag of Our Union» 17 марта 1849 г. под названием «Прыг-Скок, или Восемь скованных орангутангов».

Впервые на русском языке в 1885 г. под названием «Хоп-Фрог».

В вышедшей в 1970 г. в серии «Литературные памятники» книге «Эдгар Аллан По. Полное собрание рассказов» этот рассказ (перевод В. Рогова) назывался «Прыг-Скок».

- <sup>1</sup> *Рабле*, Франсуа (1493—1553) — известнейший французский писатель эпохи Возрождения, автор сатирического повествования «Гаргантюа и Пантагрюэль».
- <sup>2</sup> *Вольтер* (1694—1778) — один из крупнейших французских философов-просветителей XVIII в., писатель, историк, правозащитник. Урожденный Франсуа-Мари Аруз; Вольтер — анаграмма — «Аруз младший».
- <sup>3</sup> *...каждой из кариатид* — статуя одетой женщины, введенная в употребление древнегреческим зодчеством для поддержки антаблемента и, следовательно, заменявшая собой колонну или пилястру.

### ОВАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ (THE OVAL PORTRAIT)

Первая публикация в 1842 г. в журнале «Graham's Lady's and Gentleman's Magazine» под названием «Life in Death» («Жизнь в смерти»).

- <sup>1</sup> *Радклиф*, Анна (1764—1823) — английская писательница, автор романов в готическом стиле «Удольфские тайны», «Итальянец», «Роман в лесу».
- <sup>2</sup> *Салли*, Томас (1783—1872) — американский художник.
- <sup>3</sup> ...*в мавританском вкусе* — характерен повышенно-декоративный орнамент, насыщенный растительными, геометрическими и эпиграфическими мотивами.

## ЛИГЕЙЯ (LIGEIA)

Впервые опубликовано в 1838 г. в журнале «The American Museum of Science, Literature, and the Arts».

Впервые на русском языке в 1874 г. в журнале «Дело».

- <sup>1</sup> *Гленвилл*, Джозеф (1636—1680) — английский священник и философ.
- <sup>2</sup> ...*бледная туманнокрылая Аштофег* — этой богине поклонялись жители древнего города Сидона (ныне город Сайда в Ливане).
- <sup>3</sup> *делосских дочерей* — на острове Делос Лета родила Аполлона и Артемиду, которая жила там с нимфами.
- <sup>4</sup> «*Нет изысканной красоты, — говорит Бэкон, лорд Веруламский... — без некоторой странности в соразмерности частей*» — Бэкон, лорд Веруламский (1561—1626) — английский государственный деятель, эссеист и философ. Основоположник эмпиризма. Цитата взята из его эссе «О красоте».
- <sup>5</sup> *Нурджахад* — речь идет о романе «История Нурджахада» английской писательницы Фрэнсис Шеридан.
- <sup>6</sup> ...*легендарных гурий Турции* — по мусульманской мифологии, вечно юные девы, услаждающие праведников в раю.
- <sup>7</sup> *Колодец Демокрита* — речь идет о выражении, якобы принадлежащем Демокриту: «Истина обитает на дне колодца».
- <sup>8</sup> ...*звездными близнецами Леды* — в созвездии Близнецов есть две яркие звезды Кастор и Поллукс — братья-близнецы, рожденные Ледой от Зевса, согласно греческой мифологии.
- <sup>9</sup> ...*звезда шестой величины... в созвездии Лиры* — звезда Вега.
- <sup>10</sup> *Друидический* — друиды — жрецы и поэты у кельтских народов.
- <sup>11</sup> *Луксор* — город в верхнем Египте, на восточном берегу Нила, расположен на месте древних Фив.

## ДЕМОН ИЗВРАЩЕННОСТИ (THE IMP OF PERVERSE)

Впервые опубликовано в 1845 г. в журнале «Graham's Lady's and Gentleman's Magazine».

На русском языке опубликовано впервые в 1895 г. под названием «Демон извращенности».

В вышедшей в 1970 г. в серии «Литературные памятники» книге «Эдгар Аллан По. Полное собрание рассказов» этот рассказ (перевод В. Рогова) назывался «Бес противоречия».

- <sup>1</sup> *Френолог* — сторонник френологии. Френология — концепция, согласно которой о психических особенностях человека можно судить по строению поверхности черепа. Френология подвергалась и подвергается научной критике.
- <sup>2</sup> *Шпурцгейм*, Иоганн Каспар — френолог, установил 37 способностей разума, связав каждую с определенным участком коры головного мозга.

### ЧЕРНЫЙ КОТ (THE BLACK CAT)

Впервые опубликовано в 1843 г. в журнале «Saturday Evening Post».

Впервые на русском языке в журнале «Время» в 1861 г.

### МАСКА КРАСНОЙ СМЕРТИ (THE MASQUE OF THE RED DEATH)

Впервые опубликовано в 1842 г. в журнале «Graham's Lady's and Gentleman's Magazine».

Впервые на русском языке — в 1870 г. в журнале «Отечественные записки» под названием «Красная Смерть».

- <sup>1</sup> «*Эрнани*» — драма Виктора Гюго (1802—1885).
- <sup>2</sup> *...фигуры, кружащиеся в вальсе* — только входивший в моду во времена Эдгара По вальс долгое время считался танцем неприличным.

### ПРОДОЛГОВАТЫЙ ЯЩИК (THE OBLONG BOX)

Впервые опубликовано в журнале «Godey's Magazine and Lady's Book» (Филадельфия) в сентябре 1844 г. Написано не позднее мая 1844 г. Последнее прижизненное издание в журнале «The Broadway Journal» 13 декабря 1845 г. с небольшими изменениями.

На русском языке впервые в журнале «Библиотека для чтения», март 1857 г., под названием «Длинный ящик».

В вышедшей в 1970 г. в серии «Литературные памятники» книге «Эдгар Аллан По. Полное собрание рассказов» этот рассказ (перевод Н. Демуровой) назывался «Длинный ларь».

- <sup>1</sup> *Пакетбот Independence* — корабль американского флота.
- <sup>2</sup> *Рубини* — фамилия итальянских художников XVI—XVIII вв.
- <sup>3</sup> *Олбани, штат Нью-Йорк* — город на северо-востоке США, столица штата Нью-Йорк и округа Олбани.
- <sup>4</sup> *Мыс Гаттерас* — одно из самых опасных для судоходства мест, расположен на восточном побережье США.
- <sup>5</sup> *Контр-бизань* — косой парус, ставящийся на бизань-мачте.  
*Фок-зейл* — нижний прямой парус фок-мачты (первой мачты корабля).
- <sup>6</sup> *Бухта Окракок* — бухта, расположенная у побережья Северной Каролины в США.

### ПАДЕНИЕ ДОМА АШЕРОВ (THE FALL OF THE HOUSE OF USHER)

Впервые опубликовано в 1839 г. в журнале «Burton's Gentleman's Magazine». В первой публикации отсутствовал эпиграф.

Впервые на русском языке в 1881 г. в «Литературном журнале» под названием «Падение дома Ушеров».

- <sup>1</sup> *Беранже* — заключительные строки песни «Отказ» Пьера Жана де Беранже (1780—1857) — французского поэта и сочинителя песен, известного прежде всего своими сатирическими произведениями.
- <sup>2</sup> *Фюзели*, Иоганн Генрих (1741—1825) — или Генри Фюзели — швейцарский и английский живописец, график, историк и теоретик искусства. Иллюстрировал Шекспира и Мильтона. Интересно отметить, что в приемной З. Фрейда висела репродукция картины Фюзели «Кошмар».
- <sup>3</sup> *Уотсон*, Ричард (1737—1816) — английский химик, автор «Очерков по химии» (1781—1787).  
*Персиваль*, Томас (1740—1804) — английский врач, автор «Медицинской этики» (1803).  
*Спалланцани*, Ладзаро (1729—1799) — итальянский натуралист. Работы в различных областях естествознания. Особенно известны его экспериментальные биологические исследования. Впервые опытным путем доказал невозможность самопроиз-

вольного зарождения микроскопических организмов (инфузорий).

<sup>4</sup> *Грессе, Жан Батист Лун (1709—1777)* — французский поэт и драматург. За поэму «Вер-Вер» (1734) был исключен из ордена иезуитов.

*Макиавелли, Никколо (1469—1527)* — итальянский мыслитель, писатель, политический деятель. В новелле «Бельфагор» рассказывает о том, как дьявол посетил Землю.

*Сведенборг, Эммануил (1688—1772)* — шведский ученый-естествоиспытатель, теолог, изобретатель.

*Хольберг, Людвиг (1684—1754)* — выдающийся норвежско-датский писатель, положивший начало новой датской литературе. Сатирический роман «Путешествие Нильса Климса под землей» (1742) написан на латыни; герой посещает вымышленные страны. Хольберг высмеивает здесь предрассудки своего времени, устаревшие порядки и обычаи.

*Фладд, Роберт (1574—1637)* — английский врач, астролог, мыслитель-мистик.

*Д'Эндажине, Жан* — французский мистик и хиромант.

*Делашамбр, Марен Кюро (1594—1669)* — французский хиромант.

*Тик, Людвиг Иоганн (1773—1853)* — немецкий поэт, писатель, драматург, переводчик. Речь идет о романе «Старая книга, или Путешествие в голубую даль» (1835).

*Кампанелла, Томмазо (1568—1639)* — итальянский ученый, писатель и философ-утопист. Утопический роман «Город Солнца» был написан им в тюрьме, где он провел 27 лет.

*Жиронн, Эймерик де (ок. 1320—1399)* — испанский инквизитор. В «Directorium Inquisitorum» («Руководство по инквизиции») рассказывается о различных методах борьбы с нечистой силой.

<sup>5</sup> «*Безрассудное свидание*»... *сэра Ланселота Кеннинга* — вымышленные Эдгаром По автор и произведение. Этельред — имя королей в Британии X—XI вв.

## СЕРДЦЕ-ИЗОБЛИЧИТЕЛЬ (THE TELL-TALE HEART)

Первая публикация в 1843 г. в журнале «The Pioneer».

Впервые на русском языке в 1861 г. в журнале «Время».

В вышедшей в 1970 г. в серии «Литературные памятники» книге «Эдгар Аллан По. Полное собрание рассказов» этот рассказ (перевод В. Неделина) назывался «Сердце-обличитель».

БЕРЕНИКА  
(BERENICE)

Впервые опубликовано в 1835 г. в журнале «The Southern Literary Messenger».

Впервые на русском языке в 1874 г. в журнале «Дело».

- <sup>1</sup> *Ибн-Зайат* — арабский поэт XI в.
- <sup>2</sup> *Арнгейм* — город на реке Рейне.
- <sup>3</sup> *Самум* — (араб. — знойный ветер) — местное название сухих горячих ветров в пустынях Северной Африки и Аравийского полуострова.
- <sup>4</sup> *Курион*, Делий Секундус (1503—1569) — итальянский протестант, с 1547 г. профессор в Базеле, антитринитарий. Антитринитарианцы — приверженцы религиозных учений и сект, не принимающих основной догмат христианства — догмат о Троице. Книга Куриона «О величии блаженного царства божия» издана в 1554 г. *Августин*, Аврелий, (354—430) — философ, влиятельнейший проповедник, христианский богослов и политик. Святой католической и православных церквей (в православии обычно именуется блаженный Августин). Один из отцов Церкви, основатель августинизма. Родоначальник христианской философии истории. Христианский неоплатонизм Августина господствовал в западноевропейской философии и католической теологии до XIII в. «*Град Божий*» (413—427) — одно из важнейших сочинений Августина. В книге была осуществлена нетрадиционная разработка проблемы периодизации исторического процесса. *Тертуллиан*, Квинт Септимий Флоренс (ок. 160 — ок. 230) — один из наиболее выдающихся раннехристианских писателей и теологов, автор сорока трактатов, из которых сохранился тридцать один. В зарождавшейся теологии Тертуллиан впервые выразил концепцию Троицы. Положил начало латинской патристике и церковной латыни — языку средневековой западной мысли. Э. По приводится цитата из его книги «О пресуществлении Христа».
- <sup>5</sup> *Птолемей* Гефестион (II в.) — древнегреческий ученый. Разработал так называемую геоцентрическую систему мира, согласно которой все видимые движения небесных светил объяснялись их движением (часто очень сложным) вокруг неподвижной Земли.
- <sup>6</sup> *Асфодель* — название рода растений из семейства асфоделиевых; травянистое растение с толстыми корневищами, посаженными продолговатыми «шишками». У древних греков асфодель был символом забвения.

- 7 *Симонид* Кеосский (ок. 556—468 до н.э.) — древнегреческий лирический поэт. Уроженец острова Кеос. Под именем Симонида дошли примерно 100 эпиграмм (подлинность многих весьма сомнительна). Часть из них — реальные надписи, надгробные или посвячительные.

*Гальциона*, или *Альциона* — в греческой мифологии дочь бога ветров Эола и жена Кеика. Когда Кеик погиб в кораблекрушении, Альциона, охваченная горем, бросилась в море, и боги превратили их обоих в птиц. Алкионовыми днями называли две недели тихой погоды около дня зимнего солнцестояния; в эти дни Эол смирял ветры, чтобы Альциона могла высидеть птенцов в своем гнезде, плавающем по волнам.

- 8 *Салле*, Мари (1707—1756) — французская артистка балета. В 1721 г. дебютировала в «Парижской Опере». Не найдя признания на родине, с 1725 г. работала в Лондоне в антрепризе Дж. Рича. В 1727-м, после успеха в Лондоне, вступила в труппу «Парижской Оперы». В 1739 покинула сцену.

## МОРЕЛЛА (MORELLA)

Первая публикация в 1835 г. в журнале «The Southern Literary Messenger».

Впервые на русском языке в 1884 г. в журнале «Приложение романов к газете „Свет“».

- 1 *Платон*, «*Пир*» — Платон (ок. 428—347 до н. э.) — философ, яркий представитель античного объективного идеализма, идеолог рабовладельческой аристократии. «*Пир*» — один из лучших диалогов Платона, в нем рассказывается о пиршестве у поэта Агафона по случаю победы, одержанной им на театральном состязании. Участники пира поочередно произносят речи, восхваляющие бога любви Эроса.

- 2 *...пресбургского образования* — речь идет о городе Пресбурге в Словакии, современное название — Братислава, ныне — столица Словакии.

- 3 *...как Гинном превратился в Геенну* — Гинном — долина в окрестностях Иерусалима («долина плача»). Отсюда появилось библейское название ада — геенна.

- 4 *Фихте*, Иоганн Готлиб (1762 — 1814) — немецкий философ и общественный деятель, представитель немецкого классического идеализма.

- <sup>5</sup> *Шеллинг*, Фридрих Вильгельм Йозеф (1775 – 1854) — один из виднейших представителей немецкой классической философии.
- <sup>6</sup> *Локк*, Джон (1632—1704) — английский философ, иногда называемый «интеллектуальным вождем XVIII в.» и первым философом эпохи Просвещения. Его теория познания и социальная философия оказали глубокое воздействие на историю культуры и общества, в частности на разработку американской конституции. Речь идет о сочинении «Опыт о человеческом разумении» (1690).
- <sup>7</sup> *Пестум* — первоначальное название Посидония — сибарийская колония, основанная в первые годы VI в. до н. э. на западном берегу Лукании (юго-восточнее нынешнего Салерно), но позднее перенесенная дальше вглубь Великой Греции по причине дурной воды и болотистой почвы. Этот город славился своими цветами.
- <sup>8</sup> *Цикута* — вёх ядовитый (лат. *Cicuta virosa*) — ядовитое растение семейства зонтичных. Другие названия: цикута, кошачья петрушка, вяха, омег, омежник, водяная бешеница, мутник, собачий дягиль, гориголова, свиная вошь. Одно из самых ядовитых растений.

## БОЧКА АМОНТИЛЬЯДО (THE CASK OF AMONTILLADO)

Впервые опубликовано в 1846 г. в журнале «Godey's Magazine and Lady's Book».

Впервые на русском языке в 1880 г. в журнале «Еженедельное новое время» под названием «Бочка Амонтилладо».

В вышедшей в 1970 г. в серии «Литературные памятники» книге «Эдгар Аллан По. Полное собрание рассказов» этот рассказ (перевод О. Холмской) назывался «Бочонок Амонтильядо».

- <sup>1</sup> *Медок* — достаточно легкое французское вино, употребляется молодым.
- <sup>2</sup> «*Никто не оскорбит меня безнаказанно*» — старинная надпись на гербе Шотландии и шотландского рыцарского ордена — ордена Чертополоха.
- <sup>3</sup> *Vin de Grave* — вино, производящееся в виноградарско-винодельческом районе Грав, входящем в состав виноградарско-винодельческого района Бордо (Франция).
- <sup>4</sup> *Масон*, или франкмасон, происходит от *фр. franc-maçon*, употребляется также буквальный перевод этого названия — вольный каменщик. Масонство (франкомасонство) — религиозно-

этическое движение, возникшее в XVII в. в виде тайной международной организации с мистическими обрядами. Первые масонские ложи были основаны в XVII в. в Англии. Существуют легенды о значительно более древнем происхождении масонства, начало которого выводится от ордена тамплиеров и гильдии каменщиков XIII в.

- 5 ...*великих катакомб Парижа* — сеть извилистых подземных туннелей и пещер искусственного типа. Общая протяженность, по разным данным от 187 до 300 километров. С конца XVIII в. катакомбы служат местом покоя останкам почти шести миллионов человек.

## ЧЕЛОВЕК ТОЛПЫ (THE MAN OF THE CROWD)

Первая публикация в 1840 г. одновременно в двух журналах, «The Casket» и «Burton's Gentleman's Magazine».

Первая публикация на русском языке в 1857 г. в журнале «Библиотека для чтения».

- 1 *Лабрюйер, Жан* (1645—1696) — французский писатель, сатирик-моралист, член Французской академии, отнесенный к числу «великих классиков». Получив юридическое образование, сблизился с двором и стал вхож в высшие аристократические круги, пристально наблюдал за характерами и нравами знати. В 1693 г. был избран в Академию. В 1688 г. он выпустил свою главную книгу «Характеры, или Нравы нынешнего века», которая за шесть лет была переиздана девять раз во Франции и почти сразу же переведена на основные европейские языки.
- 2 *Лейбниц, Готфрид Вильгельм* (1646 — 1716) — немецкий философ, математик, физик, языковед. Основатель и президент Бранденбургского научного общества. Один из создателей дифференциального и интегрального исчисления.
- 3 *Горгий* (483—380 до н. э.) — древнегреческий софист, крупнейший теоретик и учитель красноречия V в. до н. э.
- 4 *Евпатриды* — родовая землевладельческая знать в Афинах (Древняя Греция). Только они могли избираться на должность архонта (высшее должностное лицо в древнегреческих полисах) и быть членами ареопага (орган власти в Древних Афинах, назван по месту заседаний на холме Ареса возле Акрополя). В результате демократических реформ Солона и Клисфена утратили свои привилегии.

- <sup>5</sup> *Лукиан* (ок. 120—180) — греческий писатель-сатирик, известный как «Лукиан из Самосаты». Творчество Лукиана, не дошедшее до нас в подлинниках, обширно и включает философские диалоги, сатиры, биографии и романы приключений и путешествий (часто откровенно пародийные), имеющие отношение к предыстории научной фантастики. Речь идет о диалоге Лукиана «Изображения».
- <sup>6</sup> *Тертуллиан* — см. примечание 4 к рассказу «Береника».
- <sup>7</sup> *Идиосинкразия* (от *греч.* *idios* — своеобразный, особый, необычный и *syngkrazis* — смешение) — болезненная реакция, возникающая у отдельных людей на раздражители, которые у большинства других не вызывают подобных явлений. Имеется в виду болезненность и выразительность лица.
- <sup>8</sup> *Ретиш*, Мориц (1779—1857) — талантливый немецкий художник, иллюстрировал трагедию Гёте «Фауст»

## КОЛОДЕЦ И МАЯТНИК (THE PIT AND THE PENDULUM)

Впервые опубликовано в 1843 г. в сборнике «The Gift» («Подарок»).

Впервые на русском языке в 1870 г. в журнале «Отечественные записки».

- <sup>1</sup> *...в Париже* — цитата из книги И. Дизраэли (1804—1881) «Достопримечательности литературы».
- <sup>2</sup> *Гальваническая батарея* — химический источник электрического тока, названный в честь Луиджи Гальвани (1737—1798).
- <sup>3</sup> *Auto-da-fé* — аутодафе, буквально с *исп.* «акт веры». Оглашение и приведение приговора инквизиции в исполнение: обычно публичное сожжение еретиков и еретических книг на кострах в средние века.
- <sup>4</sup> *Толедо* — город в Испании, столица провинции Толедо и автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Город расположен к юго-западу от Мадрида на реке Тахо и является центром архиепископства. Город внесен в Список мирового культурного наследия ЮНЕСКО.
- <sup>5</sup> *Ultima Thule* — Туле, Фуле (*греч.* и *лат.* *Thule*) — согласно сообщениям античных географов, обитаемый остров, вошел в историю географических открытий и в художественную литературу под названием *Ultima Thule*, что стало обозначать крайний северный предел обитаемой земли.

- <sup>6</sup> *Генерал Лассаль* — Лассаль, Антуан (1775—1809) — французский дивизионный генерал, кавалерист. Участник войн Французской буржуазной республики и империи.

ВИЛЬЯМ ВИЛЬСОН  
(WILLIAM WILSON)

Впервые опубликовано в 1840 г. в сборнике «The Gift» («Подарок»).

На русском языке впервые в 1858 г.

- <sup>1</sup> «*Фаронида*» — героическая поэма в пяти книгах английского писателя Вильяма Чемберлена (1619—1689).
- <sup>2</sup> *Гелиогабал* (Элагабал) (204 — 222) — римский император из династии Северов. Император был развратен и избалован: он хвастался, что ни одна продажная женщина не имела столько любовников, сколько он. Самым страшным в правлении Гелиогабала были человеческие жертвы, которые приносили по всей Италии.
- <sup>3</sup> *Дресва* — мелкий щебень, крупный песок, получающийся от выветривания горных пород и при обделке камня.
- <sup>4</sup> *Oh, le bon temps, que ce siècle de fer!* — О, какое хорошее время, этот железный век! (фр.). Вольтер, «Сатир».
- <sup>5</sup> ... *богат как Ирод Аттический* — Ирод Аттик, Тиберий Клавдий (ок. 101—177) — знаменитый афинянин, прославившийся своим богатством и ораторским искусством. По преданию, нашел в одном из своих домов в Афинах богатейший клад.

УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ МОРГ  
(THE MURDERS IN THE RUE MORGUE)

Впервые опубликовано в 1841 г. в журнале «Graham's Lady's and Gentleman's Magazine».

Впервые на русском языке в 1857 г. под названием «Загадочное убийство» в журнале «Сын отечества».

- <sup>1</sup> *Браун*, Томас (1605—1682) — английский автор и врач. В 1671 г. был посвящен в рыцари Карлом II. Вдохновленный открытием древних похоронных урн вблизи Норфолка, он написал «Захоронения в урнах» («*Hydriotaphia: Urn Burials*»; 1658), эпитафия взят из этого сочинения сэра Томаса Брауна.
- <sup>2</sup> *Хойл*, Эдмонд (1672—1769) — был большим авторитетом среди игроков в карты, его часто называли «отцом виста».

- <sup>3</sup> *Френолог* — сторонник френологии. Френология — концепция, согласно которой о психических особенностях человека можно судить по строению поверхности черепа. Френология подвергалась и подвергается научной критике.
- <sup>4</sup> *Сен-Жерменское предместье* — известный пригород Парижа, где жила высшая знать.
- <sup>5</sup> *Пале-Рояль* — (фр. Palais Royal, «королевский дворец») — площадь, дворец и парк, расположенные в Париже напротив северного крыла Лувра. Дворец был построен по проекту Жака Лемерсье для кардинала Ришелье и сначала назывался Кардинальским.
- <sup>6</sup> *Театр «Варьете»* — театр в Париже, открылся в начале XIX в. Театр «Варьете», возглавляемый мадмуазель Монтансье, был изгнан Наполеоном из Королевского дворца. Считалось, что труппе, представлявшей «вульгарные водевили», там не место. «Варьете» прославился своими балами-маскарадами. В зале «Варьете», когда за его стенами бушевала эпидемия холеры, в 1832 г. впервые станцевали канкан.
- <sup>7</sup> *Кребийон*, Проспер Жюлио де (1674—1762) — французский драматург, чье творчество знаменовало собою кризис классицизма, выразившийся в утрате трагедией гражданской тематики, высоких этических идеалов, строгой рационально-осмысленной формы и подмене их, при соблюдении внешней благопристойности изображения, патологическими характерами, нагромождением «ужасов» (убийств, кровосмесительных связей), усложненной интригой, сценическими эффектами. Его перу принадлежит трагедия «Ксеркс» (1714).
- <sup>8</sup> *Эпикур* (ок. 342/341 — 271/270 до н.э.) — древнегреческий философ, основатель эпикуреизма в Афинах («Сад Эпикура»), в котором развил Аристиппову этику наслаждений в сочетании с Демокритовым учением об атомах.  
*Никольс*, Томас Лоу (1815—1901)—американский врач, общественный деятель и писатель.
- <sup>9</sup> *Ламартин*, Альфонс де (1791—1869) — французский поэт, историк, политический деятель. Автор сборников «Поэтические размышления», «Новые поэтические размышления».
- <sup>10</sup> *Первая буква звук потеряла первичный* — цитата из Овидия, «Фасты».
- <sup>11</sup> *Журден*, Жан-Батист — герой комедии Мольера «Мещанин во дворянстве» (1670), мещанин. Журден у Мольера надевал халат, чтобы было удобнее слушать музыку.
- <sup>12</sup> *Видок*, Франсуа Эжен (1775—1857) — известный французский сыщик. Выйдя в отставку, написал «Мемуары» (1826). В 1836 г.

организовал частное детективное бюро, которое было закрыто властями. В 1844 г. опубликовал «Истинные тайны Парижа».

- 13 *Истина не всегда находится в колодеце* — сравнить с выражением, якобы принадлежащем Демокриту: «истина обитает на дне колодеца».
- 14 *Кювье, Жорж* (1769—1832) — французский зоолог, один из реформаторов сравнительной анатомии, палеонтологии и систематики животных, иностранный почетный член Петербургской АН (1802).
- 15 *Борнео* — третий по величине остров в мире. Находится в центре Малайского архипелага в Юго-Восточной Азии. Единственный остров, разделенный сразу между тремя признанными государствами: Индонезией, Малайзией и Брунеем.
- 16 *Лаверна* — богиня наживы, покровительница воров и обманщиков, ей была посвящена роща близ Рима. В древности, вероятно, была богиней ночной тьмы.
- 17 *Руссо, «Новая Элоиза»* — цитата из романа Жана Жака Руссо (1712—1778) «Юлия, или Новая Элоиза» (1761), который повествует о любви аристократки Юлии д'Этанж и разночинца Сен-Пре.

## УКРАДЕННОЕ ПИСЬМО (THE PURLOINED LETTER)

Первая публикация — 1845 г., сборник «The Gift» («Подарок»).

Впервые на русском языке в 1857 г. в журнале «Сын отечества» под названием «Украденное письмо».

В вышедшей в 1970 г. в серии «Литературные памятники» книге «Эдгар Аллан По. Полное собрание рассказов» этот рассказ (перевод Н. Демуровой) назывался «Похищенное письмо».

- 1 *Сенека, Луций Анней* (6—3 до н. э. — 65 н. э.) — римский философ-стоик, поэт и государственный деятель. Воспитатель Нерона и один из крупнейших представителей стоицизма. Цитата взята из его «Писем к Луцилию».
- 2 *Прокрустово ложе* — крылатое выражение, означает желание подогнать что-либо под жесткие рамки или искусственную мерку, иногда жертвуя ради этого чем-нибудь существенным. Прокруст — персонаж мифов Древней Греции, разбойник, подстерегавший путников на дороге между Мегарой и Афинами. Он изготовил два ложа: на большое ложе он укладывал небольших ростом путников и бил их молотом, чтобы растянуть тела, на маленькое — высоких, и отпиливал те части тела, которые на ложе не помещались.

- <sup>3</sup> *Кампанелла*, Томмазо (1568—1639) — итальянский ученый, писатель и философ-утопист. Написал утопический роман «Город Солнца», будучи в тюрьме, где он провел 27 лет своей жизни.  
*Ларошфуко*, Франсуа (1613—1680) — французский политический деятель и известный мемуарист, автор знаменитых философских афоризмов.  
*Лабрюйер*, Жан (1645—1696) — французский писатель-моралист.  
*Макиавелли*, Николло (1469—1527) — итальянский писатель и дипломат.
- <sup>4</sup> *Шамфор*, Себастьян (1741—1794) — французский писатель, мыслитель, секретарь Якобинского клуба.
- <sup>5</sup> *Брайант*, Джейкоб (1715—1804) — ученый-антиквар; наибольшей известностью пользовался его труд «Новая система, или Анализ древней мифологии».
- <sup>6</sup> *О легком нисшествии в Преисподнюю* — Вергилий, «Энеида».
- <sup>7</sup> *Каталани*, Анжелика (1780—1849) — итальянская певица. Ее выступления проходили с огромным успехом по всей Европе, она обладала феноменальным голосом чрезвычайно красивого и чистого тембра, доходившего до редкой высоты (соль в третьей октаве).
- <sup>8</sup> *Вы найдете это в «Атрее» Кребийона* — речь идет о трагедии французского драматурга П. Кребийона-старшего (1674—1762). Главные герои пьесы — два брата, мстящие друг другу: царь Атрей убивает детей Фиеста, Фиест соблазняет жену Атрея и прокликает его дом.

## ЗОЛОТОЙ ЖУК (THE GOLD-BUG)

Впервые опубликовано в 1843 г. в газете «The Dollar Newspaper». На русском языке впервые в «Новой библиотеке для воспитания», 1847 г.

- <sup>1</sup> «*Все не правы*» — цитата из комедии английского драматурга Артура Мерфи (1727—1805).
- <sup>2</sup> *Крепость Моултри* — форт в бухте Чарлстона (Южная Каролина). Именно там происходили первые столкновения между конфедератами и федеральными войсками во время войны Севера и Юга.
- <sup>3</sup> *Сваммердам*, Ян (1637—1680) — нидерландский натуралист, один из основоположников научной микроскопии. Ему принадлежат труды по анатомии животных, преимущественно насекомых (строение на различных стадиях метаморфоза).

- 4 *Тюльпановое дерево* — высокое дерево семейства магнолиевых, в природных условиях растущее на востоке Северной Америки.
- 5 *Цафра* — окись кобальта, применялась в Древнем Египте, Вавилоне, Китае для окрашивания стекол и эмалей в синий цвет.
- 6 «*Царская водка*» — смесь насыщенных растворов соляной и азотной кислот.
- 7 *Кидд*, Вильям (ок. 1650—1701) — один из самых известных персонажей пиратской истории, он был капером — пиратом, занимавшимся грабежами с благословения английской короны. Он должен был отдавать английскому королю Вильгельму III десять процентов от награбленного. По легенде, спрятал баснословный клад где-то на американском побережье.

### НЕСКОЛЬКО СЛОВ С МУМИЕЙ (SOME WORDS WITH A MUMMY)

Впервые опубликовано в 1845 г. в журнале «The American Review».

Впервые на русском языке в 1895 г. в книге «Э. По. Избранные сочинения» под названием «Беседа с мумией».

В вышедшей в 1970 г. в серии «Литературные памятники» книге «Эдгар Аллан По. Полное собрание рассказов» этот рассказ (перевод И. Бернштейн) назывался «Разговор с мумией».

- 1 *Стаут* — темное пиво, приготовленное с использованием жженого солода с добавлением карамельного солода и жареного ячменя. Первоначально варился в Ирландии как разновидность портера. Очень популярен в Великобритании и Ирландии.
- 2 *Сикомор* (platanus) — библейская смоковница, дерево из рода тутовых. Распространено в Восточной Африке. Древесина твердая, прочная (в Древнем Египте использовалась для изготовления саркофагов). С древности культивируется ради съедобных плодов.
- 3 *Глиддон*, Джордж Робинс (1809—1857) — американский консул в Египте, читал лекции по египтологии.
- 4 *Вольтовый столб* — применявшееся на заре электротехники устройство для получения электричества. Представлял собой простейшую батарею гальванических элементов с одной жидкостью: между парами цинковых и медных пластин (дисков) прокладывались суконные кружки, смоченные щелочью или кислотой.
- 5 *Барнес*, Джон (1761—1841) — английский актер.
- 6 *Скарабей* — в египетской мифологии этот жук почитался как священное животное богов Солнца и считался символом сози-

дательной силы Солнца, возрождения в загробной жизни. Обитает в южных районах Западной Европы, в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

- 7 *Френология* — см. примечание 3 к рассказу «Убийство на улице Морг».
- 8 *Шпурцгейм*, Иоганн Кристоф (1776–1832) — немецкий френолог.  
*Галль*, Франц Иосиф (1758–1828) — немецкий врач, основоположник френологии.
- 9 *Месмер*, Фридрих-Антон (1734–1815) — австрийский врач, считавший, что вылечить любую болезнь можно с помощью «животного магнетизма» (гипноза).
- 10 *Птолемей*, Клавдий (ок. 87–165) — древнегреческий астроном, математик, музыкальный теоретик и географ.
- 11 «*О лике, видимом на Луне*» — диалог Плутарха (ок. 45 — ок. 127), древнегреческого философа, биографа, моралиста.
- 12 *Диодор Сицилийский* (ок. 90–21 до н. э.) — древнегреческий историк, автор сочинения «Историческая библиотека».
- 13 *Боулинг Грин* — Bowling Green — лужайка для игры в шары (англ.), квартал в центре Нью-Йорка.
- 14 *Азнак* — вымышленное название.
- 15 *Карнак* — населенный пункт в Верхнем Египте, севернее Луксора. Местонахождение древнего храма бога Амона, а также чтившихся вместе с ним богини Мут и богов Монту и Хонсу в Фивах (египетское название храма — Ипет-сут, «Самое избранное из всех мест» — это известный Карнакский храм, он был главной святыней египетского государства на протяжении двух тысяч лет).
- 16 *Великий Оазис* (Эль-Харга) — крупнейший в Западной пустыне оазис. На территории этого оазиса находится храм Хибис, построенный на рубеже IV–V вв. до н.э. во время нашествия персидских завоевателей. Храм представляет собой образец классической древнеегипетской архитектуры.
- 17 *...из открытия Герона, через посредничество Соломона де-Ко* — древнегреческий ученый Герон Александрийский (ок. 10–75) в своем сочинении «Пневматика» (ок. 130 до н. э.) описал принцип работы паровой турбины, а французский ученый, инженер-механик Соломон де-Ко (1576–1626) в 1615 г. изобрел паровую машину.

## СОДЕРЖАНИЕ

### Уолт Уитмен РЕВОЛЮЦИОННАЯ ПОЭЗИЯ ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ

Предисловие. . . . .	7
Одного воспеваю я... . . . . .	9
Когда размышлял я в молчаньи... . . . . .	9
Первоздатели . . . . .	10
К штатам... . . . .	10
Я непоколебимый... . . . .	11
Я слышу Америку поющую... . . . .	11
Где город в осаде?.. . . . .	12
Все же, хоть я и пою одного... . . . .	12
Поэты грядущие... . . . .	12
К тебе . . . . .	13
К читателю . . . . .	13
Для тебя, о, демократия . . . . .	13
Основа всех метафизик . . . . .	14
Капайте, капли... . . . .	14
Я слышу, меня обвиняют... . . . .	15
В это мгновенье... . . . .	15
Мы двое мальчишек... . . . .	16
Мне снилось во сне... . . . .	16
Годы современности... . . . .	16
Звезда Франции . . . . .	18
Европе . . . . .	20
Законы мирозданий... . . . .	22
Боги . . . . .	22

К тому, который был распят . . . . .	23
Племя бойцов . . . . .	24
Самые brave солдаты . . . . .	24
Старые сны бранных дней . . . . .	24
Примирение . . . . .	25
Божественная четырёхсторонность . . . . .	25
Дай мне безмолвное яркое солнце... . . . . .	28
Искры от колеса . . . . .	30
Если бы выбор имел я... . . . . .	31
Птица-боец . . . . .	32
Громче ударь, барабан!.. . . . .	32
Привет миру . . . . .	33
Песнь отвечающего . . . . .	43
Песнь плотничьего топора . . . . .	48
Песнь рассветного знамени . . . . .	60

Перси Биши Шелли  
ОСВОБОЖДЕННЫЙ ПРОМЕТЕЙ

Предисловие . . . . .	69
Действие первое . . . . .	74
Действие второе . . . . .	111
Действие третье . . . . .	138

Оскар Уайльд  
БАЛЛАДА РЭДИНГСКОЙ ТЮРЬМЫ

I . . . . .	181
II . . . . .	184
III . . . . .	186
IV . . . . .	193
V . . . . .	197
VI . . . . .	200

Эдгар Аллан По  
РАССКАЗЫ И СТИХОТВОРЕНИЯ

РАССКАЗЫ	
Хоп-Фрог . . . . .	203
Овальный портрет . . . . .	213

Лигейя . . . . .	218
Демон извращенности . . . . .	235
Черный кот . . . . .	242
Маска Красной Смерти . . . . .	253
Продолговатый ящик . . . . .	259
Падение Дома Ашероу . . . . .	271
Сердце-Изобличитель . . . . .	291
Береника . . . . .	296
Морелла . . . . .	305
Бочка Амонтильядо . . . . .	311
Человек толпы . . . . .	318
Колодец и маятник . . . . .	329
Вильям Вильсон . . . . .	346
Убийство на улице Морг . . . . .	368
Украденное письмо . . . . .	406
Золотой жук . . . . .	426
Несколько слов с Мумией . . . . .	465

#### СТИХОТВОРЕНИЯ

Ворон . . . . .	484
Колокольчики и колокола . . . . .	487
Аннабель-Ли . . . . .	490
Улялюм . . . . .	491
Моей матери . . . . .	494
«Из всех, кому тебя увидеть — утро...» . . . . .	495
Сон во сне . . . . .	495
Эльдорадо . . . . .	496
Червь-Победитель . . . . .	497
Город на море . . . . .	498
<i>Примечания</i> . . . . .	501

Лопе де Вега  
**ОВЕЧИЙ КЛЮЧ**  
*(Фуэнте Овехуна)*

Действие первое . . . . .	520
Действие второе . . . . .	556
Действие третье . . . . .	595

Педро Кальдерон  
ЖИЗНЬ ЕСТЬ СОН

Хорнада первая . . . . .	640
Хорнада вторая . . . . .	674
Хорнада третья . . . . .	722